

ТАРУБЖИЛИ КЛАССИКА

Жарык
САҢД
Индана



Annotation

Героиня романа страдает от деспотизма мужа, полковника Дельмара. Любовь к Раймону де Рамьеру наполняет ее жизнь новым смыслом, но им не суждено быть вместе. Индиана, пройдя сквозь суровые испытания, обретает все-таки свободу и любовь.

- [Жорж Санд](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)

- [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [ЗАКЛЮЧЕНИЕ](#)
 - [КОММЕНТАРИИ](#)
-

Жорж Санд
Индиана

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Однажды поздней осенью, в дождливый и холодный вечер, трое обитателей небольшого замка Де-ла-Бри в раздумье сидели у камина, смотрели на тлеющие угли и машинально следили за медленно двигающейся часовой стрелкой. Двое из них молчаливо и покорно скучали, тогда как третий выказывал явные признаки нетерпения. Он еле сдерживал громкую зевоту, поминутно вскакивая со стула, разбивал каминными щипцами потрескивающие головешки, словом, всячески старался не поддаваться одолевавшей их всех скуке.

Этот человек — полковник Дельмар, хозяин дома, — был значительно старше двух других. Некогда красивый, бравый вояка, теперь отяжелевший и лысый, с седыми усами и грозным взором, он, выйдя в отставку, стал превосходным, но строгим хозяином, перед которым трепетало все — жена, слуги, лошади и собаки.

Наконец он встал, чувствуя, что начинает терять терпение от напрасных усилий придумать, как бы прервать тоскливое молчание, и принялся тяжелыми шагами ходить по гостиной; во всех его движениях сказывалась выправка бывшего военного: он держался очень прямо, повертывался всем корпусом с самодовольством, никогда не покидающим образцового офицера, привыкшего всю жизнь красоваться на парадах.

Но миновали дни его славы, когда он, молодой лейтенант, упивался победами на поле брани. Теперь он вышел в отставку, был забыт неблагодарным отечеством, и ему приходилось терпеть все последствия своей женитьбы. Он был женат на молодой и красивой женщине, владел недурной усадьбой с прилегающими к ней угодьями и, сверх того, успешно вел дела на своей фабрике. Поэтому полковник постоянно пребывал в дурном настроении, в этот же вечер в особенности, потому что погода была сырая, а полковник страдал ревматизмом.

Он важно расхаживал по старой гостиной, обставленной в стиле Людовика XV, по временам останавливаясь то перед фреской над дверью, где голые амурсы украшали гирляндами цветов учтивых ланей и добродушных кабанов, то перед лепным панно с таким запутанным

рисунком, что его причудливые узоры и капризные завитки утомляли глаз. Но это незначительное и пустое занятие только на время отвлекало его внимание, и каждый раз, проходя мимо двух своих молчаливых компаньонов, полковник бросал то на одного, то на другого пронизательный взгляд. Вот уже три года, как он неотступно следил за женой, ревниво охраняя свое хрупкое и драгоценное сокровище.

Ей ведь было девятнадцать лет, и если бы вы видели эту тоненькую, бледную и грустную женщину, которая сидела, облокотясь на колено, у огромного камина из белого мрамора с позолоченными инкрустациями, если бы вы видели ее, совсем еще юную, в этом старом доме рядом со старым мужем, ее, похожую на цветок, вчера только выплывший на свет, но уже сорванный и распускающийся в старинной вазе, — вы пожалели бы жену полковника Дельмара, а может быть, еще больше вы пожалели бы самого полковника.

Третий обитатель этого уединенного дома сидел тут же, по другую сторону пылающего камелька. Это был мужчина в полном расцвете молодости и сил; его румяные щеки, густая золотистая шевелюра и пушистые бачки составляли резкий контраст с седеющими волосами, с поблекшим и суровым лицом хозяина. Однако даже человек со слабо развитым вкусом предпочел бы суровое и строгое лицо полковника Дельмара правильным, но невыразительным чертам третьего члена этой семьи. Пухленькое личико амура, изображенное на чугунной плите камина и устремившее свой взгляд на горящие поленья, было, пожалуй, более осмысленно, нежели лицо белокурого и румяного героя нашего повествования, также смотревшего на огонь. Впрочем, его сильная, статная фигура, резко очерченные темные брови и гладкий белый лоб, спокойные глаза, красивые руки и даже строгая элегантность охотничьего костюма делали его «красавцем мужчиной» в глазах всякой женщины, склонной во взглядах на любовь придерживаться так называемых философских вкусов прошлого века. Но, по всей вероятности, молодая и скромная жена господина Дельмара никогда еще не рассматривала мужчин с такой точки зрения, и едва ли между этой женщиной, хрупкой и болезненной, и этим мужчиной, любившим поспать и поесть, могло быть что-нибудь общее. Как бы там ни было, ястребиный взор аргуса-супруга тщетно старался

уловить взгляд, вздох или трепетное влечение друг к другу этих столь различных людей. Убедившись в полном отсутствии повода для ревности, полковник впал в еще большее уныние и резким движением засунул руки глубоко в карманы.

Единственным счастливым и радующим глаз существом в этой компании была красивая охотничья собака из породы грифонов, голова которой покоилась на коленях сидящего мужчины. Это был огромный пес с большими мохнатыми лапами и умной, острой, как у лисицы, мордой, с большими золотистыми глазами, сверкающими сквозь взъерошенную шерсть и похожими на два топаза. Эти глаза гончей, такие мрачные и налитые кровью в азарте охоты, теперь выражали грусть и бесконечную нежность. И когда хозяин, предмет ее инстинктивной любви, часто более ценной, чем рассудочная любовь человека, перебирал пальцами ее серебристую шерсть, нежную, как шелк, глаза собаки блестели от удовольствия и она равномерно ударяла длинным хвостом по мозаичному паркету, задевая очаг и разбрасывая золу.

Эта бытовая сценка, слабо освещенная огнем камина, могла бы послужить сюжетом для картины в духе Рембрандта. Яркие вспышки пламени по временам озаряли комнату и лица, затем переходили в красные отблески и понемногу гасли. Тогда большая зала постепенно погружалась в темноту. Каждый раз, когда господин Дельмар проходил мимо камина, он появлялся как тень и тотчас исчезал в таинственном сумраке гостиной. На овальных рамах с лепными веночками, медальонами и бантами, на мебели черного дерева с медными украшениями и даже на поломанных карнизах деревянной панели вспыхивали по временам золотые полосы света. Но когда в камине одна из головешек гасла, а другая еще не успевала как следует разгореться, предметы, которые только что были ярко освещены, погружались в темноту, и из мрака, поблескивая, выступали другие. Таким образом, можно было рассмотреть постепенно все детали обстановки: консоль на трех больших позолоченных тритонах, расписной потолок, изображавший небо в облаках и звездах, тяжелые, отливавшие шелком драпировки алого штофа с длинной бахромой, широкие складки которых, казалось, колыхались, когда на них падал колеблющийся свет камина.

При взгляде на неподвижные фигуры двух людей, четко выделявшихся на фоне камина, можно было подумать, что они страшатся нарушить неподвижность окружающей обстановки. Застывшие и окаменевшие, подобно героям старых сказок, они словно боялись, что при первом слове или при малейшем движении на них обрушатся своды какого-то заколдованного замка, а хозяин с нахмуренным челом походил на колдуна, который своими чарами держит их в плену. В тишине и полумраке комнаты раздавались только его размеренные шаги.

Наконец собака, поймав благосклонный взгляд своего господина, поддалась той магнетической власти, какую имеет глаз человека над умным животным. Она робко и тихо залаяла и с неподражаемым изяществом и грацией положила обе лапы на плечи любимого хозяина.

— Пошла прочь, Офелия, пошла!

И молодой человек сделал на английском языке строгий выговор послушному животному; пристыженная собака с виноватым видом подползла к госпоже Дельмар, как бы прося у нее защиты. Но госпожа Дельмар по-прежнему сидела задумавшись; она не обратила внимания на собаку, положившую голову на ее белые, скрещенные на коленях руки, и не приласкала ее.

— Что же это такое? Собака, видно, окончательно расположилась в гостиной? — сказал полковник, втайне довольный, что нашел повод сорвать на ком-то свое раздражение и хоть как-нибудь скоротать время. — Ступай на псарню, Офелия! Вон отсюда, глупая тварь!

Если бы в ту минуту кто-нибудь наблюдал за госпожой Дельмар, он отгадал бы по одному этому ничтожному эпизоду печальную тайну всей ее жизни. Легкая дрожь пробежала по ее телу, и, как бы желая удержать и защитить свою любимицу, она судорожно сжала крепкую мохнатую шею собаки, голова которой лежала у нее на коленях. Господин Дельмар вытащил из кармана куртки охотничью плетку и с угрожающим видом подошел к несчастной Офелии, которая растянулась у его ног, закрыв глаза, и заранее испуганно и жалобно заскулила. Госпожа Дельмар побледнела сильнее обычного, рыдания сдавили ей грудь, и, обратив на мужа большие голубые глаза, она произнесла с выражением неопишуемого ужаса:

— Ради бога, не убивайте ее!

Услышав эти слова, полковник вздрогнул. Вспыхнувший в нем гнев сменился печалью.

— Ваш намек, сударыня, мне хорошо понятен, — сказал он. — Вы непрестанно укоряете меня с того самого дня, когда я в запальчивости убил на охоте вашего спаниеля. Подумаешь, велика потеря! Собака, которая не хотела делать стойку и накидывалась на дичь! Кого бы это не вывело из терпения? К тому же, пока она была жива, вы не проявляли к ней особой привязанности, но теперь, когда это дает вам повод упрекать меня...

— Разве я когда-либо вас упрекала?.. — сказала госпожа Дельмар с той кротостью, какая вызывается снисходительностью к любимым людям или уважением к самому себе, если имеешь дело с теми, кого не любишь.

— Я этого не сказал, — возразил полковник скорее тоном отца, нежели мужа, — но в слезах иных женщин таятся более горькие укоры, нежели в проклятиях других. Черт возьми, сударыня, вы прекрасно знаете, что я не выношу слез...

— Вы, кажется, никогда не видели, чтобы я плакала.

— Ах, да разве я не вижу постоянно ваших покрасневших глаз! А это, честное слово, еще хуже!

Во время этой супружеской размолвки молодой человек встал и спокойно выпроводил Офелию. Потом он вернулся на свое место напротив госпожи Дельмар, но сначала зажег свечу и поставил ее на камин.

Столь незначительное обстоятельство оказало неожиданное влияние на настроение господина Дельмара. Как только ровный свет разлился по комнате и, сменив колеблющееся пламя камина, озарил его жену, он заметил ее страдальческий, изможденный вид, усталую позу, исхудалое лицо, обрамленное длинными черными локонами, и темные круги под утратившими блеск, воспаленными глазами. Он несколько раз прошелся по комнате, потом вдруг подошел к жене и резко переменял разговор.

— Как вы себя чувствуете, Индиана? — спросил он с неловкостью человека, у которого сердце и характер почти всегда находятся в разладе.

— Как обычно, благодарю вас, — ответила она, не выражая ни удивления, ни обиды.

— «Как обычно» — это не ответ, или, вернее, это женский, уклончивый ответ. Он ничего не выражает: ни да, ни нет, ни хорошо, ни плохо!

— Так оно и есть, я чувствую себя ни хорошо, ни плохо.

— Ну, так вы лжете, — снова грубо сказал полковник, — я знаю, что вы чувствуете себя плохо. Вы говорили об этом присутствующему здесь сэру Ральфу. Что, разве я лгу? Отвечайте, Ральф, говорила она вам это или нет?

— Говорила, — флегматично ответил сэр Ральф, не обращая внимания на укоризненный взгляд Индианы.

Тут появилось четвертое лицо — правая рука хозяина дома, старый сержант, когда-то служивший в полку господина Дельмара.

В немногих словах он сообщил полковнику, что, по его наблюдениям, жулики, ворующие у них уголь, залезали в парк в предшествующие ночи как раз в эту пору, и потому он пришел за ружьем, чтобы обойти парк перед тем, как запереть ворота. Господин Дельмар, усмотрев в этом происшествии какое-то воинственное приключение, тотчас же схватил охотничье ружье, дал другое Лельевру и уже пошел к дверям.

— Как? — в ужасе воскликнула госпожа Дельмар. — Вы собираетесь убить несчастного крестьянина из-за мешка угля?

— Убью, как собаку, каждого, кто бродит ночью в моих владениях, — ответил Дельмар, раздраженный ее словами. — И если вы знакомы с законом, вы должны знать, что законом это не карается.

— Отвратительный закон, — с жаром возразила Индиана, но тотчас же сдержала себя и прибавила более мягко: — А как же ваш ревматизм? Вы забыли, что идет дождь? Вы завтра же заболете, если выйдете сегодня вечером.

— Видно, вы очень боитесь, что вам придется ухаживать за старым мужем, — ответил Дельмар и, хлопнув дверью, вышел, продолжая ворчать на свои годы и на жену.

Индиана Дельмар и сэр Ральф (или, если вам угодно, мы можем называть его господином Рудольфом Брауном) продолжали сидеть друг против друга так же спокойно и невозмутимо, как если бы муж все еще находился с ними. Англичанин вовсе не думал оправдываться, а госпожа Дельмар чувствовала, что у нее нет оснований серьезно упрекать его, так как он проговорился из добрых побуждений. Наконец, с усилием прервав молчание, она решилась слегка пожуричь его.

— Вы поступили дурно, дорогой Ральф, — сказала она. — Я запретила вам повторять слова, вырвавшиеся у меня в минуту страдания, а с господином Дельмаром я меньше чем с кем-нибудь хотела бы говорить о своей болезни.

— Не понимаю вас, дорогая, — ответил сэр Ральф, — вы больны и не желаете лечиться. Мне пришлось выбирать между возможностью потерять вас и необходимостью предупредить вашего мужа.

— Да, — грустно улыбаясь, сказала госпожа Дельмар, — и вы решили предупредить «высшую власть».

— Вы напрасно, совершенно напрасно, поверьте мне, настраиваете себя против полковника: он человек честный и достойный.

— Но кто же возражает против этого, сэр Ральф?..

— Ах, да вы первая, сами того не замечая. Ваша грусть, болезненное состояние и, как он сейчас сказал, ваши покрасневшие глаза говорят всем и каждому, что вы несчастны...

— Замолчите, сэр Ральф, вы слишком далеко заходите. Я не разрешаю вам высказывать свои догадки.

— Я вижу, что рассердил вас, но ничего не поделаешь. Я Неловок, не знаю тонкостей французской речи, и, кроме того, у меня много общего с вашим мужем: я, как и он, совсем не умею утешать женщин ни на английском, ни на французском языке. Другому, может быть, удалось бы без слов объяснить вам то, что я сейчас так неумело высказал. Он нашел бы способ незаметно завоевать ваше доверие, и, вероятно, ему удалось бы смягчить ваше сердце, которое ожесточается

и замыкается передо мной. Уже не в первый раз я замечаю, что слова имеют больше значения, чем мысли, особенно во Франции. И женщины предпочитают...

— О, вы глубоко презираете женщин, дорогой Ральф. Я здесь одна, а вас двое, и мне остается лишь примириться с тем, что я всегда бываю неправа.

— Докажи нам, что мы неправы, дорогая кузина, будь, как прежде, здоровой, веселой, свежей и жизнерадостной! Вспомни остров Бурбон, очаровательный уголок Берника, наше веселое детство и нашу дружбу, которой столько же лет, сколько и тебе.

— Я вспоминаю также и моего отца... — сказала Индиана и, бросив на сэра Ральфа взгляд, исполненный грусти, взяла его за руку.

Они снова погрузились в глубокое молчание.

— Видишь ли, Индиана, — немного погодя сказал сэр Ральф, — наше счастье всегда зависит от нас самих, и часто нужно только протянуть руку, чтобы схватить его. Чего тебе недостает? Ты живешь в полном достатке, а это, может быть, даже лучше богатства. У тебя прекрасный муж, который любит тебя всем сердцем, и, могу смело сказать, у тебя есть верный и преданный друг...

Госпожа Дельмар слегка пожала ему руку, но продолжала сидеть в прежней позе, уныло опустив голову и не сводя печального взора с волшебной игры огоньков на тлеющих углях.

— Ваша грусть, дорогой друг, — продолжал сэр Ральф, — результат вашего болезненного состояния. У кого из нас не бывает горя и тоски. Посмотрите на окружающих: многие из них с полным основанием завидуют вам. Так устроен человек — он всегда стремится к тому, чего у него нет...

Мы избавим читателя от повторения тех избитых истин, которые сэр Ральф, желая утешить Индиану, твердил однообразным и нудным голосом, вполне соответствовавшим его тяжеловесным мыслям. Сэр Ральф вел себя так не потому, что был глуп, но потому, что область чувств была ему совершенно недоступна. Он обладал и здравым смыслом и знанием жизни, но роль утешителя женщин, как он сам признавался, была не по нем. К тому же ему так трудно было понять чужое горе, что при самом искреннем желании помочь он, касаясь раны, только растревлял ее. Он отлично сознавал свою беспомощность и потому обычно старался не замечать огорчений своих друзей.

Сейчас ему стоило невероятных усилий выполнить то, что он считал самым тяжелым долгом дружбы.

Видя, что госпожа Дельмар почти не слушает его, он умолк, и теперь в комнате слышно было только, как потрескивали на тысячу ладов дрова в камине, как жалобно пели свою песенку разгорающиеся поленья, как, съезжившись, шипела и лопалась кора, как трещали, вспыхивая голубым пламенем, сухие сучья. По временам вой собаки присоединялся к слабому завыванию ветра, проникавшего в дверные щели, и к шуму дождя, хлеставшего в окна. Такого печального вечера госпожа Дельмар еще никогда не проводила у себя в усадьбе.

Кроме того, ее впечатлительную душу тяготило какое-то смутное ожидание несчастья. Слабые люди живут в постоянном страхе и полны предчувствий. Как и все креолки, госпожа Дельмар была суеверна, к тому же очень нервна и болезненна. Ночные звуки, игра лунного света — все предвещало ей роковые события, грядущие несчастья, и ночь, полная тайн и призраков, говорила с этой мечтательной и грустной женщиной на каком-то особом языке, понятном ей одной, который она и истолковывала сообразно со своими опасениями и страданиями.

— Вы, наверное, сочтете меня безумной, — сказала она, отнимая свою руку у сэра Ральфа, — но я чувствую, что на нас надвигается несчастье. Опасность нависла здесь над кем-то, наверное надо мной... Знаете, Ральф, я так взволнована, как будто предстоит большая перемена в моей судьбе... Мне страшно, — сказала она вздрагивая, — я чувствую себя плохо.

Ее губы побелели, лицо стало восковым. Сэр Ральф, напуганный не ее предчувствиями, которые он считал признаком душевной подавленности, но ее смертельной бледностью, быстро дернул за шнурок звонка, чтобы позвать на помощь. Никто не шел, а Индиане становилось все хуже. Испуганный Ральф отнес ее подальше от огня, положил на кушетку и стал звать слуг, бросился искать воду, нюхательную соль; он ничего не мог найти, обрывал один за другим все звонки, путался в лабиринте темных комнат, ломая руки от нетерпения и досады на самого себя.

Наконец ему пришла в голову мысль открыть застекленную дверь, ведущую в парк, и он начал поочередно звать то Лельевра, то креолку Нун — горничную госпожи Дельмар.

Через несколько минут из темной аллеи парка прибежала Нун и с беспокойством спросила, что случилось, не чувствует ли себя госпожа Дельмар хуже, чем обычно.

— Ей совсем плохо, — сказал сэр Браун.

Оба поспешили в залу и принялись приводить в чувство лежавшую в обмороке госпожу Дельмар; Ральф неуклюже и неумело суетился, а Нун ухаживала за своей хозяйкой с ловкостью и умением преданной служанки.

Нун была молочной сестрой госпожи Дельмар, они выросли вместе и нежно любили друг друга. Нун, высокая, сильная, пышущая здоровьем, жизнерадостная и подвижная девушка, с горячей кровью страстной креолки, затмевала своей яркой красотой бледную и хрупкую госпожу Дельмар. Но природная доброта обеих и взаимная привязанность уничтожали между ними всякое чувство женского соперничества.

Когда госпожа Дельмар пришла в себя, ей прежде всего бросились в глаза встревоженное лицо горничной, ее растрепанные мокрые волосы и волнение, сквозившее во всех ее движениях.

— Успокойся, бедняжка, — ласково сказала ей госпожа Дельмар. — Моя болезнь тебя извела больше, чем меня. Подумай о себе самой, Нун. Ты худеешь и плачешь, тогда как тебе только и жить. Милая моя Нун, перед тобой вся жизнь, счастливая и прекрасная!

Нун порывисто прижала к губам руку госпожи Дельмар и, словно в бреду, испуганно оглядываясь по сторонам, воскликнула:

— Боже мой, сударыня, знаете ли вы, зачем господин Дельмар пошел в парк?

— Зачем? — повторила за ней Индиана, и слабый румянец, появившийся на ее лице, мгновенно исчез. — Постой, не помню... Ты меня пугаешь! Что случилось?

— Господин Дельмар, — ответила прерывающимся голосом Нун, — уверен, что в парк забрались воры. Они с Лельевром делают обход, и оба с ружьями.

— Ну и что же? — спросила Индиана, казалось боявшаяся услышать какую-то страшную новость.

— Как что же, сударыня? — продолжала Нун, в волнении сжимая руки. — Страшно подумать — ведь они могут убить человека!

— Убить! — в ужасе воскликнула госпожа Дельмар, словно ребенок, испуганный сказками няни.

— Да, да, его убьют, — сказал Нун, еле сдерживая рыдания.

«Они обе положительно сошли с ума, — подумал сэр Ральф, с изумлением наблюдавший эту странную сцену. — Впрочем, все женщины сумасшедшие», — мысленно добавил он.

— Что ты рассказываешь, Нун? — начала госпожа Дельмар. — Ты разве тоже думаешь, что там воры?

— Ох, если б воры! А то просто какой-нибудь бедный крестьянин решил тайком набрать охапку хвороста для семьи.

— В самом деле, какой ужас!.. Но не может быть. Здесь, в Фонтенебло, у самой опушки леса так легко набрать хвороста, — зачем для этого перелезть через ограду чужого парка? Успокойся, господин Дельмар никого не встретит.

Но Нун как будто не обращала внимания на ее слова. Прислушиваясь к малейшему шороху, она перебежала от окна к кушетке, где лежала ее хозяйка, и, казалось, колебалась, не зная, что ей делать: бежать к господину Дельмару или остаться возле больной.

Ее страх показался господину Брауну таким странным и неуместным, что он, обычно такой невозмутимый, вышел из себя и, крепко сжав ей руку, сказал:

— Да вы с ума сошли! Разве вы не понимаете, что напугали свою госпожу и что ваши глупые страхи ее волнуют?

Нун его не слушала. Она смотрела на свою хозяйку, которая внезапно вздрогнула, точно от действия электрического тока. Почти в то же мгновение стекла в гостиной задрожали от выстрела, и Нун упала на колени.

— До чего нелепы эти женские страхи! — воскликнул сэр Ральф, раздраженный их волнением. — Сейчас вам торжественно преподнесут убитого кролика, и вы будете сами над собой смеяться.

— Нет, Ральф, — сказала госпожа Дельмар, решительно направляясь к двери, — я уверена, что пролилась человеческая кровь.

Нун пронзительно закричала и упала вниз лицом.

Из парка послышался голос Лельевра:

— Попался, попался, голубчик! Прекрасный выстрел, господин полковник, вы уложили вора на месте!

Сэр Ральф тоже начал беспокоиться. Он последовал за госпожой Дельмар. Через несколько минут под колоннаду у подъезда дома принесли окровавленного человека, который не подавал никаких признаков жизни.

— Ну, чего расшумелись и раскричались? — со злобной радостью сказал полковник испуганным слугам, суетившимся вокруг раненого. — Это просто шутка, ружье было заряжено солью. Кажется, я даже в него не попал, он свалился от страха.

— А кровь у него тоже льется от страха? — тоном глубокого упрека спросила госпожа Дельмар.

— Почему вы здесь, сударыня, и что вам нужно? — воскликнул господин Дельмар.

— Я пришла исправить причиненное вами зло, потому что это мой долг, — холодно ответила она.

И, подойдя к раненому с решимостью, которой не хватало ни у кого из присутствующих, она поднесла свечу к его лицу. Все ожидали увидеть бедняка в лохмотьях, а перед ними оказался молодой человек с тонкими и благородными чертами лица, одетый в изящный охотничий костюм. У него была только небольшая рана на руке, но разорванная одежда и обморок указывали на то, что он разбился при падении.

— Еще бы, — сказал Лельевр, — он свалился с высоты не менее двадцати футов. Когда полковник в него выстрелил, он как раз перелезал через ограду; несколько дробинок, а может быть, просто несколько крупинок соли, попали ему в правую руку, и он не удержался на стене. Я видел, как он сорвался и упал, — больше уж он, бедняга, не пытался бежать!

— Просто не верится, — заметила одна из служанок, — такой прилично одетый человек и вдруг занимается воровством!

— У него карманы набиты золотом, — заметил другой слуга, расстегивая жилет мнимого вора.

— Все это очень странно, — с большим волнением произнес полковник, глядя на лежащего перед ним человека. — Если он умер, то я в этом не виноват. Осмотрите его руку, сударыня, найдете ли вы там хоть одну дробишку?..

— Мне хотелось бы верить вам, сударь, — ответила госпожа Дельмар, внимательно щупая пульс и исследуя шейные артерии

раненого с необычайным хладнокровием и присутствием духа, на что никто не считал ее способной. — Вы правы, — добавила она, — он жив, и надо скорее оказать ему помощь. Этот человек непохож на вора и заслуживает ухода. Да если бы он его и не заслуживал, все равно мы, женщины, обязаны позаботиться о нем — это наш долг.

Госпожа Дельмар велела перенести раненого в бильярдную, которая находилась ближе всего к колоннаде. Сдвинули несколько скамеек, положили на них матрац, и Индиана с помощью служанок занялась перевязкой, а сэр Ральф, сведущий в хирургии, пустил раненому кровь.

Тем временем полковник, смущенный, не зная, как себя держать, находился в положении человека, выказавшего себя более жестоким, чем он сам того хотел. Он испытывал потребность оправдать себя в глазах окружающих, или, вернее, хотел, чтобы окружающие оправдали его в его собственных глазах. Стоя у колонн, среди своих слуг, он принимал горячее участие в пространных, никому не нужных разговорах, какие обычно ведутся после уже случившегося несчастья. Лельевр в двадцатый раз со всеми подробностями рассказывал, как все произошло: выстрел, падение и что за этим последовало; а полковник, пришедший в благодушное настроение в кругу своих домочадцев, что с ним бывало всегда после того, как ему удавалось сорвать на ком-нибудь свою злобу, приписывал самые преступные намерения молодому человеку, перелезшему ночью через ограду в чужие владения. Все соглашались с хозяином, но садовник, отведя его незаметно в сторону, стал уверять, будто вор как две капли воды похож на молодого помещика, недавно поселившегося по соседству, и будто он видел, как этот человек три дня тому назад разговаривал с Нун на сельском празднике в Рюбеле.

Эти разъяснения дали новое направление мыслям господина Дельмара. На широком блестящем и лысеющем лбу полковника вздулась вена, что всегда являлось у него предвестием бури.

«Проклятие! — подумал он, сжимая кулаки. — Госпожа Дельмар слишком интересуется этим щеголем, залезшим ко мне через ограду».

И он вошел в бильярдную, бледный и дрожащий от гнева.

— Успокойтесь, сударь, — сказала ему Индиана, — мы надеемся, что человек, которого вы чуть не убили, поправится через несколько дней, хотя он еще и не пришел в себя...

— Дело вовсе не в том, сударыня, — произнес полковник сдавленным голосом. — Я хотел бы узнать от вас имя вашего странного пациента и хотел бы также знать, почему он так рассеян, что принял стену парка за аллею, ведущую к подъезду моего дома.

— Мне это совершенно неизвестно, — ответила госпожа Дельмар с такой холодной надменностью, что ее грозный супруг на мгновение остолбенел.

Но ревнивые подозрения очень быстро вновь овладели им.

— Я все узнаю, сударыня, — сказал он вполголоса, — будьте уверены, я все узнаю...

Госпожа Дельмар делала вид, что не замечает его бешенства, и продолжала ухаживать за раненым; тогда полковник, чтобы не вспылить перед служанками, вышел и снова подозвал садовника:

— Как фамилия того помещика, который, по твоим словам, похож на нашего мошенника?

— Господин де Рамьер. Он недавно купил загородный дом господина де Серей.

— Что это за человек? Дворянин, франт, красивый мужчина?

— Очень красивый мужчина и думаю, что дворянин...

— Должно быть, так. «Господин де Рамьер!» — напыщенным тоном повторил полковник. — Скажи-ка, Луи, — добавил он, понизив голос, — не видел ли ты, чтоб этот франт бродил возле нашего дома?

— Сударь... Прошлую ночь, — в замешательстве ответил Луи, — я действительно видел кого-то... Был ли это франт, не могу сказать... Но это наверняка был мужчина.

— Ты сам его видел?

— Видел собственными глазами под окнами оранжереи.

— И ты не стукнул его лопатой?

— Я было собирался, сударь, а тут, гляжу, из оранжереи вышла женщина в белом и подошла к нему. Тут я и подумал: «Может быть,

господам вздумалось под утро прогуляться», — и снова лег спать. А сегодня утром слышу, как Лельевр говорит о каком-то жулике, будто он видел чьи-то следы в парке. Тут уж и я решил: здесь дело нечисто!

— Почему же ты тотчас не сообщил мне об этом, дуралей?

— Что вы хотите, сударь, мы тоже деликатное обхождение понимаем, — бывают иной раз такие случаи...

— Ага, ты, кажется, смеешь что-то подозревать? Дурак! Если ты когда-нибудь позволишь себе делать подобные дерзкие предположения, я оборву тебе уши. Я прекрасно знаю, кто этот мошенник и зачем он пожаловал в мой сад; я расспрашивал тебя только для того, чтобы проверить, как ты охраняешь оранжерею! Помни, у меня есть очень редкие растения, которыми чрезвычайно дорожит госпожа Дельмар. Бывают сумасшедшие любители, способные выкрасть их из теплиц своих соседей. А вчера ночью ты видел меня с госпожой Дельмар.

И несчастный полковник ушел, еще более встревоженный и раздраженный, нисколько не убедив своего садовника в существовании таких завятых любителей-садоводов, которые готовы рисковать жизнью ради черенка редкого растения.

Господин Дельмар вернулся в бильярдную и, не обращая внимания на то, что раненый начал наконец подавать признаки жизни, собрался обыскать карманы его куртки, лежавшей на стуле; но в это время незнакомец, протянув руку, промолвил слабым голосом:

— Вы хотите знать, милостивый государь, кто я? Не трудитесь напрасно. Я расскажу все сам, когда мы останемся вдвоем. А пока разрешите мне не называть себя, принимая во внимание то смешное и грустное положение, в какое я попал.

— Очень жалею, что так случилось, — язвительно ответил полковник, — но, признаюсь, это меня мало трогает. Однако я надеюсь, что мы встретимся с вами наедине, и потому готов отложить до этого случая наше знакомство. А пока что будьте любезны сказать мне, куда следует вас перенести.

— На постоянный двор в ближайшую деревню, если вы будете настолько любезны.

— Но больной в таком состоянии, что его нельзя еще тревожить, не правда ли, Ральф? — с живостью возразила госпожа Дельмар.

— Вас слишком беспокоит состояние больного, сударыня, — сказал полковник. — Ну, а вы все ступайте прочь, — обратился он к служанкам. — Наш непрошенный гость чувствует себя лучше и теперь сможет, наверное, объяснить, каким образом он очутился у меня.

— Да, — ответил раненый, — и я прошу всех, столь любезно оказавших мне помощь, выслушать меня. Я чувствую, как важно, чтобы мое поведение не было ложно истолковано; да и для меня самого не менее важно, чтобы меня не приняли за того, кем я вовсе не являюсь. Итак, вот что привело меня к вам. При помощи чрезвычайно простых средств, известных вам одному, сударь, вы так поставили дело на своей фабрике, что доход от нее намного превосходит доходы всех других подобных фабрик в вашем крае. У моего брата на юге Франции есть схожее с вашим предприятие, но содержание его стоит огромных средств. Дела брата идут из рук вон плохо; и вот, узнав о том, что вы преуспеваете, я решил обратиться к вам за советом и просить о великодушной услуге, которая не может повредить вашим интересам, так как мой брат вырабатывает совсем другие товары. Но доступ на вашу фабрику был для меня закрыт. Когда же я захотел обратиться к вам, мне ответили, что вы не разрешите мне посетить вашу фабрику. Обескураженный таким нелюбезным отказом, я решил с риском для собственной жизни и чести спасти жизнь и честь моего брата. Я перелез к вам ночью через ограду для того, чтобы проникнуть на фабрику и осмотреть машины. Я решил где-нибудь спрятаться, потом подкупить рабочих, — одним словом, выведать ваш секрет и помочь честному человеку, не повредив вам; в этом моя вина. Теперь, сударь, если вы потребуете другого удовлетворения, кроме того, что вы сейчас получили, я к вашим услугам, как только поправлюсь. Возможно, я и сам буду просить вас об этом.

— Я думаю, мы квиты, милостивый государь, — с облегчением ответил полковник, почувствовав, что эти слова немного рассеяли мучившие его опасения. — А вы все будьте свидетелями того, что здесь было сказано. Если считать, что мне следовало мстить, я отомстил слишком жестоко. Теперь уходите и дайте нам поговорить о моем прибыльном предприятии.

Слуги вышли, но лишь их одних удалось обмануть этим примирением. Раненый, ослабев после длинной речи, не способен был понять, каким тоном были сказаны последние слова полковника. Он

упал на руки госпожи Дельмар и снова потерял сознание. Склонившись над ним, она не обращала внимания на гнев своего мужа, а господин Дельмар и господин Браун — один с бледным, искаженным от злобы лицом, а другой спокойный и, как всегда, с виду бесстрастный — молча и вопросительно смотрели друг на друга.

Сэру Ральфу без слов было понятно состояние господина Дельмара; тем не менее полковник отвел его в сторону и, до боли сжимая ему руку, сказал:

— Великолепно сплетенная интрига, мой друг! Я доволен, весьма доволен, что этот молодой человек так ловко сумел оградить мою честь перед слугами. Но, черт возьми, он дорого заплатит за нанесенное мне оскорбление! А она, как она ухаживает за ним... И притворяется, будто вовсе не знает его! Ох, до чего же хитры все женщины! — И он заскрежетал зубами от злости.

Пораженный сэром Ральфом трижды обошел залу размеренным шагом. После первого круга он решил: *невероятно*, после второго: *невозможно*, после третьего: *доказано*. Затем со своей всегдашней невозмутимостью он подошел к полковнику и пальцем указал ему на Нун, которая стояла с помертвевшим лицом возле больного и, ломая руки, не сводила с него взгляда, полного отчаяния, ужаса и смятения.

Истина таит в себе такую молниеносную и беспощадную силу убеждения, что никакие, самые красноречивые доводы сэра Ральфа не могли бы поразить полковника больше, чем этот энергичный жест. Господин Браун имел и другие основания думать, что он напал на верный след. Ему вспомнилось, как Нун прибежала из парка, когда он ее искал, вспомнились ее влажные волосы, промокшая, грязная обувь, избличавшая странную фантазию гулять ночью в парке под дождем, и другие мелочи, на которые он почти не обратил внимания во время обморока госпожи Дельмар, но которые теперь всплыли в его памяти; потом ее непонятный страх, судорожное волнение и крик, который вырвался у нее, когда раздался выстрел.

Господин Дельмар понял все, хотя и не знал этих подробностей; дело касалось непосредственно его самого, и потому он был более пронизателен. При первом же взгляде на девушку ему стало ясно, что виновата только она. Тем не менее внимание его жены к герою этого любовного приключения крайне не нравилось ему.

— Индиана, — сказал он, — уходите отсюда — уже поздно, и вам нездоровится. Нун останется возле больного на ночь, а завтра, если ему станет лучше, мы подумаем, как доставить его домой.

Против такого неожиданного решения вопроса возразить было нечего. Госпожа Дельмар, находившая в себе силы противиться грубости мужа, всегда уступала, когда он обращался с ней мягко.

Она попросила сэра Ральфа побыть еще немного возле больного и ушла к себе в спальню.

Полковник распорядился так не без умысла. Час спустя, когда все легли спать и в доме воцарилась тишина, он тихонько прокрался в залу, где лежал господин де Рамьер, и, спрятавшись за портьерой, из разговора молодого человека с горничной понял, что они влюблены друг в друга. Редкая красота юной креолки производила огромное впечатление во время окрестных сельских праздников. У нее не было недостатка в поклонниках даже среди самых видных людей в округе. Многие красавцы уланы мелэнского гарнизона пытались снискать ее расположение. Но Нун любила впервые, и только внимание одного было ей дорого — внимание господина де Рамьера.

Полковник Дельмар не собирался далее следить за ними. Убедившись, что его жена нисколько не интересуется новоявленного Альмавиву, он тотчас же удалился. Тем не менее он слышал достаточно, чтобы понять разницу между любовью бедной Нун, которая предавалась ей со всею силою и страстью своего пылкого существа, и чувством молодого дворянина, не потерявшего рассудок и рассматривавшего этот роман как мимолетное увлечение.

Когда госпожа Дельмар проснулась, она увидела Нун возле своей постели, сконфуженную и грустную. Наивно поверив объяснениям господина де Рамьера, тем более что уже не раз люди, занимающиеся коммерцией, пробовали выведать путем хитрости и обмана секреты фабрики ее мужа, Индиана приписала смущение своей горничной усталости и волнениям прошлой ночи. А Нун со своей стороны успокоилась, когда полковник в веселом, добродушном настроении вошел в спальню к жене и заговорил с ней о вчерашнем происшествии как о самом обыкновенном деле.

Сэр Ральф утром осмотрел больного. Падение не имело серьезных последствий, а рана на руке уже затянулась. Господин де Рамьер пожелал, чтобы его немедленно перенесли в Мелэн, и роздал

все свои деньги слугам, прося их молчать о случившемся, дабы не напугать, как он сказал, его мать, жившую всего в нескольких лье. История эта стала известна не скоро, и толки о ней ходили самые различные. Слух о том, что у брата господина де Рамьера есть фабрика, подтвердил его удачную выдумку. Полковник и сэр Браун из деликатности молчали и даже самой Нун не подали виду, что знают ее тайну, а затем очень быстро в доме Дельмаров позабыли об этом происшествии.

Многим, вероятно, покажется несколько странным, что Реймон де Рамьер, блестящий и остроумный молодой человек, наделенный различными талантами и всевозможными достоинствами, привыкший к успехам в свете и галантным приключениям, мог питать прочную привязанность к горничной, живущей в доме скромного владельца фабрики Дела-Бри. Однако господин де Рамьер не был ни самовлюбленным фатом, ни развратником. Он, как было сказано, обладал умом, следовательно, знал цену всем преимуществам благородного происхождения. Когда он рассуждал спокойно, он придерживался определенных принципов, но вспыхивавший в нем по временам огонь страстей часто заставлял его действовать вопреки этим принципам. Тогда он был уже не в состоянии рассуждать и старался заглушить в себе голос совести. Порою он совершал ошибки как бы произвольно, а затем пытался путем самообмана оправдаться перед самим собой. К несчастью, в нем брали верх не его принципы — те же, что и у других философов в белых перчатках, страдавших такой же непоследовательностью в своих поступках, — но пылкие страсти, не подчинявшиеся принципам; все это выделяло его из того бесцветного общества, где нельзя быть оригинальным, не показавшись смешным. Реймон обладал каким-то особым даром: он часто причинял людям страдания, но не вызывал к себе ненависти, порою вел себя странно, но никого не шокировал. Нередко он ухитрялся даже возбудить жалость в тех, кто имел полное основание на него жаловаться. Бывают такие счастливицы, которых балуют все, кто с ними встречается. Приятная внешность и красноречие часто заменяют им доброе сердце. Мы не собираемся сурово осуждать господина Реймона де Рамьера или давать его портрет прежде, чем познакомимся с его поступками. Мы сейчас смотрим на него со стороны, как смотрит толпа на прохожего.

Итак, господин де Рамьер был влюблен в молодую креолку с огромными черными глазами, вызвавшую всеобщее восхищение на сельском празднике в Рюбеле, но это было только увлечение и ничего больше. Возможно, он познакомился с ней просто от нечего делать, но

успех разжег его желание. Он достиг большего, чем хотел, и в тот день, когда завоевал ее бесхитрое сердце, он вернулся домой, испуганный своей победой, и с беспокойством подумал: «А что, если она меня полюбит?».

Только получив полное доказательство ее любви, он понял всю силу ее чувства. Тогда он пожалел о случившемся, но было уже поздно: приходилось примириться с будущим и всеми его последствиями или трусливо отступить. Реймон не стал задумываться; он позволял себя любить и сам любил из благодарности. Любовь к опасности побудила его перелезть через ограду владений Дельмара, но по собственной неловкости он упал и тяжело расшибся. Горе, проявленное молодой и прелестной возлюбленной, так сильно тронуло его, что отныне он считал себя оправданным в своих собственных глазах и, не задумываясь, продолжал рыть ту пропасть, куда Нун неминуемо должна была скатиться.

Как только он поправился, все стало ему нипочем: ни зимний холод, ни опасности, которые таит в себе темная ночь, ни угрызения совести — ничто не могло удержать его. Он пробирался лесом на свидание к своей креолке, клялся, что любит только ее одну, что не променяет ее даже на королеву, и нашептывал ей множество нежных уверений, которые никогда не перестанут нравиться бедным и легковверным молодым девушкам.

В январе госпожа Дельмар с мужем уехали в Париж, сэр Ральф, их достойный сосед, перебрался к себе в имение, а Нун, оставшись хозяйкой дома, могла отлучаться под различными предлогами. Для нее это обстоятельство оказалось пагубным: частые свидания с возлюбленным намного сократили мимолетное счастье, выпавшее ей на долю. Поэзия леса, покрытого инеем, свет луны, таинственная калиточка, через которую он ранним утром украдкой покидал парк, следы маленьких ножек Нун на заснеженной дорожке — вся эта волнующая обстановка тайных свиданий опьяняюще действовала на господина де Рамьера. Нун, вся в белом, с распущенными черными волосами, казалась знатной дамой, королевой, феей. Когда она выходила из красного кирпичного дома — тяжелого квадратного здания эпохи Регентства, в архитектуре которого было что-то от рыцарских времен, — она казалась ему владелицей феодального

замка; и в павильоне, заставленном экзотическими цветами, где она опьяняла его чарами своей юности и страсти, он легко забывал о том, над чем ему пришлось задуматься впоследствии.

Но когда, отбросив всякую осторожность и, в свою очередь, пренебрегая опасностью, Нун стала приходить к нему в своем белом фартучке и в кокетливом Мадрасе — национальном головном уборе креолок, — она уже была только горничной, служившей у красивой женщины, горничной, которой довольствуются за неимением лучшего. Все же Нун была прелестна и в этом наряде. Такой он увидел ее впервые на сельском празднике, когда, растолкав толпу любопытных, он подошел к ней и одержал первую легкую победу, вырвав ее у двадцати соперников. Нун не раз с нежностью напоминала ему об этом. Бедная Нун, она и не подозревала, что Реймон еще не любил ее и что тот день, которым она так гордилась, напоминал ему только об удовлетворенном тщеславии. А смелость, с какой она приносила ему в жертву свое доброе имя, нисколько не способствовала усилению чувства господина де Рамьера и совсем не нравилась ему. Если бы так компрометировала себя жена пэра Франции, это была бы для него драгоценная победа, но горничная!.. То, что для одной считается геройством, в другой кажется бесстыдством. В первом случае вам завидует целая плеяда ревнивых соперников, во втором — вас осуждает толпа возмущенных лакеев. Знатная женщина жертвует для вас двадцатью прежними любовниками, а горничная только одним — своим будущим мужем.

Что поделаешь! Реймон был человеком светских нравов, изысканной жизни, поэтической любви. Горничную он даже не считал за женщину, и Нун только благодаря своей необычайной красоте удалось увлечь его в тот день, когда ему захотелось приобщиться к народному веселью. Вина не его; Реймон был воспитан для жизни в высшем свете, ему внушали честолюбивые мечты о будущем, твердую уверенность, что он создан для блестящей жизни, а его горячая кровь неожиданно увлекла его на путь мещанской любви. Он прилагал все старания, чтобы удовлетвориться этой любовью, — и не мог. Что было делать? Сумасбродные и великодушные мысли теснились, в его голове. В первые дни, когда он был особенно сильно влюблен в свою красавицу, он мечтал о том, чтобы поднять ее до себя и узаконить их связь... Да, клянусь честью, он думал об этом. Но любовь, которая

оправдывает все, понемногу ослабевала, она исчезла вместе с опасностями приключения и соблазнительностью тайны. Брак перестал казаться возможным, и, обратите внимание, Реймон рассуждал вполне разумно и всецело в интересах своей возлюбленной.

Если бы он действительно любил ее, он бы мог, пожертвовав ей всем — будущим, семьей и репутацией, — обрести с ней счастье, а следовательно, дать счастье и ей, ибо любовь — такой же взаимный договор, как и брак. Но на какую жизнь обрекал он эту женщину теперь, когда он ее разлюбил? Жениться для того, чтобы она ежедневно мучилась, видя его печальное лицо, чувствуя, что он охладел к ней и что ему опостылел их семейный очаг? Жениться для того, чтобы его семья возненавидела ее, чтобы люди его круга унижали ее, чтобы челядь смеялась над нею, ввести ее в общество, где она будет не на месте, где к ней будут относиться свысока, допустить, чтобы она изнемогала от угрызений совести из-за всех тех несчастий, которые навлекла на своего возлюбленного?

Вы, бесспорно, согласитесь с ним, что это действительно было невозможно, что это было бы невеликодушно, что нельзя так бороться с обществом, что такой добродетельный поступок напоминал бы поединок Дон-Кихота, сломавшего копье о крылья ветряной мельницы, что это никому не нужное геройство, рыцарство прошлого века, которое кажется смешным в наше время.

Взвесив все, Реймон понял, что необходимо порвать эту злополучную связь. Встречи с Нун начали тяготить его. Его мать, уехавшая на зиму в Париж, неминуемо должна была вскоре узнать о скандале в семье. Ее и так удивляли частые отлучки сына и то, что он пропадал в Серей по целым неделям. Правда, он всегда ссылался на серьезную работу, которую хотел закончить в сельской тиши. Но этот предлог становился малоправдоподобным. Реймону тяжело было обманывать свою добрую мать и лишать ее столь долгое время своего внимания. Что можно к этому прибавить? Он покинул Серей и больше туда не возвращался.

Нун плакала, ждала, приходила в отчаяние и, видя, что время идет, решила чему написать. Бедная девушка! Этим она нанесла своей любви последний удар. Письмо от горничной! Хотя она и воспользовалась атласной почтовой бумагой и душистым сургучом

госпожи Дельмар и хотя письмо ее было криком сердца... но орфография! Знаете ли вы, какое влияние на силу чувств может иногда оказать одна лишняя буква? Увы! Бедная полуграмотная девушка с острова Бурбон понятия не имела о правилах грамматики. Она полагала, что говорит и пишет не хуже своей хозяйки, и, видя, что Реймон не возвращается, думала: «Мое письмо так хорошо написано! Он непременно должен вернуться!».

Но Реймон даже не прочел письмо до конца — у него не хватило на это мужества. А оно, наверно, было замечательным в своей наивности и трогательной страстности, и даже Виргиния, покидая родину, вряд ли написала Павлу более очаровательное письмо. Господин де Рамьер поспешил бросить его в огонь, боясь, что ему станет стыдно за самого себя. Но что поделаешь? Всею виной предрассудки, привитые нам воспитанием; к тому же самолюбие присуще любви так же, как интерес — дружбе.

Отсутствие господина де Рамьера было замечено в свете.

А это уже говорит о многом, ибо в светском обществе все как две капли воды похоже друг на друга. Можно быть умным человеком и ценить светскую жизнь, так же как можно быть глупцом и презирать ее. Реймон любил свет и был прав. Многие искали знакомства с ним, он нравился, и обычно равнодушная и насмешливая толпа салонных манекенов к нему была внимательна и любезна. Люди несчастливые легко становятся человеконенавистниками, но те, кого все любят, редко бывают неблагодарными. Так по крайней мере думал Реймон. Он был признателен за малейшее проявление внимания, стремился снискать всеобщее уважение и гордился тем, что у него много друзей.

В светском обществе, где все основано на предрассудках и предвзятом мнении, он преуспевал во всем, и даже его недостатки нравились. Когда он начинал искать причину всеобщего и столь постоянного расположения к себе, он обнаруживал, что она кроется в нем самом: в его желании добиться этого расположения, в той радости, которую он от этого испытывает, и в его собственной неистощимой благожелательности к людям.

Успехом в свете он также был обязан своей матери — женщине выдающейся по уму, красноречию и душевным качествам. От нее он унаследовал те превосходные нравственные устои, которые всегда возвращали его на правильный путь и не давали ему, несмотря на

юношеский пыл, утратить уважение общества. Правда, к нему относились гораздо снисходительнее, чем к другим, потому что его мать, даже осуждая его, умела найти ему оправдание и с видом трогательной мольбы требовала к нему снисхождения. Это была одна из тех женщин, чья жизнь протекала в столь различные эпохи, что научила их применяться ко всем превратностям судьбы. Такие женщины, испытавшие много несчастий и обогащенные немалым опытом, избежавшие эшафота в 1793 году, пороков Директории, суетности Империи и озлобленности Реставрации, встречаются теперь во французском обществе все реже и реже.

После долгого отсутствия Реймон впервые появился в свете на балу у испанского посла.

— Господин де Рамьер, если я не ошибаюсь? — спросила в гостиной одна хорошенькая женщина у своей соседки.

— Господин де Рамьер — комета, которая по временам появляется на нашем горизонте, — ответила та. — Уже целую вечность ничего не было слышно об этом красивом юноше.

Говорившая была пожилая иностранка.

— Он очень мил, не правда ли? — заметила ее собеседница, слегка покраснев.

— Очарователен, — ответила старая сицилианка.

— Держу пари, что вы говорите о герое наших модных салонов, о темноволосом красавце Реймоне, — сказал бравый гвардейский полковник.

— Какая прекрасная голова для этюда! — продолжала молодая женщина.

— И что вам, пожалуй, еще больше понравится — он настоящий сорвиголова!

— сказал полковник.

Молодая женщина была его жена.

— Почему сорвиголова? — спросила иностранка.

— Южные страсти, сударыня, достойные жгучего солнца Палермо.

Несколько молодых дам повернули хорошенькие, украшенные цветами головки, прислушиваясь к словам полковника.

— Он в нынешнем году затмил всех офицеров нашего гарнизона. Придется завязать с ним ссору, чтобы избавиться от него.

— Если он ловелас, тем хуже, — заметила молодая особа с насмешливым лицом. — Терпеть не могу всеобщих кумиров.

Итальянская графиня подождала, пока полковник отойдет, и, слегка ударив веером по пальцам мадемуазель де Нанжи, сказала:

— Не говорите так; вы не знаете, как ценят в нашем обществе мужчину, который жаждет быть любимым.

— Так вы полагаете, что мужчинам стоит только пожелать... — ответила молодая девушка с насмешливыми миндалевидными глазами.

— Мадемуазель, — сказал полковник, подходя к ней, чтобы пригласить ее на танец, — берегитесь, как бы красавец Реймон не услышал вас.

Мадемуазель де Нанжи рассмеялась, но за весь вечер никто из кружка хорошеньких женщин, к которому она принадлежала, не решался больше говорить о господине де Рамьере.

Господин де Рамьер не чувствовал ни скуки, ни отвращения, расхаживая среди оживленной, нарядной толпы.

И все же в тот вечер он никак не мог побороть свою грусть. Снова очутившись в привычном для него обществе, он ощущал нечто вроде упреков совести, вернее — какой-то стыд за сумасбродные мысли, навеянные ему его недостойным увлечением. Он любовался женщинами, такими прекрасными при блеске бальных огней, прислушивался к их тонкой, остроумной болтовне, слышал, как превозносят их таланты, и, глядя на этих избранных красавиц, на царственную роскошь их нарядов, внимая их изящному разговору, во всем видел и чувствовал упрек себе за собственное непорядочное поведение. Но, кроме стыда, Реймона терзали и более мучительные угрызения совести, потому что сердце его, хотя и достаточно закаленное в подобного рода делах, все же было весьма чувствительно к женским слезам.

В этот вечер взоры всех были обращены на одну никому не известную молодую женщину, впервые появившуюся в свете и именно поэтому пользовавшуюся особым вниманием общества. Среди других дам, украшенных бриллиантами, перьями и цветами, она выделялась уже самой простотою своего наряда. Несколько ниток жемчуга, вплетенных в черные волосы, были ее единственным украшением. Матовая белизна ее ожерелья, белое шелковое платье и обнаженные плечи издали сливались в одно целое, и, несмотря на царившую в комнатах жару, на щеках ее играл лишь легкий румянец, нежный, как бенгальская роза, распутившаяся на снегу.

Она была чрезвычайно хрупким, миниатюрным и грациозным созданием. В гостиной, при ярком свете люстр, ее красота казалась волшебной, но поблекла бы от лучей солнца. Она танцевала так легко, что, казалось, порыв ветра мог унести ее. Но эта легкость не была стремительной и радостной; когда она садилась, стройное тело ее сгибалось, как будто она была не в силах держаться прямо, а когда говорила и улыбалась, улыбка ее была печальной. В то время сказки пользовались большим успехом, и знатоки их сравнивали эту

молодую женщину с восхитительным видением, которое вызвано магическим заклинанием и с наступлением утра должно побледнеть и исчезнуть, как сон.

А пока что мужчины толпились вокруг, приглашая ее на танцы.

— Торопитесь, — сказал своему другу некий романтически настроенный денди, — сейчас пропоет петух, и ножки вашей дамы уже едва касаются паркета. Держу пари, что вы даже не чувствуете прикосновения ее руки.

— Посмотрите, какое у господина де Рамьера смуглое и оригинальное лицо,

— сказала одна из дам, художница, своему соседу. — Не правда ли, как прекрасно выделяется он своей мужественной внешностью рядом с этой бледной, тоненькой особой?

— Эта молодая особа, — добавила одна из дам, знавшая всех и поэтому выполнявшая на вечерах роль справочника, — дочь старого сумасброда Карвахалья, который корчил из себя жозефиниста, а, разорившись, отправился умирать на остров Бурбон. Эта женщина — прелестный экзотический цветок, но, кажется, она сделала весьма неудачную партию. Зато ее тетка теперь пользуется большими милостями при дворе.

Реймон подошел к прекрасной креолке. Странное волнение охватывало его всякий раз, когда он смотрел на нее. Он уже видел это грустное, бледное лицо в одном из своих снов; он знал, он помнил, что уже видел где-то эти черты, и его взгляд останавливался на Индиане с той радостью, какую испытывает человек при виде дорогого и милого образа, который, казалось, был для него навсегда утрачен. Его настойчивое внимание смутило ту, на кого оно было обращено. Скромная и застенчивая, не привыкшая к светским балам, она была скорее смущена, чем обрадована своим успехом. Реймон прошелся по гостиной, узнал, что эту женщину зовут госпожой Дельмар, и пригласил ее на танец.

— Вы не помните меня, — сказал он, когда они затерялись в толпе, — а я не мог забыть вас, сударыня. Хотя я видел вас всего лишь одно мгновение и как бы в тумане, вы выказали тогда столько доброты, с таким сочувствием отнеслись ко мне...

Госпожа Дельмар вздрогнула.

— Ах да, сударь, — сказала она с живостью, — это вы! Я тоже вас узнала.

Она покраснела, как бы испугавшись, что нарушила светские приличия, и оглянулась, желая узнать, не слышал ли ее кто-нибудь. От смущения она стала еще милее, и Реймон почувствовал, что тронут до глубины души звуком ее нежного, тихого голоса, как будто созданного для молитв и благословений.

— Я очень боялся, что мне никогда не представится мучай поблагодарить вас. Явиться к вам в дом я не мог и знал, что вы не бываете в свете. Мне не хотелось также встречаться с господином Дельмаром, — наши отношения с ним не таковы, чтобы эта встреча была приятной. Как я счастлив, что наконец настал миг, когда я могу выполнить свой долг и выразить вам мою глубокую признательность.

— Для меня было бы еще приятнее, — ответила она, — если бы господин Дельмар был здесь и слышал ваши слова; если бы вы его больше знали, то убедились бы, что, несмотря на свою вспыльчивость, он очень добр. Вы бы простили ему, что он случайно чуть не убил вас. Он, несомненно, страдал от этого больше, чем вы от своей раны.

— Не будем говорить о господине Дельмаре, сударыня, я прощаю ему от всей души. Я был виноват перед ним и понес заслуженное наказание. Остается только забыть об этом. Но вы, сударыня, так нежно и великодушно ухаживали за мной, что я всю жизнь буду помнить ваше отношение ко мне, ваше прекрасное лицо, вашу ангельскую доброту и эти ручки, пролившие бальзам на мои раны, ручки, которые я не мог даже поцеловать...

Произнося эти слова, Реймон держал руку госпожи Дельмар, готовясь вместе с нею начать кадрили. Он нежно пожал ее пальчики, и кровь прилила к сердцу молодой женщины.

Когда они вернулись на место, тетка госпожи Дельмар, госпожа де Карвахаль, куда-то отошла; ряды танцующих поредели. Реймон сел рядом с Индианой. У него была та непринужденность в обращении, которая дается опытом в сердечных делах; пылкость желаний, стремительность в любви обычно заставляют мужчин вести себя глупо. Человек, искушенный в любви, скорее жаждет понравиться, чем полюбить. Однако господин де Рамьер ощущал глубокое волнение в присутствии этой простой и неискушенной женщины — волнение, какого до сих пор еще никогда не испытывал. Возможно, причиной

тому было воспоминание о ночи, проведенной в ее доме. Во всяком случае, несомненно одно: его уста говорили то, что чувствовало его сердце.

Привычка к объяснениям с женщинами придавала его речам большую силу и убедительность, и неопытная Индиана внимала им, не подозревая, что они произносились уже не раз.

Если мужчина умно говорит о своей любви, то, значит, он не слишком сильно влюблен, и женщины это отлично понимают. Однако Реймон был исключением из этого правила. Красиво выражая свои чувства, он горячо переживал их. Однако не страсть делала его красноречивым, а красноречие возбуждало в нем страсть. Когда ему нравилась женщина, он стремился покорить ее пылкими речами и, стремясь ее покорить, влюблялся сам. Он напоминал адвоката или проповедника, которые, трудясь в поте лица, чтобы растрогать других, сами проливают горячие слезы. Ему, конечно, встречались женщины достаточно утонченные, которые не доверяли его пылким излияниям, но ради любви Реймон был способен на безумства. Однажды он увез молоденькую девушку из хорошей семьи, не раз компрометировал он женщин, занимавших видное положение, у него были три наделавших шума дуэли, и как-то на рауте, в зале, полной гостей, он обнаружил перед всеми смятение чувств и безумие любовной горячки. Если человек совершает такие поступки, не боясь показаться смешным или возбудить ненависть, и если это ему удастся, — он неуязвим: он может отважиться на все, всем рисковать и на все надеяться. Итак, Реймон мог сломить самое искусное сопротивление, ибо он умел убедить в искренности своей страсти. Мужчина, способный ради любви на безумства, — явление редкое в свете, и любовью таких мужчин женщины обычно не пренебрегают.

Не знаю, как он ухитрился это сделать, но, усаживая госпожу де Карвахаль и госпожу Дельмар в карету, он успел прижать к губам маленькую ручку Индианы. Никогда еще мужчина не касался тайным и жгучим поцелуем пальцев этой женщины, несмотря на то, что она родилась под южным небом и ей было девятнадцать лет, а девятнадцать лет на острове Бурбон соответствуют двадцати пяти в нашем климате.

Она была так болезненно нервна, что чуть не вскрикнула от этого поцелуя, и Реймону пришлось поддержать ее, когда она садилась в

карету. Такой впечатлительной натуры он еще никогда не встречал. Креолка Нун обладала крепким здоровьем, а парижанки не падают в обморок, когда им целуют руку. «Если я еще раз увижу ее, я потеряю голову», — подумал Реймон удаляясь.

На следующий день он окончательно забыл о Нун; он помнил только одно — что она служит у госпожи Дельмар. В его мыслях, в его мечтах царил бледный образ Индианы. Когда Реймон чувствовал, что начинает влюбляться, он обычно старался как-нибудь забыться, но не для того, чтобы подавить зарождающуюся страсть, а наоборот, чтобы отогнать от себя доводы рассудка, не желая и боясь подумать о последствиях нового увлечения. В своей жадной погоне за наслаждениями он упорно шел к цели и не мог заглушить кипящую в его груди бурю страстей, так же как не в силах был разжечь потухающее чувство.

На следующий день ему удалось узнать, что господин Дельмар уехал по торговым делам в Брюссель. Уезжая, полковник поручил жену попечениям госпожи де Карвахаль. Он ее сильно недолюбливал, но это была единственная родственница Индианы. Сам он выслужился из простых солдат и происходил из бедной и незнатной семьи, которой очень стеснялся, хотя и твердил постоянно, что ему не приходится за нее краснеть. Непрестанно упрекал жену в презрительном отношении к его родственникам, что совсем не соответствовало истине, он тем не менее чувствовал, что не следует принуждать ее к сближению с этими маловоспитанными людьми. Несмотря на свою нелюбовь к госпоже де Карвахаль, он не мог отказать ей в уважении, и вот по каким причинам: госпожа де Карвахаль, родом из знатной испанской семьи, принадлежала к числу женщин, всю жизнь стремящихся играть видную роль. Во времена господства Наполеона в Европе она преклонялась перед его славой и вместе с мужем и деверем примкнула к партии жозефинистов. Ее муж был убит при падении этой недолговечной династии завоевателя, а отец Индианы бежал во французские колонии. Тогда ловкая и энергичная госпожа де Карвахаль переехала в Париж и на остатках былой роскоши, неизвестно при помощи каких биржевых спекуляций, вновь сколотила себе приличное состояние.

Благодаря уму, интригам и безграничной преданности Бурбонам она завоевала также расположение двора, и дом ее, хотя и не

блестящий, был одним из самых уважаемых среди тех, кто получал подачки из королевской шкатулки.

Когда после смерти отца Индиана, выйдя замуж за полковника Дельмара, вернулась во Францию, госпожа де Карвахаль не очень-то одобрила эту далеко не завидную партию. Однако, убедившись, что господин Дельмар приумножил свои скудные средства и что его практическая смекалка и энергия возмещают отсутствие состояния, она купила для Индианы небольшое поместье в Ланьи и находящуюся при нем фабрику. За два года, благодаря техническим знаниям господина Дельмара и деньгам, которые ссудил ему сэр Ральф — дальний родственник его жены, дела полковника настолько поправились, что он начал выплачивать долги, и госпожа де Карвахаль, в чьих глазах богатство являлось для человека наилучшей рекомендацией, стала проявлять нежные чувства к племяннице и обещала сделать ее своей наследницей. Индиана, лишенная честолюбия, окружала тетку заботой и вниманием не из корысти, а из чувства благодарности. Но в почтительном отношении полковника к госпоже де Карвахаль оба эти чувства играли одинаковую роль. Полковник был непоколебим в своих политических убеждениях, он не допускал нападок на любимого императора и защищал его славу со слепым упорством шестидесятилетнего ребенка. Ему стоило огромных усилий сдерживать ярость в гостиной госпожи де Карвахаль, где превозносилась только Реставрация. Что вытерпел бедный господин Дельмар из-за нескольких старых ханжей, передать невозможно. Эти неприятности до известной степени являлись причиной его дурного настроения, которое он так часто срывал на жене.

Изложив все эти подробности, вернемся к господину де Рамьеру. Через три дня он был уже в курсе всех домашних дел семьи Дельмар — так настойчиво старался он найти путь к сближению с нею. Он понял, что, завоевав симпатию госпожи де Карвахаль, получит возможность видаться с Индианой. На третий день вечером он явился к ней с визитом.

В гостиной находилось несколько допотопного вида особ, с важностью игравших в карты, и два-три дворянских сыночка, представлявших собою полнейшее ничтожество, — такими бывают только представители трехсотлетнего дворянства. Индиана терпеливо

вышивала в пальцах, заканчивая узор, начатый теткой. Она не отрывалась от работы и, казалось, была всецело поглощена этим механическим занятием, а пожалуй, даже и довольна тем, что оно позволяет ей не принимать участия в пустой болтовне присутствующих. Длинные черные локоны скрывали ее грустное личико, склоненное над вышиванием, и, возможно, она вновь переживала то краткое и волнующее мгновение, которое приобщило ее к новой жизни. В это время слуга возвестил о прибытии нескольких гостей. Не обратив внимания на их фамилии и почти не поднимая глаз от работы, она машинально встала, но, услышав голос одного из прибывших, вдруг вздрогнула как от электрического тока и вынуждена была опереться на свой рабочий столик, чтобы не упасть.

Реймон никак не предполагал очутиться в такой мрачной гостиной и в таком немногочисленном и скромном обществе. Нельзя было произнести ни слова, чтобы оно не было услышано во всех углах комнаты. Почтенные матроны, игравшие в карты, казалось, присутствовали здесь только для того, чтобы мешать разговорам молодежи, и на их застывших лицах Реймону чудилось скрытое злорадство старости, находящей удовлетворение в том, чтобы портить удовольствие другим. Он рассчитывал на встречу, более удобную для нежных разговоров, чем та, что была на балу, а вышло все иначе. Непредвиденное затруднение придало больше страсти его желаниям, больше огня его взглядам, больше изобретательности и живости вопросам, косвенно обращенным к госпоже Дельмар. А она, бедняжка, была совсем не искушена в подобного рода стратегии. Обороняться она не могла, так как, собственно, и обороняться было не от чего. Но ей волей-неволей приходилось выслушивать пылкие признания в страстной любви, чувствовать, что ее опутывают опасными сетями соблазна, между тем как она не имеет возможности оказать никакого сопротивления. И чем смелее становился Реймон, тем больше росло ее смущение. Госпожа де Карвахаль, с полным основанием считавшая себя умной и блестящей собеседницей и слышавшая, что господин де Рамьер обладает теми же качествами, бросила карты и завязала с ним изысканный спор о любви, в котором обнаружила и чисто испанскую страстность и знакомство с немецкой философией. Реймон с готовностью принял вызов и, якобы отвечая тетке, высказал племяннице все то, что та иначе отказалась бы слушать. Бедная, беззащитная молодая женщина, ставшая жертвой столь быстрого и умелого нападения, не находила в себе сил принять участие в этом щекотливом разговоре. Напрасно тетка, желавшая дать ей возможность блеснуть, старалась втянуть ее в философские рассуждения о различных тонкостях чувств. Она, краснея, призналась, что ничего в этом не смыслит, и Реймон, опьянев от радости при виде ее вспыхнувшего лица и плохо скрываемого волнения, мысленно поклялся заняться ее обучением.

В эту ночь Индиана спала еще хуже, чем в предыдущие. Мы уже говорили, что она еще никого не любила, хотя ее сердце давно созрело для чувства, которое не сумел внушить ей ни один из встречающихся на ее пути мужчин. Воспитанная отцом, человеком вспыльчивым и со странностями, она никогда не знала того счастья, которое дает любовь близких. Господин де Карвахаль, обуреваемый политическими страстями и терзаемый неудовлетворенным честолюбием, приехав в колонию, стал одним из самых жестоких плантаторов и неприятных соседей. Дочери пришлось немало натерпеться от его скверного характера. Постоянно видя картину горя, порождаемого рабством, страдая от одиночества и зависимости, она выработала в себе внешнее спокойствие, редкую доброту и снисходительность по отношению к людям, находящимся в зависимом положении, но в то же время железную волю и невероятную силу сопротивления всему тому, что угрожало ее свободе. Выйдя замуж за господина Дельмара, она только переменила хозяина, а поселившись в Ланьи, сменила одну тюрьму на другую. Она не любила мужа, быть может по той простой причине, что была обязана любить его и что душевное сопротивление всякого рода нравственному принуждению стало ее второй натурой, основой поведения, внутренним законом. Но от нее и не требовалось ничего, кроме слепой покорности.

Воспитанная в уединении почти не обращавшим на нее внимания отцом, среди рабов, которым она могла помочь лишь слезами и сочувствием, она привыкла утешать себя тайной надеждой: «Настанет день, и моя жизнь изменится, я буду в состоянии делать добро людям, меня полюбят, и я отдам свое сердце тому, кто отдаст мне свое, а пока надо терпеть. Буду молчать и беречь свою любовь в награду тому, кто меня освободит». Но этот освободитель, этот мессия не появлялся. Индиана все еще ждала его, хотя даже в мыслях не осмеливалась себе в этом признаться. Она понимала, что здесь, среди подстриженных буковых аллей, даже мысли ее не были так свободны, как под девственными пальмами острова Бурбон. И, поймал себя на привычной мечте: «Настанет день, и он явится», — она всякий раз подавляла в себе это дерзкое желание и думала: «Мне остается одно — умереть!».

И бедная Индиана в самом деле угасала. Непонятная болезнь подтачивала ее здоровье. Она не спала и теряла силы. Врачи напрасно

искали видимых причин ее недуга — их не было; но весь организм ее постепенно ослабевал: внутренний жар истощал ее, взгляд померк, сердце то учащенно билось, то замирало, — несчастная затворница была близка к могиле. Однако, несмотря на всю покорность судьбе и полное отчаяние, в ней продолжала жить потребность в любви. Ее разбитое сердце по-прежнему ждало молодого, горячего чувства, которое могло бы его согреть. До сих пор она больше всех любила Нун, веселую и смелую подругу своих грустных дней; а к ней самой наибольшее расположение выказывал ее флегматичный кузен Ральф. Но разве могли утолить с недавшую ее тоску простая, невежественная девушка, такая же беспомощная, как и она сама, и англичанин, увлекавшийся только охотой на лисиц?

Госпожа Дельмар была глубоко несчастна. И когда она впервые почувствовала среди угнетавшей ее ледяной атмосферы горячее дыхание молодой и пылкой любви, когда впервые услышала опьянившие ее нежные и ласковые слова, когда трепещущие губы, подобно раскаленному железу, обожгли ей руку, она забыла обо всем, что ей внушали: о долге, об осторожности, о возможности испортить свое будущее. Она помнила только о своем тяжелом прошлом, о долгих годах страдания, о деспотизме отца и мужа. Она не думала и о том, что Реймон может оказаться лгуном или ветреным повесой. Она видела его таким, каким желала видеть, каким рисовала его себе в мечтах, и Реймону ничего не стоило бы ее обмануть, если бы он сам не был искренен.

Но мог ли он быть неискренним перед такой красивой и любящей женщиной? Где еще он встретил бы такую чистоту и невинность? Кто другой мог дать ему в будущем более полное и прочное счастье? Разве не была она рождена для того, чтобы любить его, разве эта женщина-раба не ждала только знака, чтобы разорвать свои цепи, только слова, чтобы последовать за ним? Само небо создало для Реймона это печальное дитя с острова Бурбон, которое не знало еще ничьей любви и без него неминуемо погибло бы.

Тем не менее безумное счастье, охватившее госпожу Дельмар, сменилось вскоре чувством ужаса. Она вспомнила о ревнивом, придирчивом и мстительном муже, и ей стало страшно — не за себя, так как она уже привыкла к угрозам, а за того, кому предстояла смертельная борьба с ее тираном. Она была столь мало знакома с

нравами общества, что жизнь представлялась ей романом с трагической развязкой. Она была робка и не смела отдаться любви из боязни погубить своего возлюбленного — и в то же время нисколько не думала о грозившей ей самой опасности.

В этом заключалась тайная причина, побуждавшая ее оказывать сопротивление и оставаться добродетельной. Наутро она приняла решение избегать господина де Рамьера. Как раз в этот день вечером должен был состояться бал у одного из крупных парижских банкиров. Госпожа де Карвахаль, женщина старая, не имевшая никаких привязанностей, любила свет, и ей хотелось, чтобы Индиана сопровождала ее на бал. Но там они могли встретиться с Реймоном, и Индиана решила не ехать. Чтобы избежать уговоров тетки, госпожа Дельмар, которая не умела отказывать без достаточно веских оснований, сделала вид, будто соглашается на ее предложение. Она велела горничной достать бальное платье, а сама накинула капот и села у камина, дожидаясь, пока тетка закончит свой туалет. Когда старая испанка, затянутая и разряженная, словно сошедшая с портрета Ван-Дейка, пришла за ней, Индиана заявила, что чувствует себя плохо и не в силах ехать. Напрасно тетка уговаривала ее пересилить свое недомогание.

— Мне самой очень хочется поехать, — сказала Индиана, — но вы видите, что я еле держусь на ногах и была бы вам сегодня только обузой. Поезжайте на бал без меня, милая тетушка, и развлекитесь. Я буду рада за вас.

— На бал без тебя! — с досадой воскликнула госпожа де Карвахаль. Ей до смерти не хотелось, чтобы ее старания принарядиться пропали даром, и к тому же перспектива провести вечер в одиночестве пугала ее.

— Мне там нечего делать! Я женщина старая, мною интересуются и меня ценят только ради тебя и твоих прекрасных глаз.

— Полноте, тетушка, разве ваш ум не стоит моих прекрасных глаз? — ответила Индиана.

И маркиза де Карвахаль, только и ждавшая, чтобы ее уговорили, наконец уехала. Тогда Индиана, закрыв лицо руками, заплакала. Она принесла огромную жертву и, как ей казалось, разрушила волшебный замок, созданный ею накануне.

Но Реймон решил иначе. Первое, что он увидел на балу, был горделивый эгрет старой маркизы. Напрасно искал он глазами белое платье и темноволосую головку Индианы. Подойдя к маркизе, он услышал, как та вполголоса говорила своей знакомой:

— Моей племяннице нездоровится. Или, вернее, — прибавила она, чтобы оправдать свое присутствие на балу, — это просто каприз молодой женщины. Ей захотелось остаться одной, посидеть с книгой и помечтать — она ведь такая мечтательница.

«Неужели она избегает меня?» — подумал Реймон.

Реймон тотчас же уехал с бала, отправился в дом маркизы, прошел, не говоря ни слова, мимо привратника и попросил первого попавшегося ему в прихожей заспанного лакея доложить о себе госпоже Дельмар.

— Госпожа Дельмар нездорова.

— Знаю. Я приехал по поручению госпожи де Карвахаль осведомиться, как она себя чувствует.

— Сейчас доложу...

— Не трудитесь, госпожа Дельмар меня примет.

И Реймон вошел без доклада. Все остальные слуги уже спали. В пустых комнатах царила печальная тишина. Только одна лампа под зеленым шелковым абажуром слабо освещала большую гостиную. Индиана сидела спиной к двери, в таком глубоком кресле, что ее почти не было видно. Она грустно смотрела на тлеющие угли, так же, как в тот вечер, когда Реймон проник в Ланьи через ограду парка. Но сейчас у нее на душе было еще тяжелее; это уже была не прежняя смутная грусть и безотчетные желанья, — теперь она горевала о потерянном мимолетном счастье, ярким лучом озарившем ее жизнь.

Реймон, в бальных туфлях, бесшумно подошел к ней по пушистому и мягкому ковру. Он видел, что она плакала. Как только она обернулась, он очутился у ее ног и прильнул к ее рукам, которые она напрасно старалась отнять. И она почувствовала невыразимую радость от того, что план ее сопротивления рухнул. Она поняла, что страстно любит этого человека, который не побоялся препятствий и пришел подарить ей счастье вопреки ее воле. Она благословила небо, отвергнувшее ее жертву, и, вместо того чтобы бранить Реймона, готова была благодарить его.

Что касается Реймона, то он уже знал, что любим. Ему даже не надо было видеть той радости, которая, несмотря на слезы, светилась на ее лице, — он и так понял, что имеет над ней неограниченную власть и может на все дерзнуть. Он не дал ей времени спросить его о чем бы то ни было и, поменявшись с ней ролями, стал сам задавать вопросы, даже не пытаясь объяснить или оправдать свое неожиданное появление.

— Вы плачете, Индиана? Я хочу знать, почему вы плачете.

Она вздрогнула, услышав, что он назвал ее по имени, но и эта неожиданная вольность преисполнила ее счастьем.

— Зачем вы спрашиваете, — ответила она, — я не должна вам это говорить.

— Ну, так я сам знаю почему, Индиана. Я знаю всю вашу жизнь, всю вашу историю. Ничто, касающееся вас, не может быть мне чуждым и безразличным. Я старался разведать о вас все, но узнал не более того, что стало для меня ясным за то короткое время, которое я провел в вашем доме. Я понял все уже тогда, когда меня, окровавленного и разбитого, принесли к вашим ногам и когда ваш муж так возмущался, видя, как вы, добрая и прекрасная, поддерживали меня своими нежными руками и своим дыханием проливали целебный бальзам на мои раны. Он ревновал, я понимаю его; будь я на его месте, я тоже ревновал бы вас, Индиана, или, вернее, будь я на его месте, я покончил бы с собой, так как быть вашим мужем, обладать вами, держать вас в своих объятиях и не быть достойным вас, не владеть вашим сердцем — это значит быть самым несчастным или самым жалким из мужчин.

— Замолчите, ради бога! — воскликнула Индиана, закрывая ему рот рукою.

— Замолчите, я совершаю преступление, слушая вас. Зачем вы говорите мне о нем? Зачем учите меня ненавидеть его? Если бы он слышал вас!.. Ведь я не говорила вам про него ничего дурного и не разрешала вам делать это. У меня нет ненависти к нему; я уважаю, я люблю его.

— Скажите лучше, что вы его безумно боитесь. Этот деспот разбил ваше сердце, и, с тех пор как вы стали его собственностью, страх не покидает вас. Индиана, вы отданы на поругание этому грубому человеку, который своей железной рукой подавил вашу волю

и погубил вашу жизнь! Бедное дитя! Вы такая молодая и прекрасная и уже столько страдали! Меня вам не обмануть, Индиана, я вижу больше, чем равнодушная толпа. Все тайны вашей жизни мне известны, и не надейтесь что-либо скрыть от меня. Пусть люди, любующиеся вашей красотой, замечая вашу бледность и печаль, говорят: «Она больна», — пусть! Но я, любящий вас всем сердцем и преданный вам всей душой, знаю, в чем причина вашего недуга. Я знаю, что если бы судьба захотела отдать вас мне — мне, несчастному, который готов биться головой о стену, потому что явился слишком поздно, вы не были бы больны. Нет, Индиана, клянусь жизнью! Я так любил бы вас, что и вы полюбили бы меня и стали бы благословлять связующие нас узы. Я бы носил вас на руках, чтобы вы не поранили свои ножки, я согревал бы их своим дыханием. Я прижал бы вас к сердцу, ограждая от всех страданий, отдал бы всю свою кровь, чтобы вернуть вам силы. И если бы вы не могли уснуть, я всю ночь нашептывал бы вам ласковые слова, улыбался бы, чтобы вселить в вас бодрость, хотя и плакал бы, видя ваши страдания. А когда сон слетел бы наконец на ваши нежные веки, я закрыл бы их легким прикосновением своих губ и на коленях бодрствовал бы до утра у вашего изголовья. Я заставил бы воздух ласкать вас и навевать вам золотые сны. Нежно целовал бы я ваши темные косы, с восторгом прислушивался бы к трепетному биению вашего сердца, и, проснувшись, вы бы увидели меня у своих ног, оберегающим вас, как ревнивый властелин, готовым служить, как раб, подстерегающим вашу первую улыбку, вашу первую мысль, первый взгляд, первый поцелуй...

— Довольно, довольно! — произнесла растерянная и трепещущая Индиана. — Вы причиняете мне боль.

Если бы от счастья умирали, Индиана умерла бы в этот миг.

— Не говорите мне таких слов, — продолжала она, — я не могу быть счастливой. Не открывайте земного рая мне, обреченной на смерть.

— Обреченной на смерть! — воскликнул он, схватив ее в объятия. — Ты обречена на смерть? Ты, Индиана, еще не жившая и не познавшая любви?.. Нет, ты не умрешь, я не дам тебе умереть, ибо моя жизнь отныне связана с твоей. Ты та женщина, о которой я грезил, в тебе я нашел ту чистоту, перед которой всегда преклонялся, ты мечта,

ускользавшая от меня, яркая звезда, постоянно светившая мне во тьме и словно говорившая: «Продолжай свой жизненный путь в этом печальном мире, и небо ниспошлет тебе одного из своих ангелов». От рождения ты предназначена мне судьбой, Индиана; твоя душа была обручена с моей. Люди и их железные законы распорядились тобой, они отняли у меня подругу, которую сам бог избрал бы для меня, если бы он помнил свои обещания. Но что нам до людей и до их законов, раз я люблю тебя, хоть ты и принадлежишь другому, и раз ты любишь меня, несчастного, потерявшего тебя? Ты видишь сама, Индиана, что ты моя, что мы с тобой две половины одной и той же души, которые давно искали соединения друг с другом. Когда на острове Бурбон ты мечтала о друге, ты мечтала обо мне. Когда с трепетом и надеждой думала о будущем муже, — этим мужем должен был стать я. Разве ты не узнала меня? Не кажется ли тебе, что мы встретились после долгой-долгой разлуки? А я, разве я не узнал тебя, мой ангел, когда ты отирала мне кровь своей вуалью и прикладывала руку к моему угасающему сердцу, чтобы вернуть меня к жизни? Ах, я помню все!.. Когда я раскрыл глаза, я подумал: «Это она! Такой она являлась мне в мечтах — бледной, печальной и доброй. Она моя, она должна дать мне неизведанное блаженство». И даже к жизни я вернулся благодаря тебе. Ты сама видишь, что нас соединили не обычные жизненные обстоятельства! Не случай, не каприз, а рок и смерть распахнули мне дверь в новую жизнь! Твой муж, твой повелитель, подчиняясь судьбе, сам принес меня, окровавленного, к тебе в дом и бросил к твоим ногам со словами: «Возьмите его, он ваш!». И теперь нас ничто не может разлучить.

— Он, именно он может нас разлучить! — живо перебила его госпожа Дельмар, с наслаждением внимавшая восторженным речам влюбленного Реймона.

— Увы, вы не знаете его; этот человек ничего не прощает, его нельзя обмануть. Он убьет вас! — И она со слезами прижалась к его груди.

Реймон страстно обнял ее.

— Пусть он придет, — воскликнул он, — пусть придет и попробует вырвать у меня мое счастье! Я не боюсь его! Оставайся здесь, Индиана, у моего сердца. Здесь твое убежище и защита. Люби меня, и я буду неуязвим. Ты прекрасно знаешь, что этот человек не

властен меня убить; однажды, безоружный, я уже был под его выстрелами. Ты, Индиана, мой добрый ангел, витала надо мной и охраняла меня своими крыльями. Не бойся ничего, мы сумеем отвратить его гнев, теперь и за тебя я больше не страшусь, — ведь я с тобой. И когда этот тиран станет угнетать тебя, я буду твоим защитником. Я вырву тебя, если понадобится, из-под ига его жестокого закона. Хочешь, я убью его? Скажи мне, что ты любишь меня, и я убью его, если ты желаешь его смерти.

— Замолчите, вы приводите меня в ужас. Если надо убить кого-нибудь, убейте лучше меня; благодаря вам за один день я прожила целую жизнь и не желаю ничего большего.

— Умри же, но умри от счастья! — воскликнул Реймон, прильнув к губам Индианы.

Это было слишком сильным потрясением для столь слабого создания. Она побледнела и, прижав руку к сердцу, лишилась чувств.

Сначала Реймон думал, что его ласки вернут ее к жизни; но напрасно покрывал он поцелуями ее руки, напрасно называл самыми нежными именами, — ее обморок не был притворным, как это часто бывает у женщин. Госпожа Дельмар давно была серьезно больна и страдала нервными припадками, продолжавшимися несколько часов подряд. В отчаянии Реймон стал звать на помощь. Он позвонил. Вошла горничная; вдруг пузырек, который она принесла, выскользнул из ее рук, из груди вырвался крик — она узнала Реймона. Тотчас же овладев собой, он сказал ей на ухо:

— Тише. Нун, я знал, что ты здесь, и пришел к тебе. Но я никак не ожидал встретиться с твоей хозяйкой, — я думал, что она на балу. Своим появлением я испугал ее, и она лишилась чувств. Будь осторожна, я ухожу.

Реймон быстро вышел, оставив вместе обеих женщин. Каждая теперь владела тайной, которая могла привести в отчаяние другую.

На следующее утро Реймон, проснувшись, получил от Нун второе письмо. На этот раз он не отбросил его с презрением, а напротив, поспешно вскрыл, надеясь что-нибудь узнать из него о госпоже Дельмар. Так оно и было; но в какое затруднительное положение попал Реймон из-за того, что две его любовные интриги так тесно переплелись между собой. Молодая креолка не могла больше скрывать свою тайну. От горя и страха она так сильно осунулась, что госпожа Дельмар заметила ее болезненное состояние, хотя и не понимала его причин. Нун очень боялась строгого полковника, но еще больше стеснялась своей доброй хозяйки. Она прекрасно знала, что та простит ее, но Нун готова была умереть от стыда и отчаяния при мысли, что придется признаться во всем. Что будет с ней, если Реймон не избавит ее от предстоящих унижений! Он должен наконец позаботиться о ней, иначе она бросится к ногам госпожи Дельмар и расскажет ей обо всем.

Эта угроза подействовала на господина де Рамьера, и потому он прежде всего решил удалить Нун от госпожи Дельмар.

«Без моего согласия вы не смеете ни в чем признаваться, — ответил он ей. — Постарайтесь приехать сегодня вечером в Ланьи — я буду там».

Дорогой он обдумывал, как ему поступить в дальнейшем. Нун была достаточно благоразумна и не могла рассчитывать на то, что он узаконит их отношения. Она никогда не решалась говорить о браке, она была скромна и великодушна, и потому Реймон не считал себя очень виноватым. Он успокаивал себя тем, что не обманывал ее и что Нун сама должна была знать, на что идет. Материальная сторона вопроса также не смущала Реймона, — он готов был щедро обеспечить несчастную девушку и взять на себя все заботы, которые подсказывала ему совесть. Но ему было тягостно признаться в том, что он больше не любит ее, ибо он не умел обманывать. Хотя его отношение к ней могло показаться вероломным и лицемерным, в душе он оставался по-прежнему искренним. Он любил Нун лишь чувственной любовью, а госпожу Дельмар любил по-настоящему,

всем сердцем. До сих пор он не лгал ни той, ни другой. Ему не хотелось лгать и в дальнейшем, однако он чувствовал, что не способен как обманывать бедную Нун, так и нанести ей смертельный удар. Приходилось выбирать между подлостью и жестокостью. Реймон был очень несчастен. Он подошел к воротам парка Ланьи, так ничего и не решив.

Со своей стороны, Нун, не ожидавшая столь скорого ответа, вновь обрела надежду. «Он не разлюбил меня, — решила она, — он не собирается меня бросить. Сейчас он несколько охладел ко мне, оно и понятно. В Париже, где столько развлечений, где все женщины добиваются его любви, он перестал думать о бедной креолке. Увы, кто я такая? Разве он пожертвует ради меня знатными дамами, более красивыми и богатыми, нежели я? Почему знать, — подумала она в простоте душевной, — быть может, сама французская королева влюблена в него».

Размышляя о всех соблазнах роскоши, окружавшей ее возлюбленного, Нун придумала способ, как ему лучше понравиться. Она нарядилась в платье своей хозяйки, затопила камин в ее спальне, расставила всюду самые красивые цветы, какие только нашла в оранжерее, приготовила фрукты и тонкие вина, словом, создала изысканную обстановку свидания, а раньше это никогда не приходило ей в голову. Взглянув на себя в зеркало, Нун убедилась, что сама она несравненно прекраснее тех цветов, которыми себя украсила.

«Он часто повторял, — подумала она, — что я хороша и без драгоценностей и что ни одна знатная дама во всем блеске своих бриллиантов не стоит моей улыбки. А теперь он увлекается этими женщинами, которыми раньше пренебрегал. Ну же, смотри веселей, Нун, оживись, улыбайся, и, может быть, сегодня ночью ты вернешь его любовь».

Реймон оставил лошадь в лесу, у лачуги угольщика, и проник в парк с помощью имевшегося у него ключа. На этот раз он не боялся, что его примут за вора. Почти вся прислуга уехала в Париж вместе с хозяевами, садовник был посвящен в их тайну, а парк Ланьи Реймон знал, как свой собственный.

Ночь была холодная. Густой туман окутывал деревья, и Реймон с трудом различал их темные стволы сквозь дымку, одевшую их белой влажной пеленой.

Он несколько минут бродил по извилистым аллеям, прежде чем очутился у двери беседки, где его ждала Нун. Она вышла к нему навстречу, закутанная в шубку с капюшоном, наброшенным на голову.

— Здесь нельзя оставаться, — сказала она, — тут слишком холодно. Ступайте за мной и молчите.

Реймон почувствовал непреодолимое отвращение при мысли о том, что он войдет в дом госпожи Дельмар в качестве возлюбленного ее горничной. Однако пришлось уступить. Нун быстро шла впереди него, к тому же свидание предстояло решающее.

Они прошли через двор, Нун успокоила лаявших собак, бесшумно открыла двери и, взяв его за руку, молча повела по темным коридорам. Наконец они вошли в круглую комнату, изящно и просто обставленную, где цветущие померанцевые деревья разливали свое тонкое благоухание. В канделябрах горели восковые свечи.

Нун усыпала паркет лепестками бенгальских роз, разбросала фиалки по дивану; нежное тепло ласкало тело; хрусталь сверкал на столе среди спелых фруктов, красиво уложенных на зеленом мху в корзинках.

Ослепленный внезапным переходом от мрака к яркому свету, Реймон в первую минуту растерялся, но почти тотчас же понял, где он находится. Изысканный вкус и целомудренная простота обстановки — на полках красного дерева романы и книги о путешествиях, пальцы с красивым и ярким вышиванием

— немым свидетелем терпения и грусти, арфа, чьи струны, казалось, еще трепетали тоской и надеждой, гравюры, изображающие пастушескую любовь Павла и Виргинии, горные вершины острова Бурбон и лазурную бухту Сен-Поля, в особенности же узкая кровать, наполовину скрытая кисейным пологом, белая и девственная, с пальмовой веткой у изголовья, сорванной, вероятно, в день отъезда из родных мест, — все, все говорило ему о госпоже Дельмар. И Реймона охватило странное волнение при мысли, что закутанная женщина, которая привела его сюда, может быть и есть сама Индиана. Точно в подтверждение этой фантазии, он увидел напротив себя в зеркале отражение дамы в белом нарядном платье, в тот момент, когда она, приехав на бал, сбрасывает с себя шубку и предстает перед взорами всех, ослепительная, полуобнаженная, в ярком освещении зала. Но это заблуждение длилось всего секунду. Индиана, конечно, была бы одета

гораздо скромнее. Она прикрыла бы грудь густым тюлем; возможно, она украсила бы волосы живыми камелиями, но вряд ли расположила бы их на своей голове в таком соблазнительном беспорядке. Она могла бы надеть атласные туфельки, но ее целомудренные одежды никогда не выдали бы тайн ее стройных ножек.

Нун была выше и полнее госпожи Дельмар, и видно было, что она нарядилась в чужое платье. Она была прелестна, но в ней не было благородного изящества. Она была красива, но это была женщина, а не фея. Она сулила наслаждение, но не могла дать блаженства.

Реймон, не поворачивая головы, опядел ее в зеркале, а затем перевел взгляд на то, в чем отражался чистый облик Индианы: на музыкальные инструменты, картины и на узкую девичью кровать. Его опьянял легкий запах, оставшийся в этом святилище от ее присутствия, он трепетал при мысли о том дне, когда сама Индиана откроет для него двери этого рая. А Нун, скрестив руки, стояла за его спиной и восторженно смотрела на него, уверенная, что он очарован ее стараниями понравиться ему. Наконец он прервал молчание:

— Благодарю вас за все приготовления, которые вы сделали ради меня, в особенности же за то, что вы привели меня сюда, но я уже достаточно насладился этим очаровательным сюрпризом. Пойдемте отсюда, в этой комнате нам не место: я обязан уважать госпожу Дельмар даже в ее отсутствие.

— Это жестоко, — ответила Нун; она не поняла его, но видела, что он холоден и недоволен. — Очень жестоко! Я надеялась вам понравиться, а вы меня отталкиваете.

— Нет, дорогая Нун, я вас не отталкиваю и никогда не оттолкну. Я пришел, чтобы серьезно поговорить с вами и доказать свою привязанность. Я очень признателен вам за желание понравиться мне, но я предпочитаю видеть вас без этих чужих украшений — ваша юность и красота не требуют никаких уборов.

Нун, только наполовину поняв, что он хотел ей сказать, горько заплакала:

— Какая я несчастная! Я просто ненавижу себя, раз я вам больше не нравлюсь... Я должна была предвидеть, что вы скоро разлюбите меня, бедную, необразованную девушку. Я ни в чем вас не упрекаю, — я знала, что вы на мне не женитесь. Но если б вы любили меня по-прежнему, я бы пожертвовала всем, ни о чем бы ни жалела,

безропотно перенесла бы все. Увы, я погибла, я опозорена!.. Меня, наверное, выгонят. У меня родится ребенок, он будет еще несчастнее, чем я, и никто меня не пожалеет!.. Каждый будет считать себя вправе всячески унижать меня. Но знайте, я перенесла бы это с радостью, если бы вы все еще любили меня.

Нун долго не могла успокоиться. Правда, она выражала свое горе не теми словами, что я здесь привожу, но высказывала те же мысли и говорила во сто раз лучше меня. В чем кроется секрет красноречия, которое вдруг появляется у невежественного и примитивного человека под влиянием настоящей страсти и глубокого страдания? Слова тогда приобретают какое-то иное, необычное значение. Обыденные фразы звучат трагически под влиянием чувства, которым они продиктованы, и благодаря выражению, с каким они произносятся. В такие минуты самая простая женщина точно преображается и в пылу волнения становится красноречивой и говорит убедительнее, чем женщина с воспитанием, привыкшая сдерживаться и владеть собой.

Реймон был польщен тем, что сумел внушить такую беззаветную любовь; благодарность и жалость к Нун, а отчасти и удовлетворенное тщеславие, зажгли в нем на мгновение ответное чувство.

Нун задышалась от слез. Она сорвала цветы, украшавшие ее голову, и длинные волосы рассыпались по ее полным, красивым плечам. Если бы не ореол страдания и покорности судьбе, окружавший госпожу Дельмар и придававший ей особый интерес в глазах Реймона, Нун в этот миг совсем затмила бы ее своею красотой. Она была прекрасна в порыве любви и горя. Победенный Реймон привлек ее к себе, усадил рядом с собой на диван и, придвинув маленький столик с графинами, налил ей немного апельсиновой воды в позолоченный бокал. Его внимание, больше чем прохладительный напиток, подействовало на Нун. Немного успокоившись, она вытерла глаза и бросилась к его ногам.

— Люби меня по-прежнему, — сказала она, страстно обнимая его колени. — Повтори еще раз, что ты меня любишь, и ты исцелишь, ты спасешь меня! Поцелуй меня как раньше, и я никогда не пожалею, что погубила себя, дав тебе несколько часов наслаждения!

Она обняла его своими смуглыми, нежными руками, окутала длинными волосами, ее большие черные глаза горели огнем страсти, и она захватила его своим пылким желанием, той восточной негой,

которая покоряет волю и заставляет молчать рассудок. Реймон забыл все: принятое решение, свою новую любовь, место, где он находился. И ответил ласками на безумные ласки Нун. Он пил с ней из одного бокала, и от крепких вин, в изобилии стоявших перед ними на столике, оба окончательно потеряли рассудок.

Понемногу обрывки смутных воспоминаний об Индиане стали возникать в одурманенном мозгу Реймона. Образ Нун, отраженный стенными зеркалами, расположенными друг против друга, множился до бесконечности, и казалось, что комнату населяет толпа призраков. Реймон старался различить в этом двойном отражении более нежные черты, и ему стало казаться, будто в одном из дальних и смутных обликов он узнает гибкую и стройную фигуру госпожи Дельмар.

Нун, охмелев от непривычных для нее возбуждающих напитков, не отдавала себе отчета в странных речах своего возлюбленного. Если бы она не была в таком же опьянении, как он, она поняла бы, что даже в разгаре страсти Реймон думает о другой. Она поняла бы, что он целует шарф и ленты, принадлежащие Индиане, вдыхает аромат ее духов, сжимает в своих горячих руках шелк, покрывавший прежде ее грудь. Нун принимала на свой счет восторги своего возлюбленного, в то время как Реймон видел не ее, а только платье Индианы, которое она надела. Целуя черные волосы Нун, он мысленно целовал черные локоны Индианы. Индиану видел он в пламени пунша, зажженного рукою Нун. Это она манила его и улыбалась ему из-за белого прозрачного полога; о ней он мечтал даже в ту минуту, когда, опьяненный вином и любовью, увлек на это скромное, девственное ложе свою обезумевшую от страсти креолку.

Когда Реймон проснулся, рассвет уже пробивался сквозь ставни; он не скоро пришел в себя и долго лежал неподвижно, думая, что видит во сне и комнату и кровать, на которой лежит. В спальне госпожи Дельмар все уже было приведено в порядок. Нун, уснувшая накануне королевой, утром снова проснулась горничной. Она унесла цветы и убрала остатки ужина. Мебель стояла на своих местах, ничто не выдавало любовной оргии прошедшей ночи, и комната Индианы вновь обрела свой невинный и благопристойный вид.

Подавленный стыдом, Реймон встал и хотел уйти, но оказалось, что он заперт. Окно находилось на высоте тридцати футов, и ему

поневоле пришлось остаться в комнате, где он, подобно прикованному к колесу Иксиону, должен был мучиться угрызениями совести.

Он упал на колени перед измятой и оскверненной им постелью, от одного вида которой сгорал со стыда.

— О Индиана, — воскликнул он, ломая руки, — как я тебя оскорбил! Сможешь ли ты простить мне такое святотатство? Но если б даже ты и простила меня, я сам не прощу себе этого. Гони меня теперь прочь, нежная и доверчивая Индиана, ведь ты не знаешь, какому грубому и низкому человеку хочешь ты отдать сокровища твоей невинности! Гони прочь, презирай меня — меня, не пощадившего этого чистого и священного приюта, меня, упившегося, как лакей, твоими винами вместе с твоей служанкой, меня, осквернившего своим нечистым дыханием и гнусными поцелуями твои одежды, которые надела на себя другая! Я не побоялся отравить мир твоих одиноких ночей, позволил соблазну и блуду проникнуть на это ложе, которое уважал даже твой собственный муж! Как сможешь ты впредь найти покой под этим пологом, над тайной которого я надругался? Какие грешные сновидения, какие нечистые мысли будут отныне томить и иссушать твой бедный мозг? Какие порочные и дерзкие образы начнут витать вокруг твоего девственного ложа? Какое целомудренное божество захочет теперь оберегать твой сон, чистый, как сон ребенка? Разве не обратил я в бегство ангела, охранявшего твое изголовье, разве не открыл путь в твой альков демону сладострастия, разве не продал ему твоей души? Что, если безумная страсть, сжигающая тело этой чувственной креолки, пристанет теперь к тебе, подобно одежде Деяниры, и истерзает тебя? О, я несчастный, несчастный преступник! Если б я мог смыть своей кровью позор, которым запятнал твое ложе!

И Реймон горько рыдал у постели Индианы.

Вошла Нун в передничке и Мадрасе. Увидя Реймона, стоящего на коленях, она решила, что он молится. Она не знала, что светские люди не привыкли молиться, и молча ждала, когда он соблаговолит обратить на нее внимание.

Увидев ее, Реймон почувствовал смущение и гнев, но не посмел ни упрекнуть ее, ни обратиться к ней с дружеским словом.

— Почему вы заперли меня? — спросил он наконец. — Подумали ли вы о том, что уже светло и я не могу уйти, не скомпрометировав

вас?

— Вам незачем уходить, — ласково ответила Нун. — В доме никого нет, никто не узнает, что вы здесь; садовник не бывает совсем на этой половине

— ключи от нее находятся только у меня. Сегодняшний день вы проведете со мной, вы мой пленник!

Ее план привел Реймона в отчаяние; он чувствовал теперь к своей возлюбленной только отвращение. Но ему пришлось подчиниться; к тому же, несмотря на все муки, которые он испытывал в этой комнате, какие-то непреодолимые чары удерживали его здесь.

Когда Нун ушла, чтобы принести ему завтрак, он стал рассматривать при дневном свете окружавшие его предметы — немых свидетелей одиночества Индианы. Он перелистал несколько книг, раскрыл ее альбом, потом быстро закрыл его, боясь снова оскорбить ее нескромным проникновением в ее женские тайны. Затем он начал ходить по комнате и вдруг заметил на стене, напротив кровати госпожи Дельмар, большую картину в дорогой раме, затянутую густой кисеей.

А что, если это портрет Индианы? Сгорая от нетерпения, забыв свои благие намерения, Реймон вскочил на стул, отколол кисею и с удивлением увидел портрет красивого молодого человека, изображенного во весь рост.

— Мне кажется, я где-то видел это лицо, — сказал он Нун, стараясь казаться равнодушным.

— Ах, как нехорошо, сударь, — ответила она, ставя завтрак на стол, — нехорошо, что вы хотите узнать сердечные тайны моей хозяйки.

При этих словах Реймон побледнел.

— Сердечные тайны? — сказал он. — Если это действительно сердечная тайна и ты о ней знаешь, Нун, зачем же ты привела меня сюда?

— Какая там тайна, — сказала с улыбкой Нун, — господин Дельмар сам помогал вешать сюда портрет сэра Ральфа. Разве заведешь сердечные тайны при таком ревнивом муже?

— Сэр Ральф, говоришь ты, кто это сэр Ральф? — спросил Реймон.

— Сэр Рудольф Браун — двоюродный брат госпожи Дельмар. Ее друг детства, да, можно сказать, и мой также. Он такой добрый!

Реймон с удивлением и беспокойством разглядывал портрет.

Мы уже упоминали, что сэр Ральф, несмотря на свое невыразительное лицо, обладал красивой внешностью; белый, румяный, высокого роста, с густой шевелюрой, всегда безукоризненно одетый, он, пожалуй, не мог бы вскружить какую-нибудь романтическую головку, но, несомненно, мог понравиться особе положительной. Флегматичный баронет был изображен в охотничьем костюме, приблизительно таким, каким мы видели его в первой главе нашей повести, окруженный своими собаками, с красавицей Офелией на переднем плане, которую из-за ее серебристой шерсти и чистоты шотландской породы поставили впереди всех. В одной руке сэр Ральф держал охотничий рог, а в другой — поводья великолепного английского скакуна, серого в яблоках, занимавшего почти весь задний план. Это была прекрасно исполненная картина, настоящий семейный портрет, где каждая мелочь, каждая деталь была выписана с кропотливой добросовестностью. Портрет этот мог бы растрогать до

слез кормилицу, вызвать громкий лай собак и привести в восторг портного. Невыразительнее его был только сам оригинал.

Несмотря на это, он привел Реймона в бешенство.

«Как, — подумал он, — этот молодой широкоплечий англичанин пользуется привилегией находиться в спальне госпожи Дельмар! Его дурацкое изображение всегда здесь в качестве равнодушного свидетеля самых сокровенных минут ее жизни! Он наблюдает за ней, охраняет ее, следит за всеми ее движениями, ежечасно владеет ею! Ночью он видит, как она спит, и проникает в тайны ее снов; утром, когда она, вся в белом, встает с кровати, вздрагивая от холода, он видит, как она спускает на ковер нежную босую ножку; когда она, одеваясь, старательно задергивает на окне занавески, запрещая даже дневному свету нескромно касаться ее, когда она думает, что одна в комнате и скрыта от чужих глаз, — его наглая физиономия глядит на нее и взор его упивается ее прелестями! Этот мужчина в охотничьих сапогах присутствует при ее одевании!»

— Что, этот портрет всегда задернут кисеей? — спросил он.

— Всегда, когда госпожи Дельмар нет дома. Но не трудитесь закрывать его

— она на днях приезжает.

— В таком случае, Нун, вы хорошо сделаете, если скажете ей, что у портрета дерзкое выражение лица... На месте господина Дельмара я бы сперва выколол ему глаза, а уж потом повесил его сюда. Ну и глупы же эти ревнивые мужья: воображают невесть что и не замечают того, что следует видеть.

— Чем вам не нравится лицо нашего доброго господина Брауна? — спросила Нун, оправляя постель Индианы. — Лучшего хозяина не найти! Прежде я не особенно любила его, так как всегда слышала от своей госпожи, что он эгоист, но с того дня, когда он принял в вас такое участие...

— Правда, — перебил ее Реймон, — он оказал мне помощь, это верно. Но он сделал это по просьбе госпожи Дельмар.

— Моя госпожа очень добрая, — сказала бедная Нун, — с ней всякий станет добрым.

Когда Нун говорила о госпоже Дельмар, Реймон слушал ее с интересом, о котором она и не подозревала.

День прошел довольно тихо. Нун так и не решилась заговорить о самом главном. Наконец вечером она сделала над собой усилие и вызвала своего возлюбленного на объяснение.

Реймон стремился только к одному — удалить опасного свидетеля и избавиться от женщины, которую он разлюбил. Но он считал необходимым обеспечить ее и робко предложил ей щедрое вознаграждение. Бедная девушка восприняла это как горькую обиду. Она рвала на себе волосы и, наверное, размозжила бы себе голову о стену, если бы Реймон силой не удержал ее. Тогда он пустил в ход все свое красноречие, всю хитрость, которыми наделила его природа, и стал убеждать ее, что хочет оказать помощь не ей, а будущему ребенку.

— Это мой долг, — сказал он, — деньги предназначаются ему, и вы не имеете права из-за ложной гордости лишать его этой помощи.

Нун несколько успокоилась и вытерла глаза.

— Хорошо, я приму их, но обещайте любить меня по-прежнему; этим подарком вы исполняете свой долг по отношению к ребенку, но не по отношению ко мне. Ваши деньги дадут ему возможность жить, а я... я умру, если вы меня разлюбите. Возьмите меня к себе в услужение. Я многого не требую и не думаю о том, чего другая на моем месте сумела бы добиться хитростью. Позвольте мне быть вашей служанкой, устройте меня к своей матушке. Она останется мною довольна, клянусь вам; и если вы разлюбите меня, я по крайней мере буду вас видеть.

— Вы требуете от меня невозможного, дорогая Нун. В вашем положении нечего и думать о том, чтобы поступить куда-нибудь на место, а обмануть мою мать, злоупотребить ее доверием было бы низостью, и на это я никогда не соглашусь. Поезжайте в Лион или Бордо, а я позабочусь о том, чтобы вы ни в чем не ощущали недостатка до тех пор, пока вам снова можно будет показаться на людях. Тогда я устрою вас к кому-нибудь из моих знакомых, даже в Париже, если вы этого пожелаете... если вы настаиваете на том, чтобы быть ближе ко мне... Но жить под одной крышей нам невозможно...

— Невозможно?.. — воскликнула Нун, скорбно сложив руки. — Я вижу, что вы меня презираете и стыдитесь. Так нет же, я не уеду! Я

не хочу умирать в одиночестве в каком-нибудь далеком городе, где вы покинете меня. Что мне честь? Мне нужна только ваша любовь!

— Нун, если вы боитесь, что я вас обману, поедemте вместе. Мы уедem туда, куда вы пожелаете. Я последую за вами куда угодно, но только не в Париж и не к моей матери; я позабочусь о вас, как велит мне долг.

— Да, а потом вы бросите меня в чужом городе, на следующий же день после приезда, как ненужную обузу, — сказала она с горькой улыбкой. — Нет, нет, я остаюсь, я не хочу лишиться всего сразу. Если я последую за вами, я расстанусь с той, кого до нашего знакомства любила больше всего на свете. Но я не так уж боюсь позора, чтобы пожертвовать разом и любовью и дружбой. Я брошусь к ногам госпожи Дельмар, расскажу ей все, и она простит меня, я уверена, потому что она добрая и любит меня. Мы родились с ней чуть ли не в один день, она моя молочная сестра. Мы никогда не расставались, и она не захочет, чтобы я ее покинула. Она будет плакать вместе со мной, будет заботиться обо мне и полюбит моего ребенка — моего несчастного ребенка! Бог не дал ей детей — кто знает, быть может, она воспитает моего ребенка как своего! Ах, я, должно быть, совсем обезумела, задумав уехать от нее, — ведь только она одна в целом свете и пожалеет меня!

Эти слова повергли Реймона в ужасное смятение, но в эту минуту во дворе послышался шум подъезжающей кареты. Испуганная Нун подбежала к окну.

— Госпожа Дельмар! — воскликнула она. — Бегите!

В спешке они не могли найти ключа от потайной лестницы; Нун схватила Реймона за руку и быстро потащила его в коридор. Но они не дошли и до половины его, как услышали, что кто-то идет им навстречу. В десяти шагах от них послышался голос госпожи Дельмар, и свеча, которую нес сопровождавший ее лакей, уже озарила своим колеблющимся светом их испуганные лица. Нун едва успела вернуться в спальню, увлекая за собой Реймона.

Он мог бы спрятаться пока в ванной, отделенной от спальни стеклянной дверью, но она не запиралась, и госпожа Дельмар могла в любую минуту войти туда. Чтобы выиграть время, Реймон бросился в альков и притаился за пологом. Госпожа Дельмар, вероятно, не сразу

ляжет спать, а Нун тем временем улучит минутку и поможет ему ускользнуть.

Индиана быстро вошла, бросила на кровать шляпу и с нежностью сестры поцеловала Нун. В комнате было так темно, что она не заметила волнения своей подруги.

— Разве ты ждала меня? — спросила она, подходя к камину. — Как ты узнала о моем приезде?

И, не дождавшись ответа, она сказала:

— Господин Дельмар будет здесь завтра. Я тотчас выехала, как только получила от него письмо. Мне хотелось встретиться с ним здесь, а не в Париже. Я потом расскажу тебе, какие причины заставили меня так поступить. Но что же ты молчишь? Ты как будто не рада моему приезду?

— У меня очень тяжело на душе, — сказала Нун, опускаясь на колени, чтобы снять с Индианы ботинки. — Мне тоже надо поговорить с вами, но не сейчас. А теперь пойдемте в гостиную.

— Боже меня сохрани, что за выдумка? Там смертельный холод.

— Нет, там топится камин.

— Что ты говоришь! Я только что проходила через гостиную.

— Но вас ждет ужин.

— Мне не хочется есть. К тому же, наверно, ничего не приготовлено. Пойди принеси мое боа, я оставила его в карете.

— Хорошо, я потом схожу за ним.

— Не потом, а сейчас. Ступай же скорей!

С этими словами она шаловливо подтолкнула Нун, и та, чувствуя, как ей важно не потерять смелость и присутствие духа, решила на несколько минут выйти из комнаты. Как только она вышла, госпожа Дельмар заперла дверь на задвижку и, сняв шубку, положила ее на кровать рядом с шляпой. В эту минуту она так близко подошла к Реймону, что тот невольно попятился. Кровать была на очень подвижных колесиках и с легким скрипом сдвинулась с места. Госпожа Дельмар удивилась, но не испугалась, так как подумала, что толкнула кровать сама; тем не менее она раздвинула полог и вдруг, при слабом свете горящего камина, увидела на стене тень от мужской головы!

В ужасе она закричала и бросилась к камину, чтобы позвонить и позвать на помощь. Реймон предпочел бы уж лучше вторично сойти

за вора, чем быть застигнутым в таком положении, но если он не выйдет, госпожа Дельмар созовет прислугу и скомпрометирует себя. Уверенный в любви Индианы, он бросился к ней, пытаясь успокоить ее и помешать ей позвонить. Боясь, что его услышит Нун, которая, несомненно, была где-то поблизости, он прошептал:

— Индиана, это я, не бойся и прости меня! Индиана, простите несчастного, потерявшего из-за вас рассудок; я не мог решиться уступить вас мужу, не повидавшись с вами хотя бы еще раз.

И он сжал Индиану в своих объятиях — отчасти чтобы растрогать ее, отчасти чтобы не дать ей позвонить; в это время Нун, трепеща и замирая от волнения, постучала в дверь. Госпожа Дельмар, вырвавшись из объятий Реймона, подбежала к двери, отперла ее и упала в кресло. Бледная, помертвевшая от страха, Нун бросилась к двери, чтобы скрыть от слуг, которые то и дело проходили по коридору, эту странную сцену. Она была еще бледнее, чем ее хозяйка, колени ее тряслись, и, прижавшись спиной к двери, она ожидала решения своей судьбы.

Реймон понял, что при некоторой находчивости он может обмануть сразу обеих женщин.

— Сударыня, — сказал он, становясь перед Индианой на колени, — мое присутствие здесь должно показаться вам тяжким оскорблением. — Я у ваших ног, чтобы вымолить прощение. Согласитесь выслушать меня наедине, и я вам все объясню...

— Замолчите, милостивый государь, и уходите отсюда прочь! — с достоинством сказала госпожа Дельмар, овладев собою. — Уходите не скрываясь, открыто! Нун, выпустите этого господина, пусть вся прислуга видит его и пусть позор его поведения падет на него одного.

Нун, решив, что тайна ее раскрыта, бросилась на колени рядом с Реймоном. Госпожа Дельмар молча с изумлением смотрела на нее.

Реймон хотел было взять руку госпожи Дельмар, но она с негодованием отдернула ее. Покраснев от гнева, она встала и указала ему на дверь.

— Уходите прочь, — повторила она, — говорю вам, уходите! Ваше поведение гнусно! Так вот каким образом собирались вы действовать, милостивый государь, спрятавшись, как вор, у меня в спальне! Следовательно, таков ваш обычный способ вторгаться в чужую семью! И это та чистая любовь, в которой вы клялись мне

вчера вечером! Так-то вы собирались оберегать, уважать и защищать меня! Так вот каково ваше обожание! Вы встречаете женщину, оказавшую вам помощь, женщину, которая ради того, чтобы вернуть вас к жизни, не побоялась гнева своего мужа; вы выказываете ей притворную благодарность, клянетесь в любви, которой она достойна, — и в награду за заботы, в награду за доверие хотите воспользоваться ее сном и самым подлым путем достичь своей цели! Вы подкупаете горничную, на правах признанного возлюбленного прокрадываетесь к ней чуть ли не в постель, не стыдитесь посвятить слуг в тайну несуществующих отношений... Да, сударь, вы сделали все, чтобы как можно скорее разочаровать меня! Ступайте вон, говорю вам, не смейте больше ни одной минуты оставаться здесь! А вы, несчастная, вам не дорога честь вашей хозяйки, и вы заслуживаете того, чтобы я вас выгнала. Отойдите от этой двери, я вам приказываю!

Нун, помертвев от изумления и отчаяния, впилась глазами в Реймона, как бы требуя от него объяснения этой непонятной тайны. Затем с безумным видом, шатаясь, она подошла к Индиане и крепко схватила ее за руку.

— Что вы сказали? — воскликнула она, в ярости стиснув зубы. — Он любит вас?

— Как будто вы не знали этого, — ответила госпожа Дельмар, отталкивая ее с силой и презрением. — Вы отлично понимаете, зачем мужчина прячется за пологом алькова в спальне женщины. Ах, Нун, — прибавила она, видя отчаяние девушки, — какая неслыханная подлость! Никогда не думала, что ты на нее способна! Ты хотела продать мою честь, а я так верила тебе!..

И госпожа Дельмар заплакала от гнева и горя. Никогда еще не была она так прекрасна, но Реймон не осмеливался смотреть на нее, так как гордый взгляд оскорбленной им женщины невольно заставлял его опускать глаза. Он был убит, повержен в прах. Будь он наедине с госпожой Дельмар, он, конечно, смог бы смягчить ее гнев, но присутствие Нун парализовало его. Выражение лица Нун было ужасно: ярость и ненависть совершенно исказили ее черты.

Стук в дверь заставил всех троих вздрогнуть. Нун снова бросилась к двери, чтобы преградить вход в комнату. Но госпожа Дельмар решительно оттолкнула ее и повелительным жестом приказала Реймону скрыться в глубине комнаты. Со свойственным ей

в трудные минуты самообладанием она набросила на себя шаль, приоткрыла сама дверь и спросила стучавшего слугу, что ему надо.

— Приехал господин Рудольф Браун, — ответил тот — Он спрашивает, можете ли вы принять его.

— Передайте, что я очень рада и сейчас выйду к нему. Затопите камин в гостиной и велите приготовить ужин. Постойте, принесите мне ключ от калитки парка.

Слуга ушел. Госпожа Дельмар все так же стояла возле двери, не закрывая ее. Она не желала слушать того, что говорила ей Нун, и своим надменным видом повелевала Реймону молчать.

Через несколько минут лакей вернулся. Госпожа Дельмар, продолжая держать дверь приоткрытой и, таким образом, скрывая господина де Рамьера от взглядов слуги, взяла ключ, приказала поторопиться с ужином и, как только слуга отошел, обратилась к Реймону:

— Приезд моего кузена, сэра Брауна, избавляет вас от позора. Узнай он о вашем поступке, он, как человек чести, горячо вступился бы за меня, но я не хочу из-за вас рисковать жизнью такого достойного человека и потому разрешаю вам удалиться без скандала. Нун провела вас сюда, она вас и выведет. Ступайте.

— Мы еще увидимся с вами, сударыня, — ответил Реймон, стараясь казаться спокойным, — и хотя я очень виноват, вы, может быть, пожалеете, что так строго обошлись со мной сейчас.

— Надеюсь, милостивый государь, что мы больше никогда не встретимся, — ответила она.

Не отходя от двери и не отвечая на его поклон, она смотрела, как он удалялся вместе со своей дрожащей, жалкой сообщницей.

Очутившись наедине с Нун во мраке парка, Реймон ожидал упреков. Однако Нун не сказала ему ни слова. Она довела его до калитки, и, когда он хотел взять ее за руку, ее уже не было. Он тихо окликнул ее, желая знать, что же она решила делать, но ответа не последовало.

Подошедший садовник сказал ему:

— Теперь, сударь, уходите — хозяйка вернулась, и вас могут увидеть.

Реймон удалился в глубоком отчаянии, терзаясь мыслью, что оскорбил госпожу Дельмар; он совсем забыл про Нун и думал только о

том, как и чем заслужить прощение Индианы. Он был из тех людей, которые загораются при появлении препятствий и страстно стремятся лишь к тому, чего почти невозможно добиться.

Вечером, после ужина с сэром Ральфом, прошедшего в глубоком молчании, госпожа Дельмар рано отправилась к себе, но Нун не пришла, как обычно, чтобы помочь ей раздеться. Напрасно она звонила — та не являлась; тогда Индиана, решив, что Нун поступает так умышленно, закрыла дверь и легла спать. Но она провела ужасную ночь и, как только рассвело, вышла в парк. Она вся горела, ей хотелось прохлады, чтобы унять жар, пылавший в ее груди. Еще вчера в это время она была счастлива, отдаваясь новому для нее чувству опьяняющей любви! Но сколько разочарований за одни сутки! Сначала известие о возвращении мужа значительно раньше, чем она его ожидала. Она так надеялась провести эти несколько дней в Париже, в ее представлении они были целой вечностью, бесконечным счастьем, сном любви, за которым не должно последовать пробуждения. Но уже наутро ей пришлось отказаться от этой мечты, вновь подчиниться семейному игу и ехать к своему повелителю, дабы он не встретился с Реймоном у госпожи де Карвахаль. Индиана была уверена, что не сумеет обмануть мужа, если тот увидит ее в присутствии Реймона. И вот теперь Реймон, которого она так боготворила, нанес ей самое тяжкое оскорбление. Наконец, спутница ее жизни, любимая ею молодая креолка, неожиданно оказалась тоже недостойной доверия и уважения!

Госпожа Дельмар проплакала всю ночь. На берегу небольшой речки, пересекавшей парк, она опустилась на траву, побелевшую от утреннего инея. Был конец марта, природа еще только пробуждалась; утро, хотя и холодное, было прекрасно: клочья тумана разорванной пеленой лежали на воде, птицы начинали петь свои весенние любовные песни.

Индиана почувствовала облегчение, и какое-то благоговейное чувство охватило ее душу.

«Богу было угодно, — решила она, — послать мне испытание, дабы я прозрела. И это счастье для меня: этот человек, несомненно, увлек бы меня на путь порока, он погубил бы меня, а теперь я знаю все его изменные побуждения и не позволю бурной и пагубной страсти, бушующей в его сердце, соблазнить меня. Я буду любить

своего мужа... Я постараюсь! Во всяком случае, я буду ему покорна, сделаю все, чтобы он был счастлив, не буду ни в чем противоречить ему. Буду избегать всего, что могло бы вызвать его ревность, так как знаю теперь цену тому лживому красноречию, которым опутывают нас мужчины. А может быть, бог сжадется над моими страданиями и пошлет мне скорую смерть».

За ивами, растущими на противоположном берегу, послышался шум мельницы, приводящей в движение машины на фабрике господина Дельмара. Река, забурлив, стремительно хлынула в только что открытые шлюзы; госпожа Дельмар следила грустным взором за ее быстрым течением и вдруг заметила на воде, среди тростника, какую-то темную массу, которую течение старалось увлечь за собою. Она встала, наклонилась над водой и ясно увидела женскую одежду — одежду, слишком хорошо ей знакомую. Ужас сковал госпожу Дельмар, а вода все прибывала, течение подхватило мертвое тело, застрявшее в камышах, и понесло его все ближе и ближе к тому месту, где она стояла. На ее отчаянный крик прибежали рабочие с фабрики. Госпожа Дельмар без чувств лежала на берегу, а по реке плыло тело Нун.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Прошло два месяца. Ничто не изменилось в Ланьи, в том доме, куда я вас ввел однажды осенним вечером. Только теперь вокруг цвела весна, оживляя красные стены, выложенные серым камнем, и шиферную крышу, пожелтевшую от покрывающего ее столетнего мха.

Семья наслаждалась тишиной и благоуханием вечера. Заходящее солнце золотило стекла окон, и шум фабрики смешивался со звуками, доносившимися с фермы. Господин Дельмар, усевшись на ступеньку крыльца, занимался стрельбой по пролетающим мимо ласточкам. Индиана, вышивавшая в пальцах в гостиной, выглядывала по временам и печально смотрела во двор на жестокое развлечение полковника. Офелия прыгала, лаяла и всячески проявляла свое негодование по поводу такой непривычной для нее охоты, а сэр Ральф, сидя верхом на каменных перилах лестницы, курил сигару и, по своему обыкновению, бесстрастно взирал на радости и горести окружающих.

— Индиана! — воскликнул полковник, отложив ружье. — Бросьте работу, вы трудитесь так, словно получаете поденную плату.

— Еще совсем светло, — ответила госпожа Дельмар.

— Неважно, сядьте поближе к окну, мне надо вам что-то сказать.

Индиана повиновалась, и полковник, подойдя к окну, обратился к ней тем шутивным тоном, какой свойствен иногда старым и ревнивым мужьям:

— Вы сегодня хорошо поработали и весь день были паинькой, за это я скажу вам нечто приятное.

Госпожа Дельмар заставила себя улыбнуться. Такая улыбка привела бы в отчаяние другого, более тонкого, чем полковник, человека.

— Дело в том, — продолжал он, — что, желая вас развлечь, я пригласил к нам на завтрак одного из ваших преданных поклонников. Вы, плутовка, конечно, спросите — кого, потому что их у вас целая коллекция.

— Вероятно, нашего старичка священника, — сказала госпожа Дельмар, на которую веселое настроение мужа всегда нагоняло еще большую тоску.

— Вовсе нет!

— Так, значит, мэра из Шайн или старого нотариуса из Фонтенебло.

— Женская хитрость! Вы прекрасно знаете, что не о них идет речь. Ну-ка, Ральф, подскажите вы ей то имя, которое вертится у нее на языке, — она почему-то не хочет сама его произнести.

— К чему столько приготовлений, когда можно просто сообщить о приезде господина де Рамьера? — спокойно произнес сэр Ральф, бросая сигару. — Я полагаю, что для Индианы это совершенно безразлично.

Госпожа Дельмар почувствовала, как вся кровь бросилась ей в лицо; она отвернулась, делая вид, будто что-то разыскивает, а затем, немного овладев собой, снова подошла к окну.

— Надеюсь, это шутка, — сказала она, дрожа всем телом.

— Напротив, совершенно серьезно. Вы увидите его здесь завтра в одиннадцать утра.

— Как, вы примете человека, который проник к вам в дом, чтобы овладеть вашим секретом, и которого вы едва не убили, как злодея? Вы оба слишком миролюбивы, если забываете такие обиды.

— Вы мне сами подали пример, моя дорогая, оказав ему благосклонный прием, когда он нанес визит вашей тетушке.

Индиана побледнела.

— Я совсем не отношу этого визита на свой счет, — торопливо возразила она, — и так мало польщена им, что на вашем месте я бы его не приглашала.

— До чего женщины лживы и хитры по самой своей природе! Ведь вы же танцевали с ним на балу чуть не целый вечер — так мне по крайней мере рассказывали.

— Вам сказали неправду.

— Госпожа Карвахаль сама мне об этом рассказала. Впрочем, не старайтесь оправдываться. Я не вижу тут ничего плохого, поскольку ваша тетка желала этого знакомства и способствовала ему. А господин Рамьер давно его добивался. Он оказал несколько важных услуг моему предприятию, причем сделал это очень деликатно и почти без моего ведома, а так как я далеко не такой свирепый, как вы утверждаете, и, кроме того, не хочу быть в долгу перед посторонним человеком, я и решил отплатить ему за его услуги.

— Каким образом?

— Подружившись с ним. И вот сегодня утром мы вместе с сэром Ральфом были в Серей. Мы познакомились с матушкой Рамьера, очень симпатичной женщиной; дом их обставлен хорошо, со вкусом, но без излишней роскоши — ни в чем не видно чванства, свойственного старым дворянским семьям. Да и сам Рамьер — милейший молодой человек; я пригласил его позавтракать с нами, а затем осмотреть фабрику. О его брате я тоже получил хорошие сведения и убедился, что не потерплю ущерба, если он применит мои методы. Пусть уж лучше эта семья, а не кто-либо другой воспользуется моими знаниями. Нет такого секрета, который рано или поздно не стал бы общим достоянием, и мое усовершенствование тоже скоро может стать секретом полишинеля, если промышленность будет двигаться вперед такими быстрыми шагами.

— Я, дорогой Дельмар, как вы сами отлично знаете, никогда не одобрял того, что вы храните ваши дела в тайне, — сказал сэр Ральф. — Открытие, сделанное честным гражданином, принадлежит столько же его стране, сколько и ему самому, и если бы я...

— Черт возьми! Вы опять за свое, сэр Ральф, с вашей практической филантропией! Можно подумать, что ваше состояние принадлежит вовсе не вам, и если бы завтра народ захотел отобрать его, вы бы с радостью обменяли ваш доход в пятьдесят тысяч франков на суму и посох. Такому барину, как вы, любящему роскошь жизни не хуже самого султана, совсем не к лицу проповедовать презрение к богатству.

— То, о чем я говорю, вовсе не филантропия, — ответил сэр Ральф, — а разумный эгоизм, побуждающий нас делать добро людям, чтобы помешать им вредить нам. Всем известно, что я эгоист. Я перестал стесняться этого и пришел к тому выводу, что в основе всех добродетелей лежит личный интерес. Любовь и благочестие — чувства, казалось бы, бескорыстные — в действительности, пожалуй, самые эгоистические, да и патриотизм тоже, уж вы мне поверьте. Я не очень люблю людей, но ни за что на свете не согласился бы показать им это, потому что я боюсь их в такой же мере, в какой не уважаю. Итак, мы оба эгоисты, но я сознаюсь в этом, а вы отрицаете.

Между ними завязался спор, и с помощью доводов, продиктованных собственным эгоизмом, каждый старался доказать

большую эгоистичность другого. Госпожа Дельмар воспользовалась этим и ушла к себе в спальню, чтобы наедине подумать обо всем, что всколыхнуло в ее душе столь неожиданное известие.

Следует не только познакомить вас с ее тайными мыслями, но и рассказать вам о людях, которых так или иначе затронула смерть Нун.

И для вас, читатель, и для меня достаточно ясно, что несчастная девушка бросилась в реку с горя, в минуту отчаяния, когда человеку ничего не стоит решиться на все. Но так как она не возвращалась в замок после того, как рассталась с Реймоном, ее никто не видел и никто не мог знать о ее намерениях, а потому никаких прямых указаний на то, что она покончила жизнь самоубийством, не было.

Только двое не сомневались в том, что она сама лишила себя жизни: господин де Рамьер и садовник. Первому удалось скрыть свое горе, сказавшись больным, а другой молчал под влиянием страха и угрызений совести. Ведь только этот человек, который из корысти потворствовал всю зиму свиданиям двух любовников, и мог заметить тайное горе молодой креолки. Справедливо опасаясь вызвать недовольство хозяев и осуждение прислуги, он почитал за лучшее молчать, а когда господин Дельмар, который знал об этой любовной интриге и кое-что подозревал, спросил садовника, продолжалась ли она в их отсутствие, тот ответил отрицательно. Кое-кто из местных жителей (кстати сказать, места эти были довольно безлюдны) замечал, правда, что Нун иногда поздно вечером ходила в Серей, но с конца января всякие отношения между ней и господином де Рамьером, по видимому, прекратились, а утонула она двадцать восьмого марта. На основании всего этого смерть ее можно было приписать несчастному случаю. Проходя поздно вечером по парку, Нун могла заблудиться из-за густого тумана, державшегося уже несколько дней, и упасть в воду, шагнув мимо мостика, переброшенного через речку с крутыми берегами, сильно вздувшуюся от дождя.

Хотя в душе сэра Ральфа, отличавшегося гораздо большей наблюдательностью, чем можно было думать, и шевелились серьезные подозрения, что виноват во всем господин де Рамьер, он никому не говорил об этом, ибо считал бесполезным и жестоким упрекать человека, который и без того достаточно несчастен, имея такое пятно на совести. Он даже дал понять полковнику, сообщившему ему кое-какие догадки на этот счет, что из-за болезненного состояния госпожи

Дельмар необходимо и в дальнейшем скрывать от нее предположение о самоубийстве ее подруги детства. Итак, к смерти бедняжки Нун отнеслись так же, как и к ее роману. По общему молчаливому соглашению о ней никогда не говорили в присутствии Индианы, а скоро и вообще перестали говорить.

Но все эти предосторожности были напрасны, потому что у госпожи Дельмар были свои причины в какой-то мере подозревать истину. Горькие упреки, которые она высказала Нун в тот роковой вечер, казались ей достаточным основанием для того, чтобы бедная девушка могла внезапно принять роковое решение. В ту страшную минуту, когда Индиана первая увидела плывущее по реке тело, ее нарушенному душевному покою и измученному сердцу был нанесен последний удар. Болезнь, развивавшаяся сперва медленно, пошла теперь быстрыми шагами, и эта молодая и, возможно, даже крепкая женщина, не стремившаяся выздороветь и скрывавшая свои страдания от любящего, но непроницательного и нечуткого мужа, медленно угасала под бременем горя и разочарования в жизни.

— Какое несчастье, какое несчастье! — воскликнула она, входя к себе в спальню после того, как ей сообщили о предстоящем приезде Реймона. — Да будет проклят этот человек, который принес в наш дом отчаяние и смерть! Господи! Почему ты позволяешь ему вторгаться в мою жизнь, распоряжаться моей судьбой? Ведь ему достаточно только протянуть руку, чтобы завладеть мною. Он скажет: «Она моя! Я заставлю ее потерять рассудок, разобью ее жизнь, а если она будет сопротивляться, посею смерть вокруг нее, заставлю ее терзаться угрызениями совести, сожалениями и страхом!». Господи, разве справедливо подвергать бедную женщину такому преследованию?

И она горько заплакала, ибо мысли о Реймоне заставили ее с новой силой и болью в сердце вспомнить о Нун.

— Бедная моя Нун, бедная подруга детских дней, моя соотечественница и единственный друг! — горестно сетовала она. — Этот человек — твой убийца. Бедняжка! Он погубил нас обеих! Ты так сильно любила меня, ты одна понимала мои страдания и умела смягчить их своей детской веселостью! Какое несчастье, что я потеряла тебя! Для того ли привезла я тебя сюда из-за океана! Какими хитростями сумел этот человек овладеть твоим доверием и подговорить тебя на такую подлость? Вероятно, он ловко провел тебя,

и ты поняла свой поступок только при виде моего негодования. А я была слишком строга к тебе, Нун, больше того — жестока, я довела тебя до отчаяния, я обрекла тебя на смерть. Несчастливая! Почему не подождала ты, пока мой гнев не рассеется, как дым. Почему не пришла поплакать на моей груди, почему не сказала: «Меня обманули, я не понимала, что поступаю дурно, но вы знаете, как я уважаю и люблю вас!». Я бы крепко обняла тебя, мы поплакали бы вместе, и ты бы осталась жива! А теперь ты умерла! Умерла — молодая, красивая и жизнерадостная! Умерла в девятнадцать лет, и такой ужасной смертью!

Оплакивая свою подругу, Индиана невольно оплакивала и свои погибшие мечты — мечты, которыми она жила в продолжение этих трех самых прекрасных дней ее жизни, единственных дней, когда она чувствовала, что живет полной жизнью, ибо в течение этого времени она любила Реймона с такой страстью, какой он не мог бы себе представить даже при самом безграничном самомнении. И чем сильнее и доверчивее была ее любовь, тем острее чувствовала она нанесенное ей оскорбление. Первая любовь у людей с таким сердцем, как у Индианы, бывает всегда целомудренной и хрупкой.

Тем не менее Индиана действовала скорее под влиянием стыда и обиды, чем следуя строго обдуманному решению. Я не сомневаюсь, что Реймон вымолил бы ее прощение, будь у него еще хоть несколько минут. Но несчастное стечение обстоятельств помешало ему выказать свою любовь и проявить свою находчивость, и госпожа Дельмар искренне думала, что отныне ненавидит его.

Реймон не из пустого тщеславия или уязвленного самолюбия стремился теперь, больше чем когда-либо, заслужить любовь и прощение госпожи Дельмар. Он считал это невозможным, и потому ему казалось, что никакая женская любовь, никакое земное счастье не может сравниться с любовью Индианы. Так уж он был создан. Всю жизнь его снедала неутолимая жажда бурных чувств и новых приключений. Он любил свет с его законами и налагаемыми им оковами, ибо находил там обширное поле для борьбы и сопротивления, и боялся, что ниспровержение общественных устоев вызовет какую-то необыкновенную свободу нравов, при которой наслаждения станут слишком доступными и потеряют для него остроту.

Не думайте все же, что он равнодушно отнесся к смерти Нун. В первую минуту он показался самому себе таким негодяем, что зарядил пистолеты с твердым намерением пустить себе пулю в лоб. Но его остановило чувство весьма похвальное. Что станет с его матерью?.. С его старой и слабой матерью? Бедная женщина, видевшая столько горя и забот, жила только для него, он был ее единственной радостью и единственной надеждой. Неужели он разобьет ее сердце, ускорит ее смерть? Конечно нет. Лучший способ искупить свое преступление — отныне всецело посвятить себя матери; с этим решением он вернулся в Париж и приложил все усилия к тому, чтобы загладить свое невнимание к ней.

Реймон имел необыкновенную власть над всеми, с кем он соприкасался, так как, несмотря на все ошибки и заблуждения молодости, был значительно выше окружавшего его общества. Мы еще не сказали вам, на основании чего утвердилась за ним слава умного и талантливого человека, потому что это не касалось тех событий, о коих здесь говорилось. Пора сообщить вам, что этот самый Реймон, со всеми его слабостями, Реймон, которого вы, возможно, осуждаете за легкомыслие, принадлежал к числу людей, оказавших на вас в свое время огромное влияние и воздействие, независимо от того, какие взгляды вы теперь исповедуете. Вы зачитывались его

политическими брошюрами, а просматривая газеты, увлекались красотой его стиля и изысканностью его учтивой и светской логики. Я говорю сейчас о временах, уже отошедших для нас в область предания, ибо теперь время измеряется не столетиями и даже не царствованиями, а сменой министров. Я говорю сейчас о кабинете Мартиньяка, о том периоде относительного покоя и колебаний, который вторгся в нашу политическую эру не как мирный договор, а как соглашение о перемирии, — о пятнадцати месяцах господства тех доктрин, которые так своеобразно повлияли на наши устои и нравы и, возможно, подготовили неожиданный исход нашей последней революции.

В ту пору расцветали юные таланты, родившиеся, на свое несчастье, в дни безвременья и бездеятельности; им тоже пришлось отдать дань примирительным и колеблющимся настроениям эпохи. Никогда еще, насколько мне известно, люди не достигали такого совершенства в умении пользоваться словами, чтобы скрыть свое невежество и истинное значение вещей. Умеренность в политике и политичность в обращении проникли в нравы, и тут и там вежливость служила маской, под которой скрывалась неприязнь и которая давала людям возможность бороться без скандала и шума. Надо все же сказать в оправдание молодым людям того времени, что их часто тащили на буксире, подобно тому как большие корабли тащат за собою легкие суда, и они весело плыли, сами не зная куда, гордясь тем, что могут рассекать волны и распускать новенькие паруса.

По рождению и богатству Реймон принадлежал к сторонникам абсолютной монархии, но он отдал дань новым идеям и стал горячим приверженцем хартии. По крайней мере он сам так думал и всячески старался это доказать. Но договоры, не нашедшие применения, могут толковаться по-разному, и с хартией Людовика XVIII произошло то же, что с Евангелием Иисуса Христа: она стала текстом, которым пользовались краснобаи для упражнения в красноречии; и потому любые политические речи того времени имели не больше последствий, чем церковная проповедь. В эту эпоху роскоши и равнодушия цивилизация как бы замерла на краю бездонной пропасти, и все стремились упиться наслаждениями.

Реймона по его взглядам нельзя было отнести ни к сторонникам неограниченной власти, ни к сторонникам свободы, — он держался

золотой середины; но позиция эта была непрочная, и люди благонамеренные напрасно искали здесь убежища против надвигающейся бури. Ему, как и многим другим неискушенным умам, казалось, что вполне можно быть публицистом и в то же время человеком добросовестным. В такое время, когда все притворялись, что уступают голосу рассудка, лишь для того, чтобы надежнее и вернее подавлять его, это, безусловно, было заблуждением.

Реймон считал себя человеком беспристрастным и незаинтересованным, но это был самообман, ибо существующий общественный строй был ему и выгоден и благоприятен. Если бы произошел переворот, его личное благосостояние, несомненно, пострадало бы; а полная уверенность в своем положении влияет на образ мыслей и прекрасно способствует выработке умеренных взглядов. Где тот неблагодарный человек, который станет упрекать провидение за то, что оно посылает несчастье другим, если его самого оно дарит улыбками и милостями? Как можно было втолковать молодым приверженцам конституционной монархии, что она уже устарела, что строй этот давит на общество и лежит на нем тяжким бременем, раз они находили его очень удобным для себя и пользовались при нем всеми благами? Разве верит в нужду тот, кто ее не испытал?

Ничего не может быть легче и проще, как обманывать самого себя, когда обладаешь умом и достаточно хорошо владеешь всеми тонкостями речи. Наша речь подобна продажной женщине, способной возвыситься или опуститься до любой роли, куртизанке, которая прячется под разными масками, прихорашивается, притворяется и стушевывается. Речь — это ловкий сутяга, находящий ответ на все, всегда все предвидящий и умеющий извернуться на тысячу ладов, чтобы оказаться правым. Самый честный человек — тот, кто мыслит и действует лучше других, но самый могущественный — тот, кто умеет лучше других писать и говорить.

Богатство избавляло Реймона от необходимости писать ради заработка, — он писал по призванию и, как сам полагал, из чувства долга. У него было редкое умение талантливо опровергать очевидные истины, и за это его ценило правительство, ибо он приносил властям больше пользы своей «беспристрастной оппозицией», чем их собственные ставленники своей слепой преданностью; ценило его

также и молодое блестящее парижское общество, которое охотно отрекалось от нелепых старинных привилегий и в то же время хотело сохранить все свои нынешние преимущества.

В самом деле, нужно было обладать большим талантом, чтобы поддерживать это готовое рухнуть общество и в то же время, находясь между Сциллой и Харибдой, спокойно и ловко бороться с суровой действительностью, стремящейся тебя поглотить. Создать себе убеждения вопреки очевидности и внедрить их в умы людей, не имеющих вовсе никаких убеждений, — это огромное искусство, недостижимое для примитивного и неизощренного человека, не научившегося искажать истину.

Стоило только Реймону вернуться в свет, оказаться в своей родной стихии, как он сразу ощутил на себе его живительное и бодрящее влияние. Волновавшие его любовные интриги на время были вытеснены другими, более широкими и блестящими интересами. Он отдался им с присущим ему пылом и смелостью и, увидев, что самые известные люди Парижа больше чем когда-либо добиваются знакомства с ним, понял, что еще никогда не любил так жизнь, как теперь. Был ли он виноват в том, что, презрев тайные укоры совести, стал пожинать лавры за услуги, оказанные отечеству? Он чувствовал в своем молодом сердце, в своем деятельном уме, во всем своем живом и сильном организме бьющую через край жизнь; судьба, помимо его воли, дарила ему счастье, и он просил прощения у беспокойной тени, иногда являвшейся ему во сне, за то, что ищет в любви живых людей забвения и защиты от ужасов могилы.

Окунувшись в прежнюю жизнь, он вскоре почувствовал, что мечты о любви и романтических приключениях снова начинают занимать его мысли наряду с размышлениями на политические и философские темы и честолюбивыми замыслами. Я говорю о честолюбии не в смысле почестей и денег, которые были ему не нужны, а в смысле успеха и популярности среди аристократии.

Сперва он не смел надеяться снова встретить когда-либо госпожу Дельмар после трагической развязки своей двойной любовной интриги. Но, понимая всю тяжесть утраты и не переставая думать о потерянном сокровище, он постепенно вновь обрел надежду, а вместе с надеждой — волю и уверенность. Он взвесил все возможные препятствия и понял, что, вначале всего труднее будет преодолеть те,

которые воздвигнет сама Индиана. Тогда он решил прежде всего завоевать симпатию мужа — способ не новый, но верный. Ревнивые мужья особенно склонны оказывать подобного рода услуги.

Через две недели после того как эта мысль пришла ему в голову, Реймон уже находился на пути в Ланьи, где его ожидали к завтраку. Надеюсь, вы не потребуете от меня подробного рассказа о том, как ловко он сумел оказать некоторые услуги господину Дельмару и, таким образом, нашел способ ему понравиться. Я бы предпочел, раз уж я занялся описанием действующих лиц этой повести, набросать сейчас портрет полковника.

Знаете ли вы, кого в провинции называют порядочным человеком? Того, кто не захватывает незаконно поля своего соседа, не требует с должников ни копейки сверх долга, кто снимает шляпу в ответ на поклон каждого встречного, кто не насиует женщин на больших дорогах, не поджигает чужих амбаров и не грабит прохожих около своего сада. Только бы он свято чтит жизнь и кошелек своих сограждан — большего от него не требуется. Он волен бить жену, дурно обращаться с прислугой, разорять детей, — до этого никому нет дела. Общество осуждает только за действия, наносящие ему ущерб. Частная жизнь его не касается.

Так рассуждал господин Дельмар. Он знал один-единственный общественный договор: «Каждый у себя дома хозяин». Душевную деликатность он считал женским ребячеством и излишней чувствительностью. Человек неумный, бестактный и невоспитанный, он пользовался тем не менее более прочным уважением, чем иные талантливые или добрые люди. У него были широкие плечи, тяжелая рука, он прекрасно владел саблей и шпагой, к тому же отличался угрюмой обидчивостью. Он плохо понимал шутки, и потому ему вечно чудилось, что над ним смеются. Не умея ответить на шутку шуткой, он знал только один способ защиты: угрозами заставить шутника замолчать. Его любимые анекдоты и разговоры сводились всегда к рассказам о драках и дуэлях; вот почему соседи, упоминая его имя, обычно прибавляли эпитет «храбрый», ибо, по мнению многих, широкие плечи, большие усы, крепкая ругань и бряцание оружием по всякому поводу — неотъемлемые признаки военной доблести.

Боже меня сохрани думать, что походная жизнь превращает людей в скотов! Но разрешите считать, что надо иметь большую жизненную мудрость, дабы не приобрести привычки к проявлению деспотической власти. Если вы были на военной службе, то прекрасно знаете, кого там называют храбрым рубакой, и согласитесь, что таких людей очень много среди ветеранов наполеоновской гвардии. Эти люди, собранные воедино и направляемые могучей рукой, совершали сказочные подвиги и вырастали в гигантов в дыму битв. Но, возвратясь к мирной жизни, герои превращались в наглых и грубых солдафонов, рассуждавших и действовавших как машины. Хорошо еще, если они не вели себя в обществе как в завоеванной стране! Не они были в этом виноваты, а век, в котором они жили. Как людям недалеким, им льстили оказываемые им почести, они поверили в то, что они великие патриоты, ибо защищали родину, хотя и делали это — одни по принуждению, а другие из-за чинов и денег. Да и как защищали родину эти сотни тысяч людей, слепо осуществлявшие бредовые планы одного человека, если они сначала спасли Францию, а потом привели ее к такому ужасному поражению. Далее, если преданность солдат своему полководцу кажется вам великой и благородной добродетелью, — будь по-вашему, согласен, но я называю это верностью, а не патриотизмом. Я поздравляю победителей Испании, но не благодарю их. Если же говорить о чести Франции, то мне не совсем понятно, как такими методами можно заставить наших соседей относиться к ней с уважением, и мне трудно поверить, что наполеоновские генералы думали о ней в ту печальную эпоху нашей славы. Я знаю, что об этом запрещено говорить откровенно, и потому умолкаю — пусть потомство произнесет над ними свой приговор.

Господину Дельмару были присущи все достоинства и недостатки этих людей. Щепетильный до мелочей в некоторых вопросах чести, он в остальных делах прекрасно умел отстаивать свои интересы, нисколько не беспокоясь о том, как это отзовется на других. Совестью для него был закон, а моралью — собственное право. Он обладал той честностью, педантичной и непреклонной, которая не позволяет людям брать займы из страха не вернуть долга, но не позволяет и давать в долг из боязни не получить своих денег обратно. Это был тот порядочный человек, который ничего не дает ближнему, но и сам ничего не возьмет, который скорее умрет, чем похитит

вязанку хвороста из казенного леса, и, однако, не задумываясь убьет человека за щепку, взятую в его владениях. Он никому не вредил, но и никому не приносил пользы, кроме самого себя. Он не интересовался чужими делами — из боязни, как бы не пришлось оказать ближнему какую-либо услугу. Но когда он считал для себя вопросом чести оказать таковую, никто не делал этого с большим усердием и рыцарским благородством. Доверчивый, как ребенок, и в то же время подозрительный, как деспот, он верил ложным клятвам и не доверял искренним обещаниям. В повседневной жизни, как и на военной службе, все сводилось у него к форме. Он во всем руководствовался общепринятыми мнениями, а потому здравый смысл и рассудок не играли никакой роли в его решениях; *так принято* было для него неопровержимым доводом.

Это была натура, совершенно противоположная натуре его жены: понять и оценить ее он не мог — ни сердцем, ни умом. К тому же постоянное подчинение породило в душе этой женщины какую-то сдержанную и молчаливую неприязнь, даже не всегда справедливую. Госпожа Дельмар не верила в доброту своего мужа. Он был только суров, а она считала его жестоким. Во вспышках его гнева было больше грубости, чем злобы, в его манерах — больше невоспитанности, чем наглости. По природе он не был злым, у него бывали минуты, когда он испытывал жалость и раскаяние, и тогда он становился даже чувствительным. Походная жизнь сделала грубость его житейским правилом. С другой, менее деликатной и кроткой женщиной он был бы робок, как прирученный волк, но Индиана, ненавидевшая свою участь, не стремилась ничем облегчить ее.

Выходя из экипажа во дворе усадьбы Дельмаров, Реймон почувствовал, как замирает его сердце. Сейчас он войдет в этот дом, с которым у него связаны столь ужасные воспоминания! Доводы рассудка, которыми он оправдывал свою страсть, могли заставить его преодолеть сердечное волнение, но не могли совсем заглушить его, — а в это мгновение голос совести говорил в нем так же громко, как и голос страсти.

Первым вышел ему навстречу сэра Ральф Браун в своем неизменном охотничьем костюме, окруженный собаками, важный, как шотландский лэрд, и Реймону показалось, что это сошел со стены тот портрет, на который он обратил внимание в спальне госпожи Дельмар. Несколькими минутами позже пришел полковник; был подан завтрак, а Индиана все не появлялась. Когда Реймон проходил через переднюю в билльярдную, он узнал комнаты, где бывал раньше при столь различных обстоятельствах; ему стало не по себе, и он почти забыл о цели своего приезда.

— Госпожа Дельмар решительно отказывается выйти к столу? — спросил с недовольством полковник у своего верного Лельевра.

— Госпожа Дельмар плохо спала, — ответил Лельевр, — и Нун... Простите, опять у меня сорвалось с языка это проклятое имя... Мадемуазель Фанни, хотел я сказать, сообщила мне, что мадам легла отдохнуть.

— Не может этого быть, я только что видел ее у окна. Фанни ошибается. Пойдите и доложите госпоже Дельмар, что завтрак подан. Или лучше вы, сэра Ральф, пожалуйста, поднимитесь, дорогой друг, и посмотрите сами, действительно ли больна ваша кузина.

Если при имени несчастной девушки, по привычке сорвавшемся с языка у слуги, Реймон горестно содрогнулся, то распоряжение полковника вызвало в нем странное чувство гнева и ревности.

«К ней в спальню! — подумал он. — Он не только повесил там его портрет, но еще и посылает туда его самого. Этот англичанин пользуется здесь такими правами, воспользоваться которыми как будто не решается даже муж».

Господин Дельмар, казалось, угадал мысли Реймона.

— Пусть это вас не удивляет, — сказал он. — Господин Браун — наш домашний врач, кроме того, он наш кузен и славный малый, которого мы все здесь очень любим.

Ральф не возвращался минут десять. Реймон был рассеян и не в духе. Он ничего не ел и часто поглядывал на дверь. Наконец англичанин появился в столовой.

— Индиана действительно нездорова, — сказал он, — и я посоветовал ей лечь.

Он со спокойным видом сел за стол и принялся есть с большим аппетитом. Полковник также не отставал от него.

«Несомненно, это предлог, чтобы не встречаться со мной, — подумал Реймон. — Оба они не верят ее нездоровью, и муж скорее недоволен, чем обеспокоен состоянием жены. Прекрасно! Мои дела обстоят гораздо лучше, нежели я предполагал».

Препятствие подхлестнуло его, и образ Нун, вызвавший в нем леденящий ужас, исчез из-под этих мрачных сводов. Воздушный облик госпожи Дельмар снова всецело завладел им. В гостиной он присел за ее пальцы и, разговаривая с весьма деловым видом, стал рассматривать вышитые ею цветы, перетрогал ее шелка, вдохнул в себя аромат, оставшийся на них от ее тонких пальцев. Он уже видел раньше это вышивание в спальне Индианы. Тогда оно было только начато, а теперь его покрывали цветы, распустившиеся под ее лихорадочным дыханием и орошенные ее слезами. Реймон почувствовал, что у него на глазах тоже навернулись слезы; под влиянием какой-то тайной мысли он печально посмотрел вдаль, куда обычно устремляла свой грустный взор Индиана, и заметил на горизонте белые стены Серей, ярко выделявшиеся на темном фоне полей.

Голос полковника вывел его из задумчивости.

— Теперь, любезный сосед, — сказал Дельмар, — настало время отблагодарить вас и выполнить свое обещание. Фабрика на полном ходу, и все рабочие на местах. Вот карандаш и бумага, может быть, вы пожелаете что-нибудь записать.

Реймон последовал за полковником; с внимательным и заинтересованным видом осматривал он фабрику, делал замечания, указывавшие на то, что и химия и механика ему в одинаковой степени

знакомы, с поразительным терпением выслушивал бесконечные ученые рассуждения господина Дельмара, соглашался с некоторыми его доводами, возражал против других, — словом, вел себя так, будто чрезвычайно интересуется всем, тогда как сам почти ни во что не вдумывался, ибо мысли его всецело были заняты госпожой Дельмар.

Реймон был достаточно образован и осведомлен о новейших научных открытиях; к тому же ему хотелось помочь брату, действительно вложившему все свое состояние в подобное же предприятие, но гораздо более крупное. Специальные знания господина Дельмара — единственное преимущество, которым тот обладал, — дали возможность Реймону найти наилучшую тему для их беседы.

Сэр Ральф — плохой коммерсант, но мудрый политик — при осмотре фабрики делал весьма веские замечания экономического порядка. Рабочие старались не ударить в грязь лицом перед знатоком, показать свое умение и понятливость. Реймон все видел, все слышал, на все отвечал, но думал только о своей любви, ради которой приехал сюда.

Когда с осмотром машин было покончено, стали говорить о силе и скорости течения воды. Все вышли из здания и, взобравшись на плотину, велели старшему рабочему поднять заслонки шлюза, чтобы установить разницу в уровне воды.

— Прошу прощения, сударь, — сказал рабочий господину Дельмару, обратившему внимание присутствующих на то, что максимальный уровень воды равен пятнадцати футам, — но в этом году вода поднималась до семнадцати футов.

— Когда же это? Не может быть, — возразил полковник.

— Простите, сударь, это было накануне вашего возвращения из Бельгии. Пойдите, как раз в ту ночь, когда утонула Нун. Ведь тело проплыло поверх плотины, и его прибило вон туда, где сейчас стоит ваш гость.

Рассказывая об этом с большим оживлением, рабочий указал на то место, где стоял Реймон. Несчастный молодой человек побледнел как смерть. Он бросил испуганный взгляд на текущую у его ног реку, увидел свое бледное отражение в воде, и ему почудилось, что там плывет утопленница. У него закружилась голова, он пошатнулся и

упал бы в реку, если бы господин Браун не взял его под руку и не отвел в сторону.

— Возможно, — сказал полковник, который ничего не заметил и так мало думал о Нун, что даже и не подозревал о душевном состоянии Реймона. — Но ведь это случай исключительный, а средняя сила течения равняется... Но что с вами обоими, черт возьми? — спросил он, внезапно оборвав свою речь.

— Ничего особенного, — ответил сэр Ральф. — Повернувшись, я наступил на ногу господину де Рамьеру. Я очень огорчен, — ему, наверно, очень больно.

Сэр Ральф ответил полковнику таким спокойным и естественным тоном, и Реймон поверил тому, что он говорит вполне искренне. Они обменялись несколькими учтивыми словами, и разговор возобновился.

Несколько часов спустя Реймон уехал из Ланьи, так и не повидав госпожу Дельмар. Это было лучше того, чего он ожидал: он боялся, что она встретит его равнодушно и спокойно.

Но и в следующий его приезд к Дельмарам ему опять не посчастливилось. На этот раз полковник был один. Желая его пленить, Реймон пустил в ход всю свою находчивость: он проявил поразительную уступчивость, хвалил Наполеона, которого вовсе не любил, сожалел о равнодушии правительства, совсем не заботившегося о славных ветеранах «великой армии» и относившегося к ним даже с некоторым пренебрежением, высказывал оппозиционные взгляды, насколько это позволяли ему его принципы, и среди своих многочисленных убеждений выбирал те, которые могли прийтись по вкусу господину Дельмару. Чтобы завоевать его доверие, он даже самого себя изобразил совсем не таким, каким был в действительности: прикинулся кутилой, весельчаком, беспечным повесой.

«Вряд ли ему когда-нибудь удастся покорить мою жену!..» — подумал полковник, глядя ему вслед. И, усмехнувшись, решил, что Реймон — «милейший молодой человек».

Госпожа де Рамьер находилась в то время в Серей. Реймон расхвалил ей красоту и ум госпожи Дельмар и, не предлагая ничего сам, искусно сумел внушить матери мысль поехать к ней с визитом.

— В самом деле, — сказала она, — только с этой соседкой я незнакома, а так как я приехала сюда последней, то мне и следует

сделать первый шаг. На будущей неделе мы вместе поедем в Ланьи.

Настал назначенный день.

«Теперь ей уж не удастся избежать встречи», — подумал Реймон.

И действительно, госпожа Дельмар была поставлена в необходимость принять его. Увидя, что из коляски выходит незнакомая пожилая дама, она поспешила ей навстречу на крыльцо дома. В ту же минуту она узнала в мужчине, сопровождавшем гостью, Реймона. Она поняла, что тот обманом побудил свою мать приехать к ним с визитом, и недовольство этим поступком дало ей силы держаться с большим достоинством и спокойствием. Она приняла госпожу де Рамьер почтительно и приветливо, но была так убийственно холодна с Реймоном, что тот не мог этого вынести. Он не привык к подобному обращению, и гордость его возмущало то, что он не мог одним взглядом заставить Индиану изменить ее презрительное отношение к нему. Он сделал вид, что не обращает внимания на этот ее каприз, и, попросив разрешения присоединиться к господину Дельмару, гулявшему в парке, оставил дам одних.

Постепенно Индиана поддалась тому обаянию, какое исходит от человека с тонким умом и благородной, возвышенной душой даже при самом поверхностном знакомстве с ним: она повеселела и стала такой же ласковой и доброй, как и сама госпожа де Рамьер. Она не помнила своей матери, а госпожа де Карвахаль, несмотря на все ее подарки и похвалы, конечно не могла заменить ей мать. Именно поэтому она испытывала какое-то сердечное влечение к матери Реймона.

Реймон вернулся в гостиную, когда уже пора было уезжать. Он заметил, как Индиана, прощаясь с госпожой де Рамьер, поднесла к своим губам ее руку. Бедная Индиана чувствовала потребность с кем-нибудь сблизиться. Она была одинока, несчастна и всей душой откликалась на малейшее проявление участия и внимания. Кроме того, она решила, что госпожа де Рамьер спасет ее от сетей, в которые завлекал ее Реймон.

«Я брошусь в объятия этой чудесной женщины, — думала она, — и, если понадобится, расскажу ей все. Я буду умолять ее спасти меня от ее сына; ее благоразумие охранит его и меня».

Реймон рассуждал иначе.

«Милая моя матушка! — думал он, возвращаясь с госпожой де Рамьер в Серей, — ее обходительность и доброта творят чудеса. Чем только я ей не обязан: воспитанием, успехами в жизни, уважением общества! Не хватает только, чтобы я был ей обязан счастьем, завоевав с ее помощью сердце такой женщины, как Индиана».

Реймон, как видите, любил мать за ее заботы, за все то благополучие, которым она окружала его. Так все избалованные дети любят своих матерей.

Несколько дней спустя Реймон получил приглашение провести три дня в Бельриве — чудесном поместье, принадлежавшем сэру Ральфу и расположенном между Серей и Лакьи. Там ему предстояло вместе с лучшими местными охотниками заняться истреблением дичи, опустошавшей леса и сады владельца. Реймон не любил охоты и не чувствовал симпатии к сэру Ральфу. Но обычно в дни больших приемов госпожа Дельмар исполняла роль хозяйки в доме своего кузена, и в надежде встретиться с нею Реймон, не раздумывая, согласился.

Однако на этот раз сэр Ральф не рассчитывал на приезд госпожи Дельмар — она заранее извинилась, что не может приехать, сославшись на нездоровье. Но полковник, всегда недовольный, когда ему казалось, что его жена ищет развлечений, сердился еще больше, когда она отказывалась от тех развлечений, которые он ей разрешал.

— Вы хотите, чтобы все соседи думали, будто я держу вас взаперти, — сказал он. — По вашей милости я прослышу ревнивым мужем, а я вовсе не желаю играть эту комическую роль. Кроме того, как объяснить вашу неучтивость по отношению к кузену? Приличествует ли отказывать в такой маленькой услуге, когда мы обязаны ему постройкой и процветанием нашей фабрики? Вы ему нужны, а вы не хотите исполнить его просьбу. Не понимаю ваших капризов! Все те, кто мне не нравится, пользуются вашим расположением, а тот, кто мне приятен, вам всегда не по вкусу.

— Мне кажется, что я совсем не заслужила подобного упрека, — ответила госпожа Дельмар. — Я люблю своего кузена как родного брата, и мы уже были старыми друзьями, когда ваша дружба с ним только началась.

— Ах, все это только красивые слова! — воскликнул полковник. — Однако я отлично знаю, что вы считаете его, беднягу,

недостаточно чувствительным! По-вашему, он эгоист, потому что не любит романов и не плачет над околевшей собакой. Но дело не только в нем. Какой прием вы оказали господину де Рамьеру? Милейший молодой человек, честное слово! Госпожа де Карвахаль познакомила вас с ним, и вы его любезно приняли. Но я имел несчастье хорошо отнестись к нему, и вы сразу нашли его невыносимым, а когда он приехал к нам в гости, вы отправились спать. Вы, вероятно, хотите, чтобы я прослыл человеком, не знающим приличий. Пора прекратить это. Надо жить так, как живут все.

Реймон решил, что не в его интересах проявлять особое усердие в ухаживании за госпожой Дельмар: показным равнодушием можно добиться успеха почти у каждой женщины, считающей себя любимой. Но когда он прибыл к сэру Ральфу, оказалось, что охота началась с утра, а госпожа Дельмар должна была приехать только к обеду. В ожидании ее приезда он принялся обдумывать план действий. Решительная минута приближалась. Он стал измышлять способ оправдаться в ее глазах. В его распоряжении было два дня, и он распределил свое время так: остаток сегодняшнего дня на то, чтобы растрогать ее, завтрашний день — чтобы убедить, и послезавтра — чтобы стать счастливым. Он даже посмотрел на часы и рассчитал по минутам свои шансы на успех или поражение.

Он находился уже около двух часов в гостиной, когда услышал в соседней комнате нежный, тихий голос госпожи Дельмар. Он так долго обдумывал план оболыщения, что увлекся, как автор увлекается сюжетом своего произведения, как адвокат увлекается защищаемым им делом; волнение, охватившее Реймона при виде Индианы, можно было сравнить с тем, что чувствует при появлении героини драмы актер, настолько вошедший в свою роль, что он уже не отличает искусственных сценических переживаний от действительных.

Госпожа Дельмар так сильно изменилась, что, несмотря на свое нервное возбуждение, Реймон почувствовал к ней искреннюю жалость. Горе и болезнь оставили глубокие следы на ее лице: ее нежная красота поблекла, и теперь победа могла скорее польстить его самолюбию, чем доставить наслаждение. Но Реймон считал себя обязанным вернуть этой женщине счастье и жизнь.

Видя ее бледность и печаль, он решил, что не встретит большого сопротивления: под такой хрупкой оболочкой не могла таиться сильная воля.

Он подумал, что прежде всего следует напугать ее, обратить ее внимание на то, что она серьезно больна и выпадит очень плохо, а затем пробудить в ее душе желание жить и надежду на лучшее будущее.

— Как вы изменились, Индиана! — сказал он, прекрасно скрывая свою самоуверенность под видом глубокой грусти. — Никогда не думал, что это мгновение, которого я так ждал и так страстно добивался, причинит мне столько горя!

Госпожа Дельмар совсем не ожидала подобных речей. Она предполагала, что Реймон, сознавая всю тяжесть своей вины, будет сконфужен и растерян, а он, вместо того чтобы просить прощения, уверять в своем раскаянии, выражал ей сочувствие и жалость. Какой она, значит, выпадит слабой и подавленной, раз внушает сострадание даже тем, кто, казалось бы, сам должен был умолять ее о сострадании!

Француженка, светская женщина, не растерялась бы, попав в такое запутанное положение, но Индиана была неопытна, она не

обладала находчивостью, не научилась скрывать свои чувства, а потому не сумела воспользоваться выгодными для нее обстоятельствами. Слова Реймона напомнили ей о перенесенных страданиях, и слезы блеснули на ее ресницах.

— Я на самом деле больна, — сказала она, устало опускаясь в кресло, пододвинутое ей Реймоном. — Я чувствую себя очень плохо и имею основание жаловаться на это вам, сударь.

Реймон не ожидал столь быстрого успеха. Он тотчас же ухватился за счастливый случай и, взяв ее похудевшую и холодную руку, воскликнул:

— Индиана, не говорите мне этого, не говорите, что я причина ваших страданий, иначе я сойду с ума от горя и радости.

— От радости? — повторила она вслед за ним, взглянув на него своими большими голубыми глазами, полными грусти и удивления.

— Я не совсем точно выразился — от надежды, так как радость моя вызвана надеждой: ведь если я причина вашего горя, то я, может быть, могу и исцелить вас. Скажите только слово, — продолжал он, опускаясь перед ней на колени, — и я отдам за вас всю мою кровь, всю мою жизнь!

— Ах, замолчите! — с горечью ответила Индиана, отнимая у него руку. — Вы бессовестно нарушили свои обещания и не можете исправить причиненное вами зло!

— Но я хочу исправить его и исправлю! — воскликнул Реймон, пытаясь вновь взять ее за руку.

— Слишком поздно, — сказала она. — Верните мне мою подругу, мою сестру. Верните мне Нун, моего единственного друга!

Кровь застыла в жилах Реймона. На этот раз ему не надо было притворяться взволнованным. Существуют такие чувства, могучие и страшные, которые возникают без искусственного возбуждения.

«Она знает все, — подумал он, — и осуждает меня».

Самым тяжелым было для него то, что его невольная сообщница упрекала его в преступлении, и самым горьким то, что соперница Нун сама оплакивала ее.

— Да, — продолжала Индиана, поднимая к нему свое залитое слезами лицо,

— вы виноваты во всем...

Но увидев, как побледнел Реймон, она замолчала. Бледность его была ужасающей, никогда еще он так не страдал.

Тогда сердечная доброта и невольная нежность, которую внушал ей этот человек, снова одержали верх в душе госпожи Дельмар.

— Простите, — сказала она со страхом, — я причинила вам боль, но я так исстрадалась. Сядьте и поговорим о чем-нибудь другом.

Эта неожиданная сердечность и великодушие глубоко тронули Реймона. Из груди его вырвались рыдания. Он поднес руку Индианы к губам и покрыл ее поцелуями. Это были его первые слезы после смерти Нун, — волею судеб именно Индиана сняла с его души тяжелый гнет.

— О, если вы так плачете о ней, — сказала она, — хотя вы почти совсем не знали ее, если вы так сильно раскаиваетесь в причиненном мне зле, я не смею больше вас упрекать. Будем вместе оплакивать ее, пусть она оттуда, с небес, увидит нас и простит нам.

Холодный пот выступил на лбу Реймона. Слова: «хотя вы почти совсем не знали ее» — рассеяли мучившие его сомнения, но обращение к памяти погубленной им девушки, прозвучавшее из нежных уст Индианы, поразило его суеверным ужасом. Не в силах совладать с собой, он встал и, подойдя к открытому окну, сел на подоконник, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Индиана молчала, она была глубоко взволнована. Видя, что Реймон плачет, как ребенок, и теряет сознание, как слабая женщина, она испытала тайную радость.

«Он добрый, — подумала она, — он любит меня, у него горячее и благородное сердце. Он виноват, но его раскаяние искупает все, и мне следовало раньше простить его».

Она с нежностью смотрела на него, и сердце ее вновь наполнялось доверием; она приняла угрызения совести виновного за раскаяние влюбленного.

— Не плачьте! — сказала она, вставая и подходя к нему. — Это я убила ее, я одна во всем виновата. Совесть будет мучить меня всю жизнь, я поддаюсь чувству гнева и подозрению, оскорбила ее, ранила в самое сердце. Я излила на нее всю горечь моей обиды на вас. Вы, только вы оскорбили меня, а я наказала свою бедную подругу. Я так жестоко обошлась с ней!

— И со мной также, — сказал Реймон, сразу позабыв о прошлом и думая только о настоящем.

Госпожа Дельмар покраснела.

— Возможно, я была неправа, обвинив вас в тяжелой утрате, которую я понесла в ту ужасную ночь, — сказала она. — Но я не могу забыть вашего безрассудного и оскорбительного поступка. Ваша романтическая и преступная затея сильно огорчила меня. Я думала тогда, что вы меня любите, а вы меня даже не уважали!

К Реймону вдруг вернулись силы, воля, любовь и надежда. Овладевшее им мрачное настроение рассеялось, как кошмар. Он очнулся и снова почувствовал себя молодым, пылким, полным желаний, страсти и надежд на будущее.

— Если вы меня ненавидите, значит я виновен, — сказал он, бросаясь к ее ногам, — но если вы меня любите, то я не виновен и никогда не был виновен. Индиана, скажите, вы меня любите?

— А вы заслужили мою любовь? — спросила она.

— Если для того, чтобы заслужить твою любовь, надо боготворить тебя...

— Послушайте, — сказала она, не отнимая у него руки и устремив на него свои большие влажные глаза, по временам загоравшиеся каким-то мрачным огнем, — послушайте, знаете ли вы, что значит любить такую женщину, как я?.. Нет, вы этого не знаете! Вы думали, что дело идет об удовлетворении минутного каприза, вы судили о моем сердце по тем пресыщенным сердцам, над которыми вы испытывали до сих пор вашу мимолетную власть. Вы не знаете, что я еще никогда не любила и потому не отдам мое чистое, нетронутое сердце в обмен на сердце холодное и опустошенное, мою восторженную любовь

— в обмен на любовь, лишённую пыла, всю мою жизнь — за один короткий день.

— Индиана, я страстно люблю вас! Мое сердце тоже молодо и горячо, пусть оно недостойно вашего, но ведь нет человека, чье сердце было бы достойно вашего сердца. Я знаю, как надо любить вас. Я понял это не сегодня. Разве я не знаю всей вашей жизни, разве я не пересказал ее вам на балу в первый же раз, как мне представилась возможность поговорить с вами? Разве не прочел я историю вашего сердца в первом же взгляде, который вы бросили на меня? И разве я увлечен только вашей красотой? Да, без сомнения, она способна вскружить голову даже менее пылкому и менее молодому человеку,

чем я. Но я боготворю ваш нежный и милый облик, потому что у вас чистая, неземная душа, потому что в вас горит божественный огонь, потому что я вижу в вас и женщину и ангела.

— Я знаю, вы умеете льстить, однако не надейтесь, что вам удастся пробудить во мне тщеславие. Мне нужны не восхваления, а истинная любовь. Я хочу, чтобы меня любили безраздельно, безвозвратно, безгранично. Я хочу, чтобы вы были готовы пожертвовать ради меня всем: богатством, добрым именем, долгом, делами, убеждениями и семьей — всем, потому что в ответ на свое самоотверженное чувство я жду такой же любви. Вы сами видите, что так любить меня вы не можете.

Реймон уже встречал женщин, относящихся к любви серьезно, хотя такие примеры, к счастью для нашего общества, стали редкими. Но он знал также, что любовные клятвы не являются делом чести, — опять же к счастью для нашего общества. Случалось даже, что женщина, требовавшая от него торжественных обещаний, сама первая нарушала их. Он несколько не испугался требований госпожи Дельмар, или, вернее, ему не хотелось думать ни о прошлом, ни о будущем. Он был захвачен неотразимой прелестью этой женщины, хрупкой и страстной, слабой физически, но со смелой душой и решительным сердцем. Диктуя ему свою волю, она была так прекрасна, так оживлена, внушала ему такое уважение, что он как зачарованный смотрел на нее.

— Клянусь, — сказал он, — принадлежать тебе телом и душой, посвятить тебе всю жизнь, отдать тебе свою кровь и отказаться от собственной воли! Бери все, распоряжайся всем: моим состоянием, честью, совестью, чувствами

— всем моим существом!

— Замолчите, — перебила его Индиана, — сюда идет мой кузен.

Действительно, в комнату с невозмутимым видом вошел флегматичный сэр Ральф Браун, которого удивил и обрадовал неожиданный приезд кузины. Он попросил позволения обнять ее в знак признательности и, наклонившись, не спеша поцеловал прямо в губы, согласно обычаю их родины.

Реймон побледнел от гнева, и, как только Ральф вышел, чтобы отдать кое-какие распоряжения, он подошел к Индиане и хотел было

поцеловать ее, желая стереть с ее губ след этого дерзкого поцелуя. Но госпожа Дельмар отстранила его.

— Помните, что вам еще многое нужно искупить, если вы хотите, чтобы я вам поверила, — спокойно сказала она.

Реймон не понял, сколько душевной чуткости было в этом отказе. Он понял только, что получил отказ, и затаил неприязнь против сэра Ральфа. Несколько мгновений спустя он заметил, что когда Ральф разговаривает вполголоса с Индианой, то говорит ей «ты», а Реймон готов был усмотреть в светской сдержанности сэра Ральфа осторожность счастливого любовника. Но, встретив чистый взгляд Индианы, он покраснел за свои оскорбительные подозрения.

Вечером Реймон был в ударе и блистал остроумием. Гостей собралось много, его слушали с интересом, ибо его красноречие не могло не привлечь к себе всеобщего внимания. Он говорил очень умно, и будь Индиана тщеславна, она, слушая его, вкусила бы первую радость от своей любви. Но при ее здравом уме и простодушии такое заметное превосходство Реймона над остальными пугало ее. Она пыталась бороться против того неотразимого очарования, которое исходило от него, словно излучение какой-то магнетической силы, даруемой иным людям небом или адом. Власть этого непонятного обаяния так велика, что ей не может противиться ни один обыкновенный смертный, и вместе с тем так недолговечна, что от нее не остается никакого следа, и после смерти этих людей все удивляются, почему они пользовались при жизни столь необычайным и шумным успехом.

Минутами Индиана поддавалась очарованию этого блеска, но тотчас же с грустью думала, что ей хочется не славы, а счастья. Она с тревогой спрашивала себя, может ли этот человек, жизнь которого так разнообразна, так захватывающе интересна, отдать ей всю свою душу, пожертвовать ради нее своим честолюбием. И теперь, слушая, как он шаг за шагом так смело и искусно, так страстно и вместе с тем хладнокровно отстаивает свои умозрительные теории, решает проблемы, столь чуждые их любви, она с ужасом думала, как мало места занимает она в его жизни, тогда как он для нее — все. Она с горечью сознавала, что она для него лишь мимолетный каприз, тогда как он — мечта всей ее жизни.

Когда они выходили из гостиной, Реймон, предлагая Индиане руку, шепнул ей несколько ласковых слов, но она печально ответила:

— Вы слишком умны!

Реймон понял этот упрек и провел весь следующий день возле госпожи Дельмар. Остальные гости были заняты охотой и предоставили им полную свободу.

Реймон был красноречив, а Индиане так хотелось ему верить, что и половины сказанных им слов было бы достаточно, чтобы убедить ее. Француженки, вы не знаете, что такое креолка! Вы бы, конечно, не поддались так легко обольщениям — ведь вас не проведешь и не обманешь!

Когда сэр Ральф вернулся с охоты и, подойдя к госпоже Дельмар, по своему обыкновению пощупал ей пульс, Реймон, внимательно наблюдавший за ним, заметил, что на его обычно спокойном лице промелькнуло радостное удивление. Затем, неизвестно под влиянием какой тайной мысли, взоры обоих мужчин встретились, и под пристальным взглядом светлых глаз сэра Ральфа Реймон невольно опустил свои черные глаза. И весь день в отношении баронета к госпоже Дельмар сквозь обычную невозмутимость проглядывало какое-то особое внимание, нечто вроде сочувствия или заботы, если вообще какие-либо переживания могли отражаться на его лице. Но Реймон тщетно пытался угадать, что волновало Ральфа — тревога или надежда. Ральф был непроницаем.

Вдруг Реймон, стоявший в нескольких шагах позади кресла госпожи Дельмар, услышал, как Ральф вполголоса сказал ей:

— Тебе неплохо было бы прокатиться завтра верхом, кузина.

— Но вы прекрасно знаете, — ответила она, — что у меня нет сейчас верховой лошади.

— Мы найдем тебе лошадь. Хочешь принять участие в охоте?

Госпожа Дельмар попробовала было под разными предлогами уклониться от приглашения. Реймон понял, что она предпочитает остаться с ним, но заметил также, что ее кузен всячески старается помешать этому. Реймон тотчас же оставил своих собеседников, подошел к Индиане и присоединился к настойчивым просьбам сэра Ральфа. Он досадовал на непрошеного опекуна госпожи Дельмар и во что бы то ни стало решил усыпить его бдительность.

— Если вы согласитесь поехать на охоту, — сказал он Индиане, — я осмелюсь последовать вашему примеру. Я не любитель охоты, но ради счастья быть вашим оруженосцем...

— В таком случае я поеду, — неосторожно вырвалось у Индианы.

Она обменялась с Реймоном многозначительным взглядом. Как ни был мимолетен этот взгляд, Ральф успел перехватить его, и весь вечер Реймон не мог посмотреть на Индиану или заговорить с ней: сэр Браун тотчас же начинал наблюдать за ними и прислушиваться к

его словам. Чувство неприязни и, пожалуй, даже ревности поднялось в душе Реймона. По какому праву этот кузен, этот друг дома брал на себя роль наставника любимой им женщины? Он мысленно поклялся, что заставит раскаяться сэра Ральфа, и весь вечер ждал случая рассердить его, не компрометируя госпожи Дельмар, но это оказалось невозможным. Сэр Ральф был изысканно вежлив с гостями, держал себя с холодным достоинством и не давал повода к какой-либо насмешке или замечанию.

Наутро, не успели еще протрубить сбор, как сэр Ральф с торжественным видом вошел в комнату Реймона. Держался он еще чопорнее обычного, и от нетерпения у Реймона сильнее забилося сердце, ибо он надеялся услышать вызов. Но дело шло всего-навсего о верховой лошади, на которой Реймон приехал в Бельрив и которую он выражал желание продать. Сделка была заключена в пять минут. Сэр Ральф не спорил о цене, он достал из кармана сверток с золотыми монетами и с каким-то странным хладнокровием принялся отсчитывать деньги, не обращая внимания на возражения Реймона, удивлявшегося такой поспешности и точности. Выходя из комнаты, Ральф повернулся и спросил:

— Так, значит, с сегодняшнего дня лошадь принадлежит мне?

Реймон решил, что Ральф подстроил это нарочно, чтобы помешать ему принять участие в охоте, и довольно сухо ответил, что не собирается идти на охоту пешком.

— Сударь, — ответил несколько надменно Ральф, — я хорошо знаю правила гостеприимства. — И вышел из комнаты.

Сойдя вниз, Реймон увидел возле колоннады госпожу Дельмар в амазонке, весело играющую с Офелией, которая рвала ее батистовый платок. На щеках ее опять появился легкий румянец, глаза снова блестели, к ней вернулась ее прежняя красота. Черные локоны выбивались из-под небольшой шляпки, что было ей очень к лицу; сшитая по фигуре суконная амазонка, застегнутая доверху, обрисовывала ее тонкую и гибкую талию. Главное очарование креолок, на мой взгляд, заключается в их необычайно изящных чертах лица и стройной фигуре, благодаря чему они очень долго сохраняют какую-то детскую миловидность. Смеющаяся и шаловливая Индиана казалась пятнадцатилетней девочкой. Восхищенный ею прелестью,

Реймон внутренне ликовал от сознания своей победы; он обратился к ней с комплиментом, наименее избитым, какой только мог придумать.

— Вы беспокоились о моем здоровье, — тихо сказала она, — разве вы не видите, что я хочу жить?

Он ответил ей взглядом, полным счастья и признательности. Сэр Ральф сам привел лошадь для своей кузины, и Реймон узнал в ней ту, которую только что продал.

— Неужели господин де Рамьер так любезен, что уступает мне свою лошадь?

— удивленно спросила госпожа Дельмар, видевшая, как ее объезжали накануне вечером во дворе замка.

— Ведь вы восхищались вчера тем, что она такая красивая и смиренная, — сказал сэр Ральф. — С сегодняшнего дня она ваша. Я очень огорчен, дорогая, что не мог подарить ее вам раньше.

— Вы, верно, шутите, кузен, — сказала госпожа Дельмар. — Ничего не понимаю! Кого я должна благодарить — господина де Рамьера, согласившегося уступить мне свою верховую лошадь, или вас, так как, по-видимому, вы его об этом просили.

— Благодарю своего кузена, он купил ее для тебя, — сказал ей господин Дельмар.

— Неужели правда, дорогой Ральф? — спросила госпожа Дельмар, лаская животное с радостью девочки, впервые получившей в подарок драгоценное украшение.

— Ведь мы же с тобой условились, что я подарю тебе лошадь за то, что ты сделаешь мне вышивку для кресла? Садись в седло и ничего не бойся. Я знаю ее нрав, еще сегодня утром я сам объезжал ее.

Индиана бросилась на шею сэру Ральфу, а затем вскочила на лошадь Реймона и смело прогарцевала на ней.

Эта семейная сцена происходила во дворе на глазах у Реймона. Ему было очень тяжело смотреть на простую сердечную привязанность этих людей друг к другу и думать, что он, несмотря на свою пылкую страсть, не может даже дня побыть наедине с Индианой.

— Как я счастлива, — сказала она, когда они въехали в аллею. — Добрый Ральф словно угадал, какой подарок доставит мне самое большое удовольствие. А вас, Реймон, разве не радует, что ваша любимая лошадь принадлежит теперь мне? Она будет и моей

любимицей. Как ее зовут? Скажите мне, я хочу оставить ей то имя, какое вы ей дали.

— Если кто здесь счастлив, так это ваш кузен: он делает вам подарки, за которые вы его так горячо целуете, — ответил Реймон.

— Неужели наша дружба и эти звонкие поцелуи вызывают в вас ревность? — спросила она смеясь.

— Ревность? Возможно, что и так, Индиана, не знаю. Но я страдаю, когда ваш молодой, румяный кузен целует вас в губы, берет в свои объятия, чтобы посадить на лошадь, которую он вам подарил, а я — продал. Нет, я не чувствую себя счастливым оттого, что вы стали владелицей моей любимой лошади. Я прекрасно понимаю, что подарить ее вам — это счастье, но играть роль продавца и дать возможность другому доставить вам приятное — это унижение, ловко придуманное сэром Ральфом. Если б я был уверен, что он сделал это умышленно, я отомстил бы ему.

— Такая ревность вам совсем не к лицу! Неужели вы завидуете нашей родственной близости? Разве вы не чувствуете, что мы с вами находимся вне рамок обычной жизни и что вы должны создать для меня новый, волшебный мир счастья? Я недовольна вами, Реймон: мне кажется, что в вашей неприязни к моему бедному кузену большую роль играет уязвленное самолюбие. Вы предпочитаете мое открытое, дружеское внимание к нему тому глубокому, но тайному чувству, которое я питаю к вам.

— Прости, прости меня, Индиана, я неправ, я недостойн тебя, мой кроткий и добрый ангел, но, признаюсь, я жестоко страдаю оттого, что этот человек присваивает себе какие-то права на тебя.

— Присваивает? Он? Вы не знаете, Реймон, чем мы ему обязаны. Вы не знаете, что его мать была родной сестрой моей матери, что мы родились в одном и том же краю, что еще подростком он оберегал мои младенческие годы, что он был моей единственной опорой, моим наставником и товарищем на острове Бурбон, что он следовал за мной повсюду, покинул родину, когда я покинула ее, и поселился там, где живу я. Одним словом, только он один на свете любит меня и интересуется моей жизнью.

— Боже мой! Ваши слова, Индиана, еще больше растрavляют мою рану. Значит, этот англичанин очень любит вас! А знаете ли вы, как я вас люблю?

— Ах, не будем сравнивать. Если бы вы оба питали ко мне одинаковые чувства и были соперниками, мне следовало бы предпочесть более давнюю привязанность. Но не бойтесь, Реймон, я никогда не попрошу вас любить меня такой любовью, какую любит меня Ральф.

— Объясните же мне, что он за человек, умоляю вас, ибо невозможно понять, что скрывается за его невозмутимым спокойствием.

— Вы хотите, чтобы я сама описала вам достоинства моего кузена? — с улыбкой спросила она. — Должна признаться, мне трудно быть беспристрастной; я очень люблю его и буду его расхваливать. Боюсь, что вам он не очень понравится. Попробуйте помочь мне. Ну, каким он вам кажется?

— Судя по лицу, он полнейшее ничтожество, — простите, если я этим обидел вас, — однако в его речах, когда он соблаговолит заговорить, видны и здравый смысл и образованность. Но он с такой неохотой, с таким равнодушием рассуждает обо всем, что его познания никому не приносят пользы, а его манера говорить всех расхолаживает и утомляет. Кроме того, и мысли у него какие-то тяжеловесные и избитые, что не искупается ясностью и точностью употребляемых им выражений. Мне кажется, что весь он пропитан чужими идеями, так как он слишком ленив и недалек, чтобы иметь свои собственные. Как раз таких людей в свете принято ценить и считать глупокомысленными. Главное их достоинство — важность, а остальное дополняется безразличным отношением ко всему и ко всем.

— В вашем описании есть доля истины, — ответила Индиана, — но есть и предубеждение. Для вас все ясно, вы смело разрешаете все сомнения, а я сужу не так решительно, хотя знаю Ральфа со дня своего рождения. Вы правы, он на многое смотрит чужими глазами — это большой недостаток. Но виной всему его воспитание, а не его ограниченность. Вы считаете, что, не получи он воспитания, он был бы совершенным ничтожеством, а я думаю, что без воспитания он был бы им в меньшей степени. Я расскажу вам об одном обстоятельстве его жизни — это поможет вам понять его характер. На горе Ральфа, у него был брат, которого родители открыто предпочитали ему. Этот брат обладал блестящими дарованиями, каких не было у Ральфа. Учение давалось брату Ральфа легко, у него были способности ко всем

видам искусства, он блистал остроумием. Лицо его, с менее правильными чертами, чем у Ральфа, было более выразительным. Он был ласков, приветлив, деятелен

— словом, очень привлекателен. Ральф, напротив, был неуклюж, меланхоличен, малообщителен. Он любил одиночество, учился неохотно и не выставлял напоказ своих скромных знаний. Видя такую разницу между ним и старшим братом, родители стали дурно обращаться с Ральфом. Хуже того, они начали всячески унижать его. Тогда, несмотря на то, что он был еще совсем ребенком, характер его стал мрачным и мечтательным, непреодолимая робость сковала все его действия и мысли. Ему сумели внушить нелюбовь и презрение к самому себе, он разочаровался в жизни, и с пятнадцати лет на него напал сплин — недуг, парализующий тело под туманным небом Англии и душу под живительным небом острова Бурбон. Он часто рассказывал мне, как однажды ушел из дому, твердо решив броситься в море; но, сидя на песчаном берегу и собираясь с мыслями перед тем как выполнить свое намерение, он увидел меня на руках у подошедшей к нему негритянки, моей кормилицы. Мне было тогда пять лет. Я, говорят, была очень хорошенькая и выказывала моему хмурому кузену расположение, которого никто не разделял. Правда, и он относился ко мне очень заботливо и нежно, а я совсем не была приучена к этому в родительском доме. Мы оба были несчастны и уже понимали друг друга. Он учил меня своему родному языку, а я в ответ лепетала на своем. Смесь испанского и английского — этим, пожалуй, и объясняется характер Ральфа. И вот я кинулась к нему на шею и, видя, что он плачет, но не понимая причины его слез, тоже заплакала. Он прижал меня к своей груди и дал клятву, как он потом мне рассказал, отныне жить только для меня, брошенного и, может быть, даже нелюбимого ребенка, которому он и его дружба могли оказаться нужными и полезными. В его печальной жизни я была первой и единственной привязанностью. С этого дня мы почти не расставались; свободные и здоровые, мы проводили счастливые дни в уединении гор. Но, может быть, вам наскучили рассказы о нашем детстве; хотите, пустим лошадей галопом и догоним охоту.

— Безумная! — сказал Реймон, удерживая за повод лошадь господи Дельмар.

— Тогда я продолжаю, — снова заговорила она. — Эдмонд Браун, старший брат Ральфа, умер двадцати лет. Мать с горя скончалась, отец был неутешен. Ральф хотел чем-нибудь облегчить его скорбь, но господин Браун так холодно ответил на первые попытки сына добиться сближения, что лишь усугубил его природную застенчивость. Ральф часами молча сидел возле сокрушавшегося старика, не решаясь обратиться к нему с нежным словом или ласкою, — так боялся он, что его утешения будут неуместны и бесполезны. Отец обвинял его в бессердечии; и после смерти Эдмонда бедный Ральф стал еще более несчастен и одинок, чем прежде. Я была его единственным утешением.

— Что бы вы мне ни говорили, жалеть его я не могу, — прервал ее Реймон.

— Но в его жизни и в вашей для меня одно непонятно: почему он не женился на вас?

— Сейчас объясню почему. Когда я достигла того возраста, что могла выйти замуж, Ральф, который на десять лет старше меня — а это большая разница в наших краях, где девочки рано становятся женщинами, — был уже женат.

— Сэр Ральф вдовец? Я никогда не слышал, чтобы вспоминали о его жене.

— И не спрашивайте его о ней никогда. Она была молода, красива и богата, но она любила Эдмонда и была его невестой. Различные соображения и заинтересованность семьи в этом браке заставили ее выйти замуж за Ральфа, но она даже не пожелала скрыть свою неприязнь к нему. Они уехали в Англию, а когда он вернулся после смерти жены на остров Бурбон, я уже была замужем за господином Дельмаром и собиралась в Европу. Ральф прожил некоторое время один, но одиночество тяготило его. Хотя он никогда не рассказывал мне о своей жене, я имею все основания думать, что он был еще более несчастлив с нею, чем ребенком в своей родной семье, и что новые тяжелые переживания только усугубили его природную меланхолию. На него снова напал сплин. Тогда он продал свои кофейные плантации и решил переехать во Францию. Моему мужу он отрекомендовался весьма оригинальным образом, над чем бы я очень посмеялась, если б меня так не растрогала привязанность моего славного Ральфа. «Сударь, — сказал он, — я очень люблю вашу

жену. Я ее воспитал и смотрю на нее как на сестру или, вернее, как на дочь. Она моя единственная родственница и единственная привязанность. Сочтете ли вы возможным, чтобы я поселился около вас и чтобы наша жизнь протекала совместно? Говорят, что вы немного ревнивы, но говорят также, что вы человек чести и долга. Раз я даю вам слово, что никогда не любил и никогда не полюблю ее как женщину, вы можете быть так же спокойны, как если бы я был ее родным братом. Верите ли вы мне, сударь?»

Господин Дельмар, очень кичившийся своим честным словом солдата, принял это откровенное заявление с подчеркнутым доверием. Однако он несколько месяцев приглядывался к нам, прежде чем его доверие, которым он похвалялся, перешло в подлинное. Теперь оно так же несокрушимо, как неизменная и спокойная преданность Ральфа.

— Убеждены ли вы, Индиана, — спросил Реймон, — что сэр Ральф не обманывает самого себя, уверяя, что никогда не любил вас?

— Мне было двенадцать лет, когда он уехал со своей женой в Англию. А когда он вернулся обратно, мне было шестнадцать, и я была замужем, однако он проявил больше радости, чем огорчения, узнав о моем браке. Теперь Ральф уже совсем старик.

— В двадцать-то девять лет?

— Не смейтесь, его лицо молодо, но сердце состарилось от страданий. Ральф никого больше не любит, ибо не желает больше страдать.

— Даже вас?

— Даже меня. Его дружба перешла в привычку; раньше, в дни моего детства, когда он воспитывал и оберегал меня, дружба его была самоотверженной, и тогда я любила его, как он любит меня теперь, потому что нуждалась в нем. Сейчас я с радостью возвращаю свой долг и всячески стараюсь скрасить и наполнить его жизнь. В детстве я любила его больше инстинктом, чем сердцем, — он, став мужчиной, любит меня так, как я любила его в детстве. Я ему необходима, потому что только я одна и люблю его; но так как господин Дельмар тоже проявляет к нему привязанность, он любит его почти наравне со мной. В былое время он храбро защищал меня от деспотизма отца, но в отношении моего мужа он ведет себя гораздо осторожнее и мягче. Он не чувствует укоров совести, видя мои страдания, ему важно одно:

чтобы я была рядом с ним. Он не спрашивает себя, счастлива ли я, — ему достаточно того, что я живу. Он не хочет стать на мою сторону в семейных размолвках, потому что это может рассорить его с господином Дельмаром и нарушить его спокойствие. Ему неустанно твердили, что у него черствое сердце, и он сам поверил этому; и сердце его действительно очерствело в бездеятельности, на которую он обрек себя из-за неверия в собственные силы. Душевные качества этого человека расцвели бы от любви окружающих, но он был лишен ее и ожесточился. Теперь счастье для него только в покое, а радость — в удобствах жизни. Сам не зная забот, он не интересуется чужими заботами, и надо признаться, что Ральф эгоист.

— Тем лучше, — сказал Реймон, — теперь он мне больше не страшен, и, если хотите, я готов даже полюбить его.

— Да, полюбите его, Реймон, — ответила она, — он будет вам за это признателен. Ведь важно не почему нас любят, а как нас любят. Счастлив тот, кто любим, не все ли равно, по какой причине.

— Ваши слова, Индиана, — возразил Реймон, обвивая рукой ее гибкую, тонкую талию, — это стон одинокого, печального сердца. Но я хочу, чтобы вы знали, почему и как я вас люблю; в особенности — почему.

— Потому что хотите дать мне счастье? — спросила она, подняв на него печальный и полный страсти взгляд.

— Потому что хочу отдать тебе жизнь! — воскликнул Реймон, касаясь губами развевающихся волос Индианы.

Звук рога, раздавшийся поблизости, напомнил им, что следует быть осторожнее. Это трубил сэр Ральф, но видел он их или нет — так и осталось неизвестным.

Когда спустили собак и началась охота, Реймон поразился той перемене, которая вдруг произошла с Индианой. Она оживилась, глаза ее заблестели, щеки разругались, ноздри раздулись, как бы в предвкушении опасности или наслаждения. Внезапно покинув его, она прищпорила лошадь и помчалась вслед за Ральфом. Реймон не знал, что у Ральфа и Индианы было только одно общее

— их страсть к охоте. Он не подозревал также, что в этой хрупкой и с виду такой робкой женщине таилась более чем мужская смелость, безумная отвага, возникающая в результате нервного подъема даже у самых слабых людей. Женщины редко обладают физической силой, помогающей терпеливо переносить боль и опасности, но им часто присуща та душевная сила, которая появляется в минуты риска или страдания. Впечатлительная Индиана всем своим существом реагировала на раздававшиеся вокруг крики, быструю езду, волнения охоты, в какой-то мере напоминающей войну с ее трудностями, уловками, расчетами, борьбой, удачами и неудачами. В своей скучной и однообразной жизни она нуждалась в таких сильных ощущениях — тогда она словно просыпалась от летаргического сна и в один день растрчивала энергию, накопившуюся в ней за целый год.

Реймон с испугом смотрел на ее бешеную скачку, на то, как она бесстрашно отдавалась во власть разгорячившейся лошади, на которую села впервые. Индиана смело неслась в самую гущу леса, с необычайной ловкостью уклонялась от хлеставших ее по лицу гибких веток, не задумываясь перескакивала через канавы и рвалась вперед, чтобы первой напасть на свежий след кабана, совсем не думая о том, что может разбиться, если лошадь поскользнется на глинистой и скользкой почве. Такая решительность страшила и отталкивала Реймона. Тщеславию мужчин, в особенности влюбленных, больше льстит покровительствовать беспомощным женщинам, нежели восторгаться их смелостью.

Признаюсь, что Реймон испугался при мысли о том, какую смелость и упорство в любви сулило такое бесстрашие. Он вспомнил о

покорности бедной Нун, которая предпочла утопиться, а не бороться со своей несчастной судьбой.

«Если в ее любви столько же страсти и пыла, как в ее увлечениях, — подумал Реймон, — если она с такой же непреклонной настойчивостью, с какой преследует сейчас кабана, будет стремиться заполнить меня, то ни общество, ни законы — ничто ее не удержит; она меня погубит, мне придется пожертвовать ради нее своим будущим».

Отчаянные крики, испуганные голоса, среди которых был слышен и голос госпожи Дельмар, вывели Реймона из задумчивости. Охваченный тревогой, он прищорил коня; к нему сейчас же присоединился сэра Ральф и спросил, слышал ли он крики о помощи.

В эту минуту появились испуганные егеря, они бессвязно кричали, что кабан кинулся на госпожу Дельмар и сбросил ее с лошади. Прискакали другие, еще более перепуганные охотники, звавшие сэра Ральфа.

— Надежды нет, — сказал всадник, примчавшийся последним. — Ваша помощь уже не нужна.

В этот ужасный миг Реймон взглянул на господина Брауна — лицо Ральфа было бледно и мрачно. Он не кричал, не выходил из себя, не ломал рук: вынув охотничий нож, он с чисто британским хладнокровием собрался перерезать себе горло. Реймон выхватил у него нож и увлек Ральфа за собой, туда, откуда доносились крики.

Ральф точно очнулся от тяжелого сна, увидя госпожу Дельмар; она бросилась ему навстречу, умоляя поспешить на помощь к ее мужу, лежавшему на земле без признаков жизни. Убедившись, что полковник еще жив, Ральф немедленно пустил ему кровь. Но у господина Дельмара был перелом бедра, и пришлось спешно перенести его в дом.

Очевидно, в суматохе и сутолоке охотники по ошибке вместо господина Дельмара назвали его жену, а вернее всего, Ральфу и Реймону послышалось ее имя, потому что они оба думали только о ней.

Индиана была жива и невредима, но от страха и волнения едва стояла на ногах. Реймон, поддерживая ее в своих объятиях, простил ей причуды ее женского сердца, ибо видел, как она глубоко потрясена

несчастьем, постигшим мужа, которого, по правде сказать, у нее было больше оснований прощать, нежели жалеть.

К сэру Ральфу уже вернулось его обычное спокойствие, и только необычная бледность указывала на пережитое им потрясение, — ведь на всем свете он любил только этих двух людей и чуть не потерял одного из них.

В эту минуту всеобщего смятения и переполоха только Реймон отдавал себе полный отчет в том, что происходит, ибо он один не потерял присутствия духа и ясно понял, как сильна любовь сэра Брауна к своей кузине и как отличается эта любовь от его привязанности к полковнику. Это обстоятельство, безусловно опровергавшее мнение Индианы о чувствах Ральфа, не ускользнуло от внимания не только Реймона, но и других свидетелей происшедшей сцены.

Однако впоследствии Реймон никогда не говорил госпоже Дельмар о том, что господин Браун хотел покончить с собой. В этом намеренном умалчивании было, без сомнения, что-то эгоистическое и неприязненное, но вы, вероятно, простите Реймона, так как известно, что все влюбленные очень ревнивы.

Только через полтора месяца полковника с большим трудом перевезли в Ланьи. Но прошло не менее полугода, прежде чем он начал ходить, потому что, кроме плохо сраставшегося перелома бедра, его мучил еще острый ревматизм в больной ноге, надолго приковавший его к постели. Жена с нежной заботливостью ухаживала за ним. Она не отходила от его изголовья, безропотно переносила его угрюмый и раздражительный нрав, грубые вспышки гнева и бесконечные придирки.

Несмотря на все огорчения, на тяжесть такого печального существования, Индиана расцвела, здоровье ее окрепло, а сердце было переполнено счастьем. Реймон любил ее, и любил по-настоящему. Он приезжал каждый день, преодолевал все трудности, чтобы увидеть ее, выносил причуды больного мужа, холодность кузена, натянутую атмосферу встреч. Один его взгляд дарил Индиане радость на целый день. Она и не думала больше жаловаться на судьбу, — она была полна своим чувством, ей было для чего жить и кому посвятить свою молодость.

Постепенно полковник сдружился с Реймоном. В простоте душевной он считал частые посещения своего соседа доказательством глубокого сочувствия и беспокойства о его здоровье. Госпожа де Рамьер тоже приезжала иногда, как бы скрепляя своим присутствием эту близкую дружбу, и восторженная Индиана страстно привязалась к матери Реймона. В конце концов муж и возлюбленный его жены стали друзьями.

Постоянно встречаясь, Реймон и Ральф тоже невольно сблизились и уже называли друг друга «дорогой друг». Утром и вечером они обменивались рукопожатиями. Если один из них обращался к другому с просьбой о какой-либо небольшой услуге, он обыкновенно начинал свою речь так: «Я очень рассчитываю на вашу дружбу» и т.д. Наконец за глаза каждый говорил о другом: «Это мой друг».

Но хотя оба были людьми искренними, насколько это вообще возможно в свете, на самом деле они не чувствовали никакого взаимного расположения. У них на все были разные взгляды, разные вкусы, и даже их любовь к госпоже Дельмар была настолько различна, что это чувство не сближало, а еще больше разъединяло их. Им доставляло своеобразное удовольствие противоречить и портить друг другу настроение разными замечаниями и намеками, которые, хотя и высказывались в общей форме, однако дышали горечью и недоброжелательством. Чаще всего их разногласия начинались с политики и кончались вопросами морали. Обычно это бывало по вечерам; все собирались около кресла господина Дельмара, и спор возникал по малейшему поводу. Внешне соблюдались все требуемые приличия: одного обязывало к этому его философское мировоззрение, а другого — умение держать себя в обществе, но тем не менее намеками высказывались очень неприятные вещи, что доставляло большое удовольствие полковнику, так как у него был воинственный и сварливый нрав и за отсутствием битв он пристрастился к спорам.

Я считаю, что политические взгляды целиком определяют человека. Скажите мне только, что вы думаете и что вы чувствуете, и я скажу вам, каковы ваши политические убеждения. К какому бы обществу или партии ни принадлежал человек по рождению, его характер рано или поздно одержит верх над предрассудками или воззрениями, привитыми ему воспитанием. Вы, пожалуй, сочтете мое

утверждение слишком категоричным, но можно ли ждать чего-либо хорошего от человека, спокойно соглашающегося с существованием такого государственного строя, который несовместим с понятием человеколюбия и благородства? Покажите мне человека, считающего смертную казнь необходимой, и, как бы он ни был образован и убежден в своей правоте, ручаюсь, что между мной и им никогда не возникнет симпатии; если такой человек вздумает преподать мне какие-либо неизвестные доселе истины, он ничего не добьется, потому что, при всем моем желании, я не могу ему верить.

Ральф и Реймон расходились во всем, хотя раньше, до их знакомства, на многое у них не было определенных, твердо установившихся взглядов. Но с того момента, как начались их горячие споры, когда каждый старался доказать противоположное тому, что защищал другой, у них создались непоколебимые и законченные убеждения. Реймон всякий раз выказывал себя приверженцем существующего порядка, Ральф критиковал его со всех точек зрения.

Это объяснялось очень просто. Реймон был баловнем судьбы, любимцем общества, а Ральф всю свою жизнь видел только горе и неприятности. Один находил все прекрасным, другой был всем недоволен. Люди и обстоятельства были суровы к Ральфу — и очень благосклонны к Реймону; и оба, словно дети, судили обо всем со своей точки зрения и безапелляционно решали важнейшие вопросы социального порядка, в которых ни тот, ни другой не были сведущи.

Ральф лелеял мечту о республике, где не будет злоупотреблений, предрассудков, несправедливости, — мечту, основанную всецело на том убеждении, что род человеческий должен в корне измениться. Реймон отстаивал наследственную монархию, предпочитая, как он выражался, «переносить злоупотребления, предрассудки и несправедливости, чем видеть, как воздвигаются эшафоты и льется невинная кровь».

В начале спора полковник почти всегда бывал на стороне Ральфа. Он ненавидел Бурбонов и в своих суждениях высказывал всю свою злобу против них. Но Реймон очень быстро и искусно перетягивал его на свою сторону, доказывая, что монархическое правление в принципе куда ближе к наполеоновской империи, нежели республика. Ральф не обладал умением убеждать, бедный баронет был наивен и неловок! Его искренность казалась грубой, логика сухой, а взгляды страдали

нетерпимостью! Он не щадил никого и не старался подсластить истину.

— Помилуйте! — говорил он полковнику, когда тот проклинал вмешательство Англии. — Что сделала вам, лично вам — человеку, как я считаю, здравомыслящему и неглупому — целая нация, честно сражавшаяся против вас?

— Честно? — повторял господин Дельмар, стискивая зубы и размахивая костью.

— Предоставим державам самим решать вопросы внешней политики, — снова начинал сэр Ральф, — поскольку мы приняли государственный строй, который запрещает нам обсуждать свои интересы. Если народ ответствен за ошибки своей законодательной власти, то не окажутся ли французы виновнее всех?

— Верно, — кричал полковник, — это позор, что Франция предала Наполеона и приняла короля, посаженного на трон иностранными штыками?

— Я не говорю, что это позор, — продолжал Ральф, — а говорю, что это несчастье для Франции. Приходится лишь пожалеть, что она оказалась такой слабой и немощной в тот день, когда, избавившись от тирана, вынуждена была принять жалкое подобие конституционной хартии — эту пародию на свободу, к которой вы начинаете проникаться уважением, вместо того чтобы отказаться от нее и завоевать себе полную, настоящую свободу.

Тогда Реймон принимал вызов, брошенный ему сэром Ральфом. Горячий сторонник хартии, он хотел вместе с тем быть и поборником свободы и очень искусно доказывал Ральфу, что хартия является выражением свободы и что, уничтожив хартию, он сам разобьет свой кумир. Напрасно сэр Ральф пытался бороться против ловко подтасованных доводов господина де Рамьера, тот всячески убеждал его, что более свободный строй непременно повлек бы за собой эксцессы 1793 года, что народ не созрел еще для такой свободы и она неминуемо превратилась бы в анархию. Сэр Ральф утверждал, что нелепо ограничивать конституцию определенным количеством параграфов, ибо то, что удовлетворяло прежде, не может удовлетворять теперь, и ссылался на пример выздоравливающего, чьи потребности растут с каждым днем. Но на все эти общие места, упорно повторяемые сэром Ральфом, Реймон возражал, что хартия не

есть нечто незыблемое, что она может измениться вместе с потребностями Франции и впоследствии будет отвечать требованиям народа, хотя сейчас отвечает только требованиям королевской власти.

Что касается Дельмара, то его воззрения ни на йоту не изменились с 1815 года. Он был заядлым противником нового строя, таким же упорным, как эмигранты Кобленца, над которыми он всегда зло посмеивался. Этот старый младенец ничего не понял в великой драме падения Наполеона. Он видел только военное поражение там, где одержала победу сила общественного мнения. Он непрестанно твердил о предательстве и проданной родине, как будто целая нация может предать одного человека, как будто Франция допустила, чтобы ее продали несколько генералов. Он обвинял Бурбонов в тирании и сожалел о славных днях Империи, совершенно забывая, что тогда не хватало рук для обработки земли и многие семьи сидели без хлеба. Он порицал Франше и хвалил Фуше. Он все еще жил во времена Ватерлоо.

Чрезвычайно любопытно было слушать сентиментальные бредни Дельмара и де Рамьера — этих двух филантропов-мечтателей: один считал, что люди могут быть счастливы только под боевыми знаменами Наполеона, а другой — под скипетром Людовика Святого; Дельмар все еще находился у подножия пирамид, а Реймон восседал под монархической сенью венсенского дуба. Вначале их утопии казались непримиримыми, но мало-помалу собеседники начинали понимать друг друга. Реймон опутывал полковника любезными речами, но, соглашаясь с ним в чем-нибудь, требовал от него в десять раз больших уступок. Незаметно он приучал Дельмара к той мысли, что белое знамя в конце концов увенчало двадцать пять лет славы Франции.

Если бы Ральф своей резкостью и грубостью не портил впечатления от цветистой риторики господина де Рамьера, Реймон неминуемо обратил бы господина Дельмара в приверженца монархии 1815 года; но Ральф, стараясь поколебать убеждения полковника, своей неуклюжей прямоотой задевал его самолюбие, и тот еще больше укреплялся в своих симпатиях к императору. Тогда все усилия господина де Рамьера пропадали даром; Ральф безжалостно топтал его цветы красноречия, и полковник с ожесточением и упорством возвращался к своему трехцветному знамени. Он клялся, что когда-

нибудь «стряхнет насевшую на нем пыль», ругал династию Бурбонов, возводил герцога Рейхштадтского на «престол его предков», снова начинал завоевание мира и кончал всегда жалобами на позор Франции, на ревматизм, пригвоздивший его к креслу, и на неблагодарность королевской фамилии к усачам ветеранам, которых жгло палящее солнце пустыни и заносили снега на московских дорогах.

— Друг мой, — говорил Ральф, — будьте справедливы. Вы недовольны тем, что Реставрация не платит за услуги, оказанные Империи, и в то же время предоставляет денежную помощь эмигрантам. Скажите, если бы завтра Наполеон воскрес во всем своем могуществе, сочли бы вы справедливым, чтобы он лишил вас своей милости и перенес ее на легитимистов? Каждый стоит за себя и за своих, это все споры и пререкания из-за личных интересов, которые мало касаются Франции. Теперь, когда вы превратились в такого же немощного старика, как и бывшие вояки эмиграции, когда все вы страдаете подагрой, женаты и недовольны всем на свете, — вы все одинаково бесполезны для родины. Однако ей приходится вас кормить, а вы только и знаете, что наперебой жалуетесь на нее. Когда придет к власти республика, она не признает ваших требований, и это будет справедливо.

Такие простые и очевидные истины воспринимались полковником как личные оскорбления. Ральф, при всем своем здравом смысле, не понимал, как мелочен и ограничен человек, которого он уважает, и потому не щадил его в спорах.

До появления Реймона между этими двумя людьми существовало молчаливое соглашение избегать разговоров на такие щекотливые темы, где их убеждения могли бы столкнуться и вызвать взаимную неприязнь. Но Реймон внес в их тихое убежище всю казуистику и хитрые уловки, изобретенные современной цивилизацией. Он показал им, что во время спора можно говорить что угодно, во всем упрекать противника. Он ввел у них в доме дебаты на политические темы, в то время чрезвычайно модные в салонах, ибо страстная ненависть «Ста дней» уже улеглась и приняла различные оттенки. Но убеждения полковника оставались без изменений, и Ральф жестоко ошибался, думая, что тот способен внять доводам рассудка. С каждым днем господин Дельмар все больше злился на него и сближался с

Реймоном, который, не идя на слишком большие уступки, умел быть любезным и не задевать самолюбия.

Заниматься политикой в домашнем кругу от нечего делать — большая неосторожность. Если теперь есть еще где-нибудь спокойные и счастливые семьи, я советую им не подписываться на газеты, не читать даже самой короткой статьи о бюджете, уединиться в своих поместьях, как в оазисе, и отгородиться неприступной стеной от остального общества, ибо если эти счастливицы дадут возможность отголоскам наших споров проникнуть к ним, то прости-прощай мир и покой в их доме! Нельзя представить себе, сколько горечи и яду вносит в семью различие убеждений, — в большинстве случаев оно служит поводом к тому, чтобы упрекать другого в скверном характере, ограниченности и бессердечии.

Никто не посмел бы ни с того ни с сего назвать кого-нибудь обманщиком, дураком, честолюбцем или трусом. Однако тот же смысл вкладывается в слова: «иезуит», «роялист», «бунтарь» и «умеренный». Слова, правда, другие, но оскорбления те же, и тем более обидные, что спорщики позволяют себе беспрерывно нападать друг на друга и безжалостно и беспощадно преследовать противника. Тут уж не прощают взаимных ошибок, не признают ни милосердия, ни деликатности, ни выдержки. Ничего друг другу не спускают и под маской политических убеждений изливают в словах свою мстительную ненависть. Счастливые сельские жители — если еще сохранились во Франции настоящие села, — бегите, бегите от политики и читайте «Ослиную шкуру»! Но, увы, политическая зараза сильна, и нет такого дальнего уголка, такого полного уединения, где мог бы укрыться и спастись человек с добрым сердцем, желающий оградить себя от общественных бурь и политических разногласий.

Напрасно обитатели замка Де-ла-Бри защищались в продолжение нескольких лет от этого пагубного вторжения. В конце концов они утратили свою беззаботность, деятельная домашняя жизнь их была нарушена, не стало больше долгих вечеров, проводимых в молчании и размышлениях. Громкие споры будили заснувшее эхо, слова, полные горечи и угроз, пугали поблекших амуров, в течение целого столетия улыбавшихся с высоты пыльных карнизов. Тревоги современной жизни проникли в старый дом, и все предметы устарелой роскоши — свидетели былой эпохи наслаждений и легкомыслия — с ужасом

взирали на наш век сомнений и разногласий, представленный тремя мужчинами, которые сходились ежедневно, чтобы спорить с утра и до ночи.

Несмотря на эти постоянные раздоры, госпожа Дельмар с доверчивостью молодости надеялась на какое-то светлое будущее. Она переживала свое первое счастье, и ее пылкое воображение, ее любящее сердце давали ей то, чего ей не хватало в действительности. Она умела создавать себе живые и чистые радости и дополняла ими случайные милости судьбы, выпавшие ей на долю. Реймон любил ее. Он не лгал, уверяя, что за всю свою жизнь любил только ее одну: в самом деле, его чувство никогда еще не было столь чистым и продолжительным. Возле нее он забывал обо всем, общество и политика переставали занимать его мысли. Ему нравилась и уединенная жизнь и та семейная обстановка, которой окружила его Индиана. Он восхищался терпением и нравственной силой этой женщины, он удивлялся контрасту между ее умом и характером, а в особенности тому, что после всей торжественности, какую был окружен их первый договор, она была так мало требовательна, довольствовалась редкими, мимолетными минутами счастья, беззаветно и слепо верила ему. Любовь была для нее совершенно новой и возвышенной страстью, множество тонких и благородных чувств примешивалось к этой любви, придавая ей силу, непонятную для Реймона.

Сам он сперва сильно страдал от постоянного присутствия ее мужа или кузена. Он представлял себе, что эта любовь будет такой же, как и все пережитые им раньше, но вскоре, под влиянием Индианы, его чувство стало более возвышенным. Покорность, с какой она переносила постоянный надзор, выражение счастья, с каким она украдкой смотрела на него, ее глаза, говорившие с ним немым, но красноречивым языком, ее восторженная улыбка, когда во время разговора случайный намек сближал их сердца, — все это теперь давало Реймону утонченное и изысканное наслаждение, доступное ему при его уме, воспитании и культуре.

Какая разница была между целомудренной Индианой, словно не ведавшей, что ее любовь может прийти к определенной развязке, и другими женщинами, всячески старавшимися ускорить эту развязку и

в то же время притворявшимися, будто они вовсе не хотят этого. Когда случайно Реймон оставался наедине с Индианой, щеки ее не вспыхивали румянцем, она не отводила от него в смущении взгляда. Нет, ее глаза, ясные и спокойные, по-прежнему в упоении смотрели на него, ангельская улыбка не сходила с ее губ, розовых, как у девочки, не знающей других поцелуев, кроме материнских. Видя, как она доверчива, полна любви и невинна, как всецело поглощена своим чувством и ничего не подозревает о мучительном томлении, какое испытывал возлюбленный, находясь у ее ног, Реймон не осмеливался проявить себя мужчиной, боясь показаться ей недостойным ее мечты, и из самолюбия сам становился таким же добродетельным, как она.

Госпожа Дельмар была малообразованна, как и все креолки, и до сих пор никогда не задумывалась над теми серьезными вопросами, которые теперь ежедневно обсуждались при ней. Воспитывая ее, сэр Ральф, имевший невысокое мнение об уме и способностях женщин, ограничился тем, что дал ей только некоторые, основные и необходимые для жизни знания. Она имела слабое понятие о всеобщей истории, и всякие серьезные рассуждения наводили на нее скуку. Но Реймон, благодаря своему уму и красноречию, вкладывал в самый сухой предмет столько поэзии и изящества, что она стала прислушиваться к его речам, пытаясь понять их, а затем робко начала задавать ему такие наивные вопросы, какие без труда разрешила бы любая десятилетняя девочка, воспитанная в свете. Реймону нравилось развивать ее нетронутый ум, без сопротивления усваивавший его взгляды. Но, несмотря на то влияние, которое он оказывал на ее чистую, простую душу, иногда его софизмы встречали у нее отпор.

Индиана противопоставляла требованиям цивилизации, возведенным в принципы, простые и ясные законы здравого смысла и человечности, ее возражения дышали неподдельной искренностью, и хотя они подчас приводили Реймона в замешательство, все же он всегда восхищался их детской непосредственностью. Он поставил себе задачей обратить ее постепенно в свою веру, привить ей свои взгляды и прилагал к этому столько старания, словно занимался серьезной работой. Он был бы горд, если бы сумел заставить ее смотреть на все его глазами, изменить ее честные и здравые от природы убеждения, но это удавалось ему с трудом. Возвышенные воззрения сэра Ральфа, его непримиримая ненависть к порокам

общества, его нетерпеливое ожидание торжества новых законов и иных нравов — все это находило отклик в Индиане благодаря печальным воспоминаниям ее детства. Но иногда Реймон повергал в прах противника, доказывая, что нелюбовь Ральфа к современности — чистейший эгоизм. Он горячо описывал свои собственные чувства, свою преданность королевскому дому, изображая ее героической и даже чреватой опасностями, говорил о своем уважении к преследуемым ныне верованиям своих предков, о своих религиозных убеждениях, которые, по его словам, он принимал не рассуждая, чувствуя инстинктивную потребность в вере. А потом — какое счастье любить своих ближних, сознавать что связан с современным поколением узами чести и человеколюбия; какая радость оказывать услуги родине, борясь против опасных нововведений, поддерживая внутренний порядок; какое блаженство отдать, если это понадобится, всю свою кровь за каплю крови последнего из своих сограждан! Он очаровывал Индиану искусно нарисованными картинами счастливых утопий, и ей хотелось любить и уважать то, что любит и уважает Реймон. Что Ральф эгоист, считалось уже доказанным. Когда он защищал какую-нибудь благородную идею, ему в ответ улыбались: всем было ясно, что в такие минуты ум и сердце его находятся в противоречии. Не предпочтительнее ли верить Реймону, у которого такая пламенная, широкая и открытая душа?

Однако бывали мгновения, когда Реймон почти забывал о своей любви и помнил только о неприязни к Ральфу. Сидя около госпожи Дельмар, он видел лишь сэра Ральфа, сурового, холодного и рассудочного сэра Ральфа, который осмеливался нападать на него, человека высокоодаренного, разбившего наголову стольких славных врагов. Он испытывал даже некоторое унижение при мысли, что ему приходится бороться с таким ничтожным противником, и тогда он старался подавить его своим красноречием, пускал в ход весь свой талант, и ошеломленный Ральф, не умевший быстро соображать, а тем более быстро парировать удар, чувствовал свою полную беспомощность.

В такие мгновения Индиане казалось, что Реймон совсем не думает о ней. Она ощущала беспокойство и страх при мысли, что, может быть, все эти благородные, возвышенные чувства, которые он так красиво выражал, не более как набор пышных слов, насмешливая

болтовня адвоката, с упоением слушающего самого себя и разыгрывающего чувствительную комедию, чтобы растрогать простодушных слушателей. Она вся дрожала, когда, встречая его взгляд, догадывалась, что глаза его горят не от радости, не оттого, что она поняла его, а от удовлетворенного самолюбия, торжествующего победу, ибо ему удалось отстоять свои взгляды. Тогда ей становилось страшно, и она думала о Ральфе, об этом эгоисте, к которому все, возможно, были несправедливы. Но Ральф ничего не умел сказать кстати, чтобы поддержать в ней эти сомнения, а Реймон несколькими словами ловко рассеивал их.

Итак, в этом доме только один человек чувствовал себя действительно несчастным и убитым — это был Ральф, родившийся под несчастливой звездой; жизнь ему, бедняге, никогда не улыбалась и не дарила настоящих и глубоких радостей. Судьба его была неудачна и безотраднa, а между тем никто не жалел его, и он сам никому ни на что не жаловался: поистине проклятая судьба, лишенная всякой поэзии, ярких впечатлений и выдающихся событий, — заурядная, невеселая обывательская жизнь, не скрашенная ни дружбой, ни любовью; он молча, безропотно продолжал влачить существование с тем героизмом, который дается любовью к жизни и вечной потребностью на что-то надеяться. Он был одинок; хотя у него, как и у всех, когда-то были отец и мать, брат, жена, сын, подруга, но он никогда не видел от них ни любви, ни привязанности. Он чувствовал себя чужим для всех в жизни, протекавшей безрадостно и бесцветно, и даже не переживал особенно остро своего несчастья, так как не имел той романтической жалости к самому себе, которая побуждает искать наслаждение даже в страданиях.

Несмотря на силу характера, этот человек иногда начинал терять веру в добродетель. Он ненавидел Реймона. Одного слова Ральфа было бы достаточно, чтобы заставить Рамьера покинуть Ланьи, но он молчал, ибо свято следовал принципу, одному-единственному, но более сильному, чем все убеждения Реймона; не религия, не монархия, не общество, не честь и не законы побуждали его к самопожертвованию, а совесть.

Ральф прожил одинокую жизнь и не привык рассчитывать на других, но в одиночестве он научился познавать самого себя. Он слушался только голоса своего сердца; замкнувшись в себе, он

старался понять причину людской несправедливости и убеждался, что ничем не заслужил ее. Это даже перестало возмущать его, так как он был невысокого мнения о своей личности, считая себя ничтожным и заурядным. Ральф понимал, почему люди равнодушны к нему, он примирился с этим, но в душе сознавал, что сам способен на все те чувства, которые не мог вызвать к себе в других; и, прощая всем людям, в отношении самого себя он был нетерпим. Его замкнутость и скрытность создавали впечатление эгоизма, и, пожалуй, ничто так сильно не походит на эгоизм, как уважение к самому себе.

Однако нередко случается, что, желая поступить как можно лучше, мы поступаем неудачно, — так и сэр Ральф, боясь упреков совести, из чрезмерной деликатности совершил большую ошибку, причинившую непоправимое зло госпоже Дельмар. Ошибка эта заключалась в том, что он не сообщил ей о подлинной причине смерти Нун. Вероятно, тогда она задумалась бы над теми опасностями, которые ей сулила любовь Реймона. Позднее мы узнаем, почему господин Браун не собрался рассказать все Индиане и какие тяжелые сомнения заставили его молчать. Когда же он решился заговорить, было уже поздно — Реймон успел за это время упрочить свое влияние.

Тем временем произошло неожиданное событие, оказавшее большое влияние на будущность полковника и его жены. Бельгийский торговый дом, от которого зависело благополучие дельмаровского предприятия, неожиданно обанкротился, и полковник, еще не совсем оправившись после болезни, спешно выехал в Антверпен.

Поскольку он был еще болен и слаб, жена хотела его сопровождать, но господин Дельмар, зная, что ему грозит полное разорение, и собираясь уплатить по всем обязательствам, боялся, как бы его путешествие не приняли за бегство, и решил оставить свою жену в Ланьи — в залог того, что он вернется. Он отказался также взять с собой сэра Ральфа и попросил его остаться и помочь госпоже Дельмар в случае каких-либо неприятностей со стороны докучливых и требовательных кредиторов.

В это тяжелое время Индиану страшила только мысль о том, что ей, вероятно, придется покинуть Ланьи и расстаться с Реймоном. Но он успокоил ее, уверив, что полковник при всех обстоятельствах, несомненно, переедет в Париж. Кроме того, он поклялся, что под тем

или иным предлогом последует за ней всюду; и доверчивая женщина была почти рада грозившим ей невздам, так как они давали ей возможность испытать его любовь.

А Реймона со времени получения этого известия преследовало одно желание, одна тревожная и неотступная мысль: наконец-то, впервые за полгода, он останется наедине с Индианой. Она, казалось, никогда не избегала его, и хотя он не торопился увенчать полным торжеством свою любовь, наивная чистота которой имела для него своеобразную прелесть, все же он начинал чувствовать, что дело его мужской чести довести ее до конца. Он с достоинством опровергал всякие лукавые намеки на свои отношения с госпожой Дельмар, скромно уверяя, что между ними существует только нежная и спокойная дружба, и ни за что на свете не признался бы даже лучшему другу, что уже полгода, как он страстно любим, а еще ничего не добился.

Реймон был несколько разочарован, когда увидел, что сэр Ральф решил, по-видимому, взять на себя роль господина Дельмара: он появлялся в Ланьи с утра и возвращался к себе в Бельрив только вечером. Больше того, так как домой они ехали одной и той же дорогой, Ральф с подчеркнутой вежливостью старался приурочить свой отъезд к отъезду Реймона. Такое явное намерение помешать раздражало Реймона, а госпожа Дельмар тоже видела в этом оскорбительное недоверие к себе и желание Ральфа проявить деспотическую власть.

Реймон не смел просить о тайном свидании; всякий раз, как он пытался заговорить об этом, госпожа Дельмар напоминала ему об их уговоре. Однако со дня отъезда полковника прошла уже неделя, он мог скоро вернуться, и надо было воспользоваться удобным случаем. Дать сэру Ральфу возможность восторжествовать над собой казалось Реймону позорным. Однажды утром он незаметно вложил в руку госпожи Дельмар следующее письмо:

«Индиана! Значит, вы не любите меня так, как я люблю вас? Ангел мой, я несчастен, а вы даже не замечаете этого. Я печалюсь и беспокоюсь о вашем будущем, не о своем, конечно: я последую за вами всюду, буду жить и умру там же, где вы. Но меня пугает предстоящая вам нищета: бедняжка, вы такая слабенькая и хрупкая! Как сможете вы перенести ожидающие вас лишения? У вас есть

богатый и щедрый кузен. Ваш муж, возможно, согласится принять от него то, что он откажется принять от меня. Ральф сможет облегчить вашу участь, а я ничто не могу сделать для вас.

Вы отлично понимаете, дорогой друг, что у меня есть причины быть мрачным и грустным. Вы мужественны, вы ничего не боитесь, вы не хотите, чтобы я болел за вас душой. Ах, мне так нужны ваши ласковые слова, ваши нежные взгляды, чтобы поддержать мои силы! Но по роковому стечению обстоятельств эти дни, которые я надеялся провести с вами, у ваших ног, принесли мне еще больше мучений.

Скажите только одно слово, Индиана: разрешаете ли вы мне побыть с вами наедине хотя бы час, чтобы я мог оросить слезами ваши белые ручки, сказать вам, как я страдаю, и услышать от вас слова утешения и поддержки?

И затем, Индиана, у меня есть одно заветное желание, каприз ребенка, вернее — каприз влюбленного: я хочу, чтобы вы позволили мне прийти к вам в спальню. О, не пугайтесь, я уже поплатился однажды за свою дерзость и научился не только уважать вас, но и бояться. Именно поэтому я и хотел бы войти к вам в спальню, стать на колени на том самом месте, где я видел вас такой разгневанной, что несмотря на мою обычную смелость, не дерзнул даже взглянуть на вас. Я хотел бы пасть перед вами ниц, провести час в счастливом и благоговейном молчании. Единственная милость, о которой я просил бы тебя, Индиана, — это положить руку мне на сердце, очистить его от греха, успокоить, если оно будет слишком сильно биться, и вернуть мне твое доверие, если теперь ты считаешь, что я достоин тебя. О, я так хочу доказать тебе, что я заслуживаю теперь твоего доверия, что я понял тебя, преклоняюсь перед тобой и чту тебя так же чисто и свято, как девушка чтит мадонну! Я должен быть уверен, что ты меня больше не боишься, что ты уважаешь меня так же, как я боготворю тебя. Прижавшись к твоему сердцу, я хотел бы прожить один час жизнью ангелов. Скажи, Индиана, хочешь ли ты этого? Один только час — первый и, быть может, последний!

Пора, Индиана, вернуть мне твое доверие, так безжалостно отнятое у меня, простить мне мою вину, искупленную такой дорогой ценой. Разве ты все еще недовольна мною? Скажи, разве не провел я у твоего кресла целые полгода, подавляя страстные желания и ограничиваясь созерцанием твоих черных локонов и твоей

белоснежной шеи, склоненной над работой? Когда ты сидела возле окна, я вдыхал тонкий аромат твоих духов, приносимый мне легким ветерком, и довольствовался этим. Неужели такая покорность не заслуживает награды? Подари мне один поцелуй, поцелуй сестры, если хочешь, поцелуй в лоб. Я не нарушу нашего уговора, клянусь тебе! Не попрошу ничего больше... Но ты, жестокая, ничего не хочешь мне дарить! Уж не боишься ли ты самой себя?»

Госпожа Дельмар поднялась к себе в спальню, чтобы прочесть это письмо. Она сейчас же написала ответ и незаметно передала его вместе с ключом от калитки парка — ключом, так хорошо знакомым ему:

«Нет, теперь я не боюсь тебя, Реймон! Я слишком хорошо знаю, как ты меня любишь, и верю тебе беззаветно. Приходи же! Себя я тоже не боюсь; если бы я не любила тебя так сильно, то, возможно, была бы менее спокойна, но ты даже не знаешь, как я люблю тебя... Уезжайте пораньше, чтобы усыпить подозрительность Ральфа. Возвращайтесь в полночь, — парк и дом вы знаете хорошо; вот ключ от калитки, запирайте ее за собой».

Это наивное и благородное доверие вызвало краску стыда у Реймона, хотя он сам старался пробудить его, думая, что сумеет впоследствии им воспользоваться, рассчитывая на ночь, на случай, на опасность. Если бы Индиана обнаружила страх, она погубила бы себя, но она была спокойна. Она верила в его честность, и он поклялся, что ей не придется раскаиваться. Впрочем, самым важным для него было провести ночь в ее спальне, чтобы не оказаться глупцом в своих собственных глазах, обмануть бдительность Ральфа и иметь право в душе посмеяться над ним. Это принесло бы Реймону то удовлетворение, которого он давно жаждал.

Ральф в этот вечер был поистине невыносим. Никогда еще не был он так неловок, холоден и скучен. Все, что он говорил, было невпопад и некстати, и, к довершению всех бед, несмотря на поздний час, он вовсе не собирался уезжать. Госпожа Дельмар сидела как на иголках. Она поглядывала то на часы, которые показывали уже одиннадцать, то на дверь, скрипевшую под напором ветра, то на столь надоевшее ей лицо своего кузена, расположившегося напротив нее у камина и невозмутимо смотревшего на огонь, как будто он и не подозревал, что его присутствие ей в тягость.

Однако под непроницаемым выражением лица сэра Ральфа, под его каменным спокойствием скрывалось бушевавшее в нем мучительное и сильное волнение. От этого человека ничего не ускользало, потому что он хладнокровно наблюдал за всем. Притворный отъезд Реймона не обманул его. Он отлично видел тревогу госпожи Дельмар. Он страдал от нее больше, чем сама Индиана, и колебался между стремлением предостеречь ее ради ее же пользы и опасением дать волю чувствам, которых в душе он не одобрял. В конце концов желание сделать добро кузине одержало верх, и он, собрав все душевные силы, решился прервать молчание.

— Мне вспомнилось, — неожиданно сказал он, следуя за ходом волновавших его мыслей, — что сегодня минул ровно год с тех пор, как мы с вами вот так же сидели у этого самого камина. Час был приблизительно тот же, погода стояла пасмурная и холодная, как и сегодня вечером. Вам нездоровилось, печальные думы тревожили вас, и, вспоминая об этом дне, я готов поверить в предчувствия!

«Куда он клонит?» — подумала госпожа Дельмар, с изумлением и беспокойством глядя на своего кузена.

— Помнишь, Индиана, — продолжал он, — ты чувствовала себя тогда хуже, чем обычно! Мне запомнились твои слова, они еще звучат у меня в ушах. «Вы, наверное, сочтете меня безумной, — сказала ты, — но какое-то несчастье надвигается на нас, кому-то из нас грозит опасность. Наверное, мне, — добавила ты. — Я так взволнована, как

будто предстоит большая перемена в моей судьбе, мне страшно...» Это твои собственные слова, Индиана.

— Моя болезнь прошла, — отвечала Индиана, ставшая вдруг такой же бледной, как и тогда, в тот вечер, о котором вспоминал сэр Ральф, — и я уже не верю больше в пустые страхи.

— Но теперь я верю в них, — возразил он, — потому что тогда ты оказалась пророком: нам действительно угрожала большая опасность, зловещие тени надвигались на это мирное жилище...

— Боже, я вас не понимаю!..

— Сейчас поймешь, мой бедный друг. В тот памятный вечер появился здесь Реймон де Рамьер... Ты помнишь, в каком он был состоянии?

Ральф выждал несколько мгновений, не смея поднять глаза на кузину. Она ничего не ответила, и он продолжал:

— Я был обязан вернуть его к жизни и сделал это отчасти чтобы исполнить твое желание, отчасти из человеколюбия. Но, по правде сказать, Индиана, я спас жизнь этому человеку на горе себе. Я единственный виновник всего несчастья.

— Не знаю о каком несчастье вы говорите, — сухо возразила Индиана.

Она предвидела объяснение и была этим глубоко оскорблена.

— Я говорю о смерти нашей бедной Нун, — сказал Ральф. — Если бы не он, она была бы жива; если бы не его роковая страсть, эта красивая и честная девушка, так нежно любившая вас, была бы еще здесь...

Госпожа Дельмар все еще ничего не понимала. Она была возмущена до глубины души тем странным и жестоким способом, какой выбрал Ральф, чтобы упрекнуть ее в привязанности к господину де Рамьеру.

— Довольно, — сказала она вставая.

Но Ральф, казалось, не обратил никакого внимания на ее слова.

— Меня всегда удивляло, — продолжал он, — как это вы не поняли, зачем, собственно, господин де Рамьер перелез тогда через ограду.

Внезапное подозрение промелькнуло в уме Индианы, ноги у нее подкосились, и она снова села.

Своими речами Ральф вонзил ей нож в самое сердце. Но лишь только он увидел, какое впечатление произвели его слова, он ужаснулся, тому, что сделал. Он думал теперь только о горе, причиненном той, кого он любил больше всего на свете, и чувствовал, что сердце его разрывается от боли. Он горько заплакал бы, если бы вообще мог плакать. Но он, бедняга, не обладал этой способностью и не умел красноречиво выражать свои чувства. Внешнее хладнокровие, с каким он совершил эту жестокую операцию, сделало его палачом в глазах Индианы.

— В первый раз, — с горечью сказала она, — я вижу, что ваша неприязнь к господину де Рамьеру побудила вас прибегнуть к недостойным средствам; но я не понимаю, зачем в вашей мести вы черните память дорогого мне человека, чья трагическая смерть должна была сделать эту память для нас священной. Я вас ни о чем не спрашивала, сэр Ральф; я не понимаю, о чем вы говорите. Разрешите мне вас больше не слушать.

Она встала и ушла, оставив господина Брауна в полной растерянности и совсем убитого горем.

Он предвидел, что объяснение с госпожой Дельмар только восстановит ее против него. Голос совести требовал, чтобы он предупредил Индиану, к чему бы это ни привело, и он повиновался этому голосу со свойственной ему резкостью и неумелостью. Но он не предвидел силы действия такого запоздалого лекарства.

В страшном отчаянии Ральф покинул Ланьи и стал блуждать по лесу, находясь в состоянии, близком к помешательству.

В полночь Реймон был у калитки парка. Он открыл ее, но, уже входя, почувствовал, что пыл его страсти остыл. Зачем он шел на это свидание? Он решил быть добродетельным. Но смогут ли целомудренная встреча и братский поцелуй вознаградить его за те страдания, на которые он обрекал себя? Если вы вспомните, при каких обстоятельствах он однажды ночью украдкой пробирался по этим аллеям и проходил этим садом, вы поймете, что надо было обладать большим душевным мужеством, чтобы идти на поиски счастья дорогой, связанной со столь тяжелыми воспоминаниями.

В конце октября в окрестностях Парижа бывает обычно туманно и сыро, в особенности по вечерам около рек. Судьбе было угодно, чтобы эта осенняя ночь была такой же молочно-белой, как и ночи

прошлой весны. Реймон неуверенно шел среди окутанных мглой деревьев. Поравнявшись с павильоном, куда на зиму убрали прекрасную коллекцию герани, он посмотрел на дверь, и сердце его невольно забилось сильнее при мысли, что она сейчас откроется и оттуда выйдет женщина, закутанная в шубку... Реймон усмехнулся своему суеверию и продолжал путь. Но чем ближе он подходил к реке, тем сильнее его пробирала дрожь и тем труднее ему становилось дышать.

Чтобы попасть в цветник, необходимо было перейти реку по узенькому мостику, перекинутому с одного берега на другой. Здесь, над рекой, туман был еще гуще, и Реймон ухватился за перила, чтобы не оступиться и не упасть в росшие у берега камыши. Луна еще только всходила и, слясь пробиться сквозь мутную пелену, бросала тусклый свет на камыши, колеблемые ветром и течением воды. В шелесте ветра, скользившего по листьям и волновавшего воду, ему слышались чьи-то жалобы, похожие на обрывки человеческой речи. Вдруг тихий стон раздался возле Реймона, и тростник зашевелился; это вылетел кулик, испугнутый его шагами. Крик этой птицы, живущей возле воды, удивительно похож на крик новорожденного, а его стремительный взлет из камышей напоминает последние отчаянные движения утопающего. Вы, может быть, решили, что Реймон был очень труслив и малодушен, ибо чуть не упал в обморок, но, устыдившись своего страха, он быстро овладел собой и, стиснув зубы, поднялся на мостик.

Когда он был почти на середине, какая-то неясная человеческая тень выросла перед ним у конца перил, словно кто-то стоял там и ждал его. Мысли Реймона смешались, он был потрясен и потерял способность рассуждать. Он вернулся обратно и притаился в тени деревьев, не сводя пристального, полного ужаса взгляда с видения, расплывчатого и зыбкого, как речной туман или дрожащий свет луны. Он подумал, что это плод его больного воображения и что он принял за человека тень от дерева или куст, но тут же ясно увидел, что призрак зашевелился и направился к нему.

В ту минуту, если бы ноги не отказались ему служить, он пустился бы бежать так же быстро и трусливо, как ребенок, который, проходя ночью по кладбищу, внезапно слышит позади себя шорох травы и принимает его за чьи-то легкие шаги. Но он не мог

сдвинуться с места и, чтобы не упасть, обхватил ствол ивы, под сенью которой укрылся. Сэр Ральф, закутанный в светлый плащ, придававший ему издали вид призрака, прошел мимо него и удалился по дороге, где только что проходил Реймон.

«Неумелый шпион!» — подумал Реймон, видя, как тот ищет его следы. — Я обману твою бдительность, и, пока ты будешь сторожить меня здесь, я буду наслаждаться счастьем там».

С легкостью птицы и уверенностью счастливого любовника он перешел мост. Все его страхи рассеялись: Нун больше не существовала, реальная жизнь вступила в свои права. Там была Индиана, она ждала его, — здесь стоял на страже Ральф, желавший преградить ему путь.

— Стой на страже, — весело сказал Реймон, увидя издали, как Ральф ищет его на противоположном берегу. — Стой на страже всю ночь, милейший Рудольф Браун, охраняй мое счастье, любезный друг! И если залают собаки, а слуги поднимут тревогу, успокой их, уйми, скажи им: «Можете мирно спать, я охраняю ваш сон!».

Исчезли все колебания, умолкли упреки совести и голос добродетели. Слишком дорогой ценой купил Реймон наступающий час. Кровь, застывшая в жилах, бурно прилиwała теперь к его разгоряченной голове. Только что перед ним витали призраки смерти, вставали мрачные воспоминания об умершей, — теперь его ждала горячая живая любовь, острые радости жизни. Реймон почувствовал себя юным и бодрым, как бывает утром, когда пробуждаешься от ярких и радостных лучей солнца после тяжелого, сковавшего тебя могильным холодом кошмара.

«Бедный Ральф! — думал он, поднимаясь смелым и легким шагом по потайной лестнице. — Ты сам меня на это толкаешь».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Расставшись с сэром Ральфом, госпожа Дельмар заперлась у себя в спальне; в ее душе поднялась целая буря. Уж не впервые смутные подозрения набрасывали зловещие тени на шаткое здание ее счастья. Как-то в разговоре господин Дельмар позволил себе несколько нескромных шуток — из тех, что обычно принимаются за комплимент. Он так недвусмысленно поздравлял Реймона с его успехами в романтических похождениях, что даже посторонние люди могли догадаться о его любовных интригах. Всякий раз, когда госпоже Дельмар случалось говорить с садовником, тот по самым различным поводам с роковой неизбежностью сводил разговор к Нун, а затем, по какой-то непонятной ассоциации, упоминал имя господина де Рамьера, точно оно было постоянно у него на уме и помимо его воли преследовало его. Госпожу Дельмар удивляли его странные, неуместные вопросы. Садовник путался в словах по малейшему пустяку: казалось, его мучит совесть, и, стараясь это скрыть, он сам себя выдавал.

Замешательство Реймона порою также вызывало в ней тягостные сомнения, и, хотя Индиана не искала доказательств его вины, эти доказательства напрашивались сами собой. Особенно одно обстоятельство могло открыть ей глаза, если бы она намеренно не старалась отогнать от себя всякое подозрение. На пальце Нун нашли очень дорогое кольцо; госпожа Дельмар видела у нее это кольцо незадолго до ее смерти, и Нун сказала, будто бы она нашла его. После смерти Нун госпожа Дельмар постоянно носила его в память о ней и часто замечала, как бледнел Реймон, поднося ее руку к своим губам. Однажды он начал умолять ее никогда не упоминать при нем о Нун, потому что он считает себя виновником ее смерти; а когда она, стараясь снять с его души это тяжкое бремя, стала доказывать, что во всем виновата она одна, он сказал:

— Нет, Индиана, не обвиняйте себя напрасно, вы не знаете, как велика моя вина!..

Эти слова, сказанные с мрачной горечью, испугали госпожу Дельмар. Она не решилась настаивать на разъяснении, и даже теперь

у нее не хватало мужества сопоставить все эти улики и, собрав их воедино, сделать какой-то вывод.

Она открыла окно. Любуясь тихой ночью, бледной, прекрасной луной, сиявшей на небосклоне сквозь серебристую дымку тумана, думая, что сейчас придет Реймон, что он, вероятно, уже в парке, грезя о том счастье, которого она ждала от этого таинственного часа любви, Индиана проклинала Ральфа, отравившего своими словами ее мечту и навсегда нарушившего ее покой. Она даже почувствовала ненависть к этому несчастному человеку, заменившему ей отца и пожертвовавшему ради нее своим будущим. Все его счастье и все его будущее заключались в дружбе Индианы, а он — ради ее спасения — решился потерять эту дружбу.

Индиана не могла прочесть то, что таилось в глубине его сердца, так же как не могла проникнуть и в душу Реймона. Несправедливость ее проистекала от неведения, а не из неблагодарности. Охваченная глубокой страстью, она была не в состоянии спокойно пережить нанесенный ей удар. Одно мгновение она готова была обвинить во всем самого сэра Ральфа, предпочитая скорее очернить его, чем заподозрить Реймона.

Кроме того, у нее было очень мало времени, чтобы разобраться в своих мыслях и принять какое-то решение. Она ждала Реймона с минуты на минуту. Возможно, это он уже блуждает там, возле мостика. Какое отвращение почувствовала бы она к Ральфу, если бы узнала его в этой неясной тени, поминутно исчезающей в тумане и похожей на призрак, что преграждает грешнику вход в Элизиум.

Внезапно ей пришла в голову странная и безумная мысль, одна из тех, какие зарождаются только в уме взволнованных и несчастных людей. Она решила поставить на карту свою судьбу и подвергнуть Реймона необычному и рискованному испытанию, которого тот никак не мог ожидать. Не успела она окончить свои приготовления, как услышала шаги Реймона на потайной лестнице. Открыв ему дверь, она вернулась на прежнее место и поспешила сесть, ибо была настолько взволнована, что едва держалась на ногах; но, как бывало с ней всегда в решительные минуты жизни, она сохраняла ясность суждения и присутствие духа.

Реймон вошел, сгорая от нетерпения снова увидеть свет и вернуться к действительности; он был еще бледен и с трудом

переводил дыхание. Индиана сидела к нему спиной, закутавшись в меховую шубку. По странной случайности, эта же самая шубка была на Нун во время их последнего свидания, когда она выходила встречать его в парк. Не знаю, помните ли вы, что у Реймона тогда на мгновение возникла невероятная мысль: уж не госпожа ли Дельмар эта закутанная в шубку женщина? Теперь, увидев при слабом, мерцающем свете лампы ту же фигуру, печально сидящую в кресле в комнате, куда он не входил после самой страшной ночи в своей жизни, где каждая вещь напоминала ему о прошлом, где все будило в нем тяжкие упреки совести, он невольно отступил и остановился на пороге. Он не мог отвести взгляд от неподвижно сидящей женщины и дрожал, как последний трус, боясь, что, когда она обернется, он увидит посиневшее лицо утопленницы.

Госпожа Дельмар несколько не сомневалась в том впечатлении, какое она производит на Реймона. Она накинула на голову шелковый индийский шарф, небрежно завязав его, как это обычно делают креолки; так всегда повязывалась Нун. Охваченный ужасом, Реймон чуть не лишился чувств, подумав, что его суеверные предположения, видимо, сбылись. Но узнав наконец в сидящей ту женщину, которую он собирался соблазнить, он забыл о той, которую соблазнил, и подошел к Индиане. Она серьезно и задумчиво смотрела на него, и ее пристальный взгляд выражал скорее напряженное внимание, чем нежность; она не сделала ни малейшего движения, чтобы поскорее привлечь его к себе.

Реймон, удивленный такою встречей, приписал ее целомудрию и скромной сдержанности молодой женщины.

Он бросился на колени и воскликнул:

— Любимая, неужели вы боитесь меня?

Но он тут же заметил, что госпожа Дельмар держит что-то в руках и с подчеркнутой торжественностью как бы преподносит ему. Наклонившись, он увидел несколько черных, неровных, по-видимому наспех срезанных прядей, которые Индиана гладила и перебирала.

— Вы узнаете эти волосы? — спросила она, впиваясь в него прозрачными, пронизывающими глазами, горевшими каким-то странным огнем.

Реймон ответил не сразу; он посмотрел на шелковый шарф, покрывавший ее голову, и ему показалось, что он догадался.

— Какая вы нехорошая! — сказал он, взяв волосы из ее рук. — Зачем вы срезали ваши косы? Они были так красивы, и я так любил их.

— Вчера вы спрашивали меня, — ответила она, пытаясь улыбнуться, — могла ли бы я пожертвовать для вас своими волосами?

— О Индиана, — воскликнул Реймон, — ты отлично знаешь, что отныне будешь еще прекраснее в моих глазах! Отдай же мне их, я не буду жалеть о том, что волосы, которыми я ежедневно любовался, не украшают больше твоей головки, — теперь я смогу целовать их постоянно, когда захочу; отдай мне их, я никогда не расстанусь с ними...

Но, взяв в руки волосы и перебирая эти пышные пряди, ниспадавшие почти до самого пола, Реймон почувствовал, что они сухие и жесткие, чего он никогда не замечал, касаясь локонов, обрамлявших чело Индианы. Его охватила нервная дрожь, когда он ощутил холод и тяжесть этих волос, которые, казалось, были срезаны очень давно, когда он заметил, что они уже потеряли свою шелковистость, аромат и жизненное тепло. Тогда он стал рассматривать их более внимательно и не увидел знакомого синеватого отлива, делавшего их похожими по цвету на вороново крыло: волосы были черные, как у негра или индейца, и какие-то мертвенно-тяжелые.

Индиана по-прежнему не сводила с Реймона своих ясных и пронизательных глаз. Он невольно отвел взгляд и увидел открытую шкатулку черного дерева, где лежало еще несколько таких же прядей.

— Это не ваши волосы, — сказал он, сдернув индийский шарф с головы госпожи Дельмар.

Ее волосы были целы и рассыпались во всем своем великолепии по ее плечам. Но она оттолкнула его и снова указала ему на срезанные пряди.

— А эти волосы вам незнакомы? — спросила она. — Разве вы не любовались ими и не ласкали их когда-то? Может быть, сырая ночь виновата в том, что они утратили свой аромат? Неужели вы все забыли и у вас не осталось ни слезинки, ни вздоха сожаления для той, кому принадлежало это кольцо?

Реймон упал в кресло; волосы Нун выскользнули из его дрожащих рук. Столько тяжелых переживаний было ему не под силу.

Он был сангвинического темперамента, кровь его бурно текла по жилам, нервы легко возбуждались. Он задрожал с головы до ног и без сознания упал на пол.

Когда он пришел в себя, госпожа Дельмар, обливаясь слезами, стояла возле него на коленях и молила о прощении, но Реймон почувствовал, что больше не любит ее.

— Вы причинили мне ужасное страдание, — сказал он, — и искупить это страдание не в ваших силах. Вы никогда не вернете мне веру в ваше доброе сердце. Вы только что показали мне, сколько мстительности и жестокости таится в нем. Бедная Нун! Бедная, несчастная девушка! Да, я был виноват перед нею, но не перед вами. Она имела право мне мстить, однако не сделала этого. Она убила себя ради моего будущего и пожертвовала жизнью ради моего спокойствия. Вы, сударыня, не были бы способны на это!.. Отдайте мне ее волосы; они мои и принадлежат мне. Это все, что мне осталось от женщины, которая одна по-настоящему любила меня. Несчастная Нун, ты была достойна иной любви! И это вы, сударыня, упрекаете меня в ее смерти! Вы, кого я так сильно любил, что забыл ее и обрек себя на ужасные угрызения совести. Из-за обещанного вами поцелуя я перешел через реку по тому самому мостику, один, гонимый страхом, преследуемый адскими призраками совершенного преступления. И когда вы убедились, с какой неистовой страстью я люблю вас, вы вонзили ваши женские коготки мне в сердце, чтобы узнать, не осталось ли в нем еще хоть капли крови, готовой пролиться за вас. Ах, когда я променял ее преданную любовь на вашу любовь, любовь жестокую, я был не только безумцем — я был преступником!

Госпожа Дельмар ничего не ответила. Она стояла неподвижно, бледная, с рассыпавшимися по плечам волосами, уставившись в одну точку. Жалость овладела Реймоном. Он взял ее за руку.

— И все же, — продолжал он, — моя любовь к тебе так слепа, что я могу еще забыть все — я чувствую это — и прошлое и настоящее, и преступление, омрачившее мою жизнь, и зло, которое ты мне только что причинила. Люби меня, и я все прощу тебе!

Отчаяние госпожи Дельмар вновь пробудило желание и гордость в сердце ее возлюбленного. Видя, что она так боится потерять его любовь, видя ее смирение и готовность подчиниться в будущем всем его требованиям, чтобы как-нибудь заслужить прощение, он

вспомнил, с какой целью обманул бдительность Ральфа, и понял все преимущества своего положения. Сперва он прикинулся глубоко огорченным и мрачным; он едва отвечал на ласки и слезы Индианы: он хотел, чтобы сердце ее надорвалось от рыданий, чтобы она почувствовала, как ужасно быть покинутой, лишилась бы сил от отчаяния и страха, и теперь, добившись этого, увидя ее у своих ног, в изнеможении ожидающую смертного приговора, он с судорожной яростью схватил ее в объятия и прижал к груди. Она не сопротивилась и, слабая как ребенок, покорно отдавалась его поцелуям. Она была почти без чувств.

Но вдруг, точно очнувшись от сна, она вырвалась из его страстных объятий, убежала на другой конец комнаты, туда, где висел портрет Ральфа, и, как бы прося защиты у этого человека со строгим лицом, чистым лбом и спокойно сжатыми губами, дрожащая, растерянная и охваченная каким-то странным испугом, прижалась к стене. Реймон решил, что его объятия глубоко взволновали ее, что теперь она в его власти и страшится самой себя. Он подбежал к ней, властно взял ее за руку и, отведя от стены, заявил, что пришел с намерением сдержать свое обещание, но ее жестокий поступок освобождает его от всех клятв.

— Теперь я не буду больше ни вашим рабом, ни вашим союзником. Я только мужчина, который страстно вас любит, а вы злая, капризная, жестокая, но прекрасная, соблазнительная и обожаемая женщина, которую я держу в своих объятиях. Ласковыми и задушевными словами вы могли бы сдержать мой пыл; будь вы такой же спокойной и великодушной, как вчера, я оставался бы по-прежнему нежным и покорным. Но вы разожгли во мне страсть, спутали все мысли, довели меня до отчаяния, до бешенства, сделали несчастным, трусом, больным и безумным. Теперь вы должны сделать меня счастливым, иначе я потеряю всякую веру в вас, не в силах буду любить и благословлять вас. Прости меня, Индиана, прости! Если я внушаю тебе страх, ты сама в этом виновата: ты заставила меня так страдать, что я потерял рассудок.

Индиана дрожала всем телом. По своей неопытности она считала, что сопротивление невозможно, и уже готова была уступить ему не из любви, а из страха. Делая слабые попытки вырваться из объятий Реймона, она с отчаянием сказала ему:

— Неужели вы способны прибегнуть к насилию?

Реймон, пораженный тем, что, несмотря на свою физическую слабость, она еще находит в себе нравственные силы сопротивляться, резким движением оттолкнул ее.

— Никогда! — воскликнул он. — Лучше умереть, чем овладеть тобою против твоей воли.

Он бросился к ее ногам и всю изощренность своего ума, заменявшего ему сердце, всю поэзию, какую воображение способно придать страсти, вложил в свою пылкую и обольстительную мольбу. Когда он увидел, что она не уступает, он стал упрекать ее в холодности; сам он относился с насмешкой и презрением к этому избитому приему, и ему было смешно, даже немного стыдно, что он имеет дело с женщиной наивной, способной поверить его словам.

Его упрек задел Индиану за живое гораздо сильнее, чем все романтические восклицания, какими он разукрасил свою речь.

Но внезапно она что-то вспомнила и спросила:

— Реймон, та, что так любила вас... та, о которой мы только что говорили... она, наверное, ни в чем не отказывала вам?

— Ни в чем, — ответил Реймон, выведенный из терпения таким неуместным напоминанием. — Но вместо того чтобы постоянно вспоминать о ней, помоги мне лучше забыть, как сильно она меня любила!

— Послушайте, — задумчиво и серьезно сказала Индиана, — подождите еще немного, мне надо поговорить с вами. Может быть, вы вовсе не так виноваты передо мной, как я думала раньше. Мне было бы отрадно простить вам то, что я считала смертельным оскорблением... Скажите же... когда я вас застала здесь... для кого вы приходили сюда, для нее или для меня?

После минутного колебания Реймон, решив, что ей нетрудно будет узнать правду, а возможно, она уже и знает ее, ответил:

— Для нее.

— Что же, так, пожалуй, и лучше, — грустно сказала она. — Я предпочитаю неверность оскорблению. Будьте откровенны до конца, Реймон. Сколько времени вы находились у меня в спальне до того, как я туда вошла? Помните, что Ральф знает все, и, если бы я захотела спросить его...

— Вам незачем прибегать к доносам сэра Ральфа, сударыня. Я был в вашей комнате с предыдущего вечера.

— И вы провели ночь... здесь?.. Ваше молчание достаточно красноречиво.

Несколько мгновений оба молчали, затем Индиана встала, собираясь что-то сказать, но в эту минуту раздался резкий стук в дверь, от которого она вся похолодела.

Они замерли, затаив дыхание.

Кто-то просунул под дверь записку. На листке, вырванном из записной книжки, было неразборчиво написано карандашом: «Ваш муж здесь. *Ральф*».

— Низкая ложь! — воскликнул Реймон, как только затихли легкие шаги Ральфа. — Сэра Ральфа следует проучить, и я проучу его так...

— Я запрещаю вам это, — сказала Индиана холодным и решительным тоном. — Мой муж вернулся — Ральф никогда не лжет. Мы оба погибли. Было время, когда одна мысль об этом привела бы меня в ужас, сейчас мне это безразлично.

— Тогда, — вскричал с восторгом Реймон, схватив ее в объятия, — раз нам грозит смерть, будь моей! Прости мне все, и пусть в этот решительный миг твоим последним словом будет слово любви, моим последним вздохом — вздох счастья.

— Это ужасное мгновение, требующее от нас такого мужества, могло бы стать самым прекрасным в моей жизни, — воскликнула она, — но вы погубили все!

Во дворе усадьбы раздался стук колес, а затем кто-то нетерпеливой и грубой рукой дернул за колокольчик у ворот замка.

— Узнаю его манеру звонить, — холодно сказала Индиана прислушиваясь. — Ральф не солгал. Но у вас еще есть время бежать, уходите!

— Нет, я не уйду! — воскликнул Реймон. — Я подозреваю подлое предательство и не хочу, чтобы вы одна были его жертвой. Я останусь и буду защищать вас своей грудью.

— Никакого предательства нет... Вы слышите, слуги проснулись, и сейчас откроют ворота. Бегите, деревья сада скроют вас, да и луна еще только всходит. Ни слова больше, идите!

Реймону оставалось только повиноваться; она проводила его до конца лестницы и внимательным взором окинула деревья и цветник. Все было тихо и спокойно. Она долго стояла на последней ступеньке, со страхом прислушиваясь к скрипу его шагов на песке, совсем забыв о приезде мужа. Что ей было до его подозрений и гнева, лишь бы Реймон был вне опасности!

А тот между тем быстро и легко перешел по мостику через реку, добрался до калитки, хотя в волнении не сразу смог открыть ее. Не

успел он очутиться за оградой, как перед ним предстал сэр Ральф и сказал так хладнокровно и спокойно, как если бы их встреча произошла где-нибудь на рауте:

— Будьте любезны вернуть мне ключ. Если его начнут искать и он окажется у меня, то это никого не удивит.

Реймон предпочел бы самое тяжкое оскорбление этой великодушной иронии.

— Я не из тех, кто забывает о настоящей услуге, — сказал он, — но я из тех, кто мстит за оскорбление и наказывает за предательство.

Сэр Ральф не изменился в лице, и голос его по-прежнему был спокоен.

— Мне не нужна ваша благодарность, а ваша месть мне не страшна, — ответил он. — Но сейчас не время для разговоров. Ступайте своей дорогой и подумайте о госпоже Дельмар.

И он исчез.

Эта ночь, полная треволнений, так потрясла все существо Реймона, что в ту минуту он готов был поверить в волшебство. Он добрался до Серей на рассвете и, дрожа как в лихорадке, лег в постель.

А госпожа Дельмар, сохраняя полное спокойствие и самообладание, угощала завтраком мужа и кузена. Она еще не успела обдумать своего положения и действовала под влиянием инстинкта, который подсказывал ей, что надо быть хладнокровной и держать себя в руках. Полковник был мрачен и озабочен. Он был всецело поглощен делами и далек от каких-либо ревнивых подозрений.

К вечеру Реймон пришел в себя и стал размышлять о своем романе. Он чувствовал, что его любовь угасает. Ему нравились препятствия, но он отступал перед неприятностями, а теперь, когда Индиана была вправе упрекать его, он предвидел, что их будет очень много. Наконец он вспомнил, что следовало бы справиться о ней, и послал слугу в Ланьи разведать, что там происходит. Посланный принес ему следующее письмо, переданное госпожой Дельмар:

«Я надеялась, что в эту ночь лишусь жизни или рассудка. На мое несчастье, я сохранила и то и другое; но я не собираюсь жаловаться, я заслужила свои страдания. Я сама захотела этой бурной жизни, и было бы малодушно теперь отступать. Не знаю и не хочу знать, виновны ли вы, — мы никогда больше не будем говорить на эту тему,

хорошо? Для нас обоих это слишком тяжело, и я в последний раз возвращаюсь к этому вопросу.

Вы сказали одно слово, доставившее мне огромную радость. Бедная Нун! Ты теперь на небесах, прости меня; ты больше не страдаешь и не любишь. Ты, может быть, жалеешь меня!.. Вы сказали, Реймон, что принесли мне в жертву эту несчастную, что любили меня больше, нежели ее!.. О, не отрицайте, вы говорили это. Я так хочу вам верить — и я верю, хотя ваше поведение прошлой ночью, ваша настойчивость и безумие могли бы вызвать у меня сомнение в вашем чувстве. Я прощаю вас, — в тот миг вы были очень взволнованы, но теперь у вас было время все обдумать и прийти в себя; ответьте мне: можете ли вы отказаться от такой любви ко мне? Любя вас всей душой, я полагала, что могу внушить вам любовь столь же чистую, как моя. Кроме того, я почти не задумывалась о будущем, не заглядывала вперед, мысль о том, что когда-нибудь, побежденная вашей преданностью, я пожертвую ради вас своим долгом и совестью, не приводила меня в ужас. Но теперь все изменилось. Теперь в своем будущем я вижу страшное сходство с судьбою Нун. О, если вы любите меня не сильнее, чем ее... Я даже боюсь об этом подумать!.. А ведь она была красивее меня, гораздо красивее! Почему вы предпочли меня? Значит, вы любите меня иной и лучшей любовью... Вот что я хотела вам сказать. Вы были ее любовником, но согласны ли вы отказаться от мысли когда-либо стать моим? Если да, я еще могу уважать вас, верить вашему раскаянию, вашей искренности и любви. Если нет, то забудьте меня, мы никогда больше не увидимся. Возможно, я умру с горя, но лучше умереть, чем унизиться до того, чтобы стать только вашей любовницей».

Реймон был озадачен и не знал, что ответить. Ее гордость оскорбила его. Он не мог представить себе, чтобы женщина, сама бросившаяся в его объятия, отказывалась теперь принадлежать ему и могла так холодно рассуждать о причинах своего сопротивления.

«Она не любит меня, — решил он. — У нее черствое сердце и надменный нрав».

С этой минуты вся его любовь к ней пропала. Она уязвила его самолюбие, отняла надежду одержать еще одну победу, лишила его ожидаемых наслаждений. Теперь она значила для Реймона даже меньше, чем значила когда-то Нун! Бедная Индиана! А она мечтала

стать для него всем. Он не оценил ее страстной любви; с презрением отнесся он к ее вере в возможность идеальных отношений. Реймон никогда не понимал ее и потому, конечно, не мог долго любить.

Сильно раздосадованный, он поклялся, что добьется победы. И поклялся уже не из гордости, а из мести. Теперь он думал не о том, чтобы завоевать свое счастье, а о том, чтобы наказать ее за обиду; не о том, чтобы обладать женщиной, а о том, чтобы сломить ее. Он дал себе слово стать любовником Индианы, хотя бы на один день, а затем бросить ее и насладиться ее унижением.

Под влиянием первого впечатления он написал ей следующее письмо:

«Ты хочешь, чтобы я дал тебе обещание... Безумная, как ты можешь желать этого. Я обещаю все, что тебе угодно, так как готов во всем повиноваться тебе. Но если я нарушу свои клятвы, то не буду виноват ни перед богом, ни перед тобой. Если бы ты любила меня, Индиана, то не налагала бы на меня такие жестокие испытания, не подвергала бы риску оказаться клятвопреступником, не стыдилась бы стать моей любовницей; но ты считаешь мои обьятия для себя унижительными...»

Реймон почувствовал, что и его письме сквозит невольная горечь. Он разорвал написанное и, поразмыслив, начал писать снова:

«Вы пишете, что сегодня ночью едва не лишились рассудка. Я же потерял его окончательно. Я был виновен... нет, я был безумен. Забудьте эти часы страдания и бреда. Сейчас я спокоен; я много думал — и я все еще достоин вас... Да благословит тебя бог, ангел, ниспосланный мне небом, за то, что ты спасла меня от самого себя, за то, что указала мне, как следует любить тебя. Приказывай мне, Индиана, я твой раб, ты это знаешь. Я отдал бы жизнь за счастье пробыть час в твоих объятиях, но я готов мучиться всю жизнь за одну твою улыбку. Я буду тебе другом, братом, ничем больше. И если буду страдать, ты этого не узнаешь. Если подле тебя кровь моя закипит, если в груди зажжется пламя страсти, если плаза затуманятся от прикосновения к твоей руке и твой нежный поцелуй, поцелуй сестры, обожжет мне лоб, я смирю волнение в крови, разумом уйму страсть и не позволю себе коснуться тебя губами. Я буду нежен, покорен, буду несчастлив, если для твоего счастья нужны мои страдания, лишь бы увидеть тебя еще раз и услышать от тебя, что ты меня любишь. О,

скажи мне это, верни мне радость и твое доверие! Скажи, когда мы снова увидимся? Я не знаю, чем кончились события этой ночи, почему ты ничего не пишешь об этом и заставляешь меня мучиться неизвестностью? Карл видел, как вы втроем гуляли по парку. Полковник, по его словам, выглядел не то больным, не то грустным, но не раздраженным. Так, значит, Ральф не выдал нас! Станный человек! Но можем ли мы полагаться на его скромность, и как осмелюсь я появиться в Ланьи теперь, когда наша судьба в его руках? И все же я приеду. Если нужно унизиться до мольбы, сломаю свою гордость, пересилю свое отвращение к нему, сделаю все, лишь бы не потерять тебя. Одно твое слово — и я готов обречь себя на какие угодно угрызения совести; ради тебя я согласился бы покинуть даже мать, ради тебя я пошел бы на любое преступление. Ах, Индиана, если бы ты могла понять, как велика моя любовь!»

Перо выпало из рук Реймона; он невероятно устал, он почти засыпал. Тем не менее он перечитал письмо, желая убедиться, насколько ясно выражены его мысли; но от утомления мысли его путались, он ничего не понимал. Он позвонил лакею, велел ему чуть свет ехать в Ланьи и заснул тем глубоким целительным сном, каким спокойно наслаждаются только люди, вполне довольные собой.

Госпожа Дельмар не ложилась; она не чувствовала усталости и писала всю ночь; получив письмо от Реймона, она тут же ответила ему:

«Благодарю вас, Реймон, благодарю! Вы возвращаете мне жизнь и силы. Теперь я могу пойти на все и все вытерпеть, потому что вы любите меня и самые тяжелые испытания не пугают вас. Да, мы снова увидимся, ничто нас не остановит! Пусть Ральф поступает с нашей тайной, как ему заблагорассудится, — я больше ничего не боюсь: ты любишь меня. Даже мой муж мне больше не страшен.

Вы хотите знать, как обстоят наши дела? Вчера я забыла сообщить вам об этом. А между тем они приняли печальный оборот: мы разорены. Стоит вопрос о продаже Ланьи, идет даже разговор об отъезде в колонии... Но что мне до того, я ни о чем не могу сейчас думать. Знаю только одно: мы никогда не расстанемся... Ты поклялся мне в этом, Реймон, — я верю твоему обещанию. Верь же в мое мужество! Ничто меня не испугает, ничто не удержит, мне

предназначено судьбою быть подле тебя, и только смерть может нас разлучить».

— Женская восторженность! — сказал Реймон, комкая письмо. — Романтические проекты и опасные предприятия возбуждают их робкое воображение, как горькие лекарства возбуждают аппетит больного. Я добился своего, она вновь в моей власти, а что касается безумств, которыми она мне угрожает, то мы еще посмотрим!.. Все они таковы, эти легкомысленные и лживые создания, они всегда готовы предпринять невозможное и считают великодушие добродетелью, требующей огласки! Кто бы подумал, прочтя это письмо, что она так скупа на поцелуи и нежности!

В тот же день он поехал в Ланьи. Ральфа там не было. Полковник дружески принял Реймона и очень откровенно беседовал с ним. Желая поговорить обо всем на свободе, он увел его в парк и там сообщил, что окончательно разорен и что завтра будет объявлено о продаже фабрики. Реймон предложил свою помощь, но Дельмар отказался.

— Нет, мой друг, — сказал он, — я и так слишком много страдал оттого, что был обязан своим благосостоянием милости Ральфа. Я все время стремился рассчитаться с ним. Продажа поместья позволит мне уплатить сразу все долги. Правда, у меня ровно ничего не останется, но у меня есть мужество, энергия и умение вести дела. Будущее в наших руках. Однажды я уже сколотил себе небольшое состояние и теперь начну все снова. Я обязан сделать это ради жены: она молода, и я не хочу, чтобы она терпела нужду. У нее есть небольшой дом на острове Бурбон; туда я и намерен уехать и начать там новое дело. Через несколько лет, самое большее лет через десять, я надеюсь снова увидеться с вами...

Реймон пожал руку полковнику. Вера Дельмара в лучшее будущее и то, что он говорил о десяти годах как об одном дне, заставили Реймона внутренне усмехнуться: лысина и изможденный вид полковника достаточно красноречиво говорили о его подорванном здоровье и недолговечности. Тем не менее Реймон притворился, будто разделяет его надежды.

— Я рад слышать, что неудачи не сломили вас, узнаю а этом ваше мужество и ваш отважный характер. А что, госпожа Дельмар так же мужественна, как и вы? Не думаете ли вы, что она будет возражать против вашего намерения покинуть Францию?

— Очень жаль, если это случится, — ответил полковник, — но женщины созданы для того, чтобы повиняться, а не давать советы. Я еще не объявил Индиане своего окончательного решения. Не знаю никого, кроме вас, мой друг, о ком она могла бы пожалеть. И все же предвижу, что начнутся слезы и истерики, хотя бы из духа противоречия... Черт бы побрал всех женщин! Как бы там ни было, я рассчитываю на вас, дорогой Реймон: вы должны образумить мою жену, она верит вам. Повлияйте на нее, чтобы она не плакала, — терпеть не могу слез!

Реймон обещал приехать на следующий день и сообщить госпоже Дельмар о решении ее мужа.

— Вы окажете мне настоящую дружескую услугу, — сказал полковник, — я уведу Ральфа на ферму, чтобы вы могли свободно поговорить с ней.

«Лучше не придумашь», — сказал себе Реймон, удаляясь.

Планы господина Дельмара вполне соответствовали желаниям Реймона: он предвидел, что эта любовь, утратившая для него почти всякий интерес, ничего не даст ему в будущем, кроме неприятностей и забот. Он был очень доволен, что обстоятельства складываются так благоприятно и избавляют его от неизбежных и скучных последствий исчерпанной любовной интриги. Теперь Реймону оставалось только воспользоваться последними минутами возбуждения госпожи Дельмар и предоставить затем своей счастливой звезде оградить его от дальнейших слез и упреков.

Итак, он отправился на следующий день в Ланьи с намерением довести до предела экзальтированность этой несчастной женщины.

— Знаете ли вы, Индиана, — сказал он входя, — какую роль заставляет меня играть ваш муж? В самом деле, странное поручение! Я должен умолять вас уехать на остров Бурбон, уговаривать вас покинуть меня, должен сам разбить свое сердце и жизнь. Как вы думаете, он удачно выбрал себе адвоката?

Но мрачная серьезность госпожи Дельмар несколько сдержала его мрачные излияния.

— Зачем вы мне это говорите? — спросила она. — Вы боитесь, что я послушаюсь уговоров и подчинюсь? Успокойтесь, Реймон, мое решение принято. Две ночи я обдумывала его со всех сторон и знаю, на что иду; знаю, с чем мне придется бороться, чем придется пожертвовать и чем пренебречь. Я готова пройти через это тяжелое испытание. Разве не вы будете моей опорой и руководителем в это время?

Реймон на мгновение испугался ее хладнокровия и почти что поверил ее безумным угрозам; но затем постарался убедить себя, что Индиана не любит его и поступает сейчас так лишь потому, что это соответствует тем пламенным чувствам, о которых она читала в книгах. Чтобы не отстать от своей романтически настроенной возлюбленной, он начал изощряться в страстном красноречии, в патетической импровизации, и ему удалось ввести ее в заблуждение. Но всякому спокойному и беспристрастному зрителю было бы ясно,

что в этой любовной сцене столкнулись притворство и искренность. Преувеличенные чувства и поэтические восторги Реймона казались холодной и жестокой пародией на подлинную любовь Индианы, о которой она так безыскусственно говорила. Он жил умом, она — сердцем.

Реймон все же немного опасался, что она приведет в исполнение свои намерения, если он не сумеет ловко помешать задуманному ею плану сопротивления, и потому убедил ее притвориться покорной и безучастной до того момента, когда можно будет открыто восстать против воли мужа. По его мнению, ей следовало молчать, пока они не покинут Ланьи, чтобы не посвящать в скандал прислугу и избежать нежелательного вмешательства Ральфа.

Но Ральф не оставил своих друзей в несчастье. Напрасно предлагал он им свое состояние, замок Бельрив, доходы, получаемые из Англии, и продажу колониальных плантаций — полковник был непоколебим. Его дружеское расположение к Ральфу исчезло, он больше не хотел быть ему чем-либо обязанным. Будь у Ральфа ум и обходительность Реймона, он, пожалуй, уговорил бы полковника; но, раз высказав с полной ясностью и определенностью свои мысли и чувства, бедный баронет считал, что этим все сделано, и не надеялся, что ему удастся заставить кого-либо переменить свое мнение. Он сдал в аренду свой замок Бельрив и последовал за Дельмаром и его женой в Париж, в ожидании их отъезда на остров Бурбон.

Ланьи было назначено к продаже вместе с фабрикой и всеми угодьями. Зима проходила для госпожи Дельмар скучно и грустно. Правда, Реймон жил в Париже и они виделись ежедневно; он был внимателен, ласков, но оставался у нее не более часа. Он приезжал обычно к концу обеда и, когда полковник уходил по своим делам, Реймон тоже отправлялся куда-нибудь на вечер. Вам уже известно, что великосветское общество было стихией и жизнью Реймона. Толпа, шум и движение были ему необходимы как воздух: он делался остроумным и непринужденным, в полной мере ощущая свое превосходство. В интимном кругу он умел быть любезным и приятным, в свете же становился блестящим. Там он был не просто человек, принадлежащий к определенной компании, приятель того или другого, а гений, талант, который принадлежит всем, для которого общество является отчизной.

Кроме того, у Реймона, как мы уже говорили, были свои принципы. Когда он увидел, что полковник выказывает ему столько дружбы и доверия, считает его образцом порядочности и искренности, делает посредником между собой и женой, он решил оправдать это доверие, заслужить эту дружбу, помирить супругов, отказаться от расположения Индианы, поскольку оно могло нарушить покой ее мужа. Он вновь стал высококонрастным и добродетельным и теперь смотрел на вещи философски. Как долго это продолжалось — увидите сами.

Индиана, не понимавшая происшедшей с ним перемены, невыносимо страдала оттого, что он пренебрегал ею. Однако, к счастью, она даже не отдавала себе полного отчета в крахе своих надежд. Ее легко было обмануть, она сама шла на это: уж слишком тяжела и печальна была для нее действительность. Муж ее становился все более невыносимым. На людях он старался казаться мужественным, беззаботным человеком, который никогда не падает духом, а в семейной жизни превращался в ребенка, раздражительного, смешного и требовательного. Он вымещал на Индиане все свои невзгоды, и, надо признаться, она сама во многом была виновата. Если бы она повысила голос, если бы мягко, но решительно высказала свои обиды, Дельмар, который был только груб, устыдился бы своего поведения, побоявшись прослыть злым человеком. Смягчить его сердце и держать его в руках было очень легко, но для этого надо было опуститься до его уровня и не выходить из круга идей, доступных его пониманию. Индиана же была непреклонна и высокомерна в своем послушании. Она всегда подчинялась молча, но это было молчание и покорность рабыни, считающей свою ненависть добродетелью, а свое несчастье

— заслугой. Ее смирение было подобно смирению короля, готового скорее согласиться на цепи и темницу, чем на отречение от короны и громкого титула. Обыкновенная женщина сумела бы управлять этим заурядным человеком: на словах она соглашалась бы с ним, но оставляла бы за собой право мыслить по-своему; она притворялась бы, что уважает его предрассудки, а втихомолку смеялась бы над ними; она ласкала бы его и одновременно обманывала. Индиана видела, что многие женщины поступают так, но она чувствовала себя настолько выше их, что стыдилась подражать им.

Она была добродетельной и целомудренной и не считала себя обязанной льстить своему властелину на словах, раз она безупречна в своих поступках. Она не желала его нежности, потому что не могла ответить ему взаимностью. В ее глазах было куда большим грехом проявить любовь к нелюбимому мужу, чем отдать ее возлюбленному, вызвавшему в ней это чувство. Обман — вот что было в ее глазах преступлением, и не раз она готова была открыто признаться, что любит Реймона. Только страх потерять его удерживал Индиану от этого шага. Ее надменное повиновение раздражало полковника гораздо больше, чем явный протест. Если бы он перестал быть неограниченным повелителем в собственном доме, его самолюбие было бы, конечно, задето, но он страдал куда сильнее от сознания того, что играет роль ненавистного и смешного деспота. Ему хотелось убедить жену в своей правоте, а на самом деле он только повелевал; хотелось царить, а приходилось покоряться. Иногда он неточно выражал какое-либо приказание или давал необдуманное распоряжение в ущерб собственной выгоде. Госпожа Дельмар выполняла все беспрекословно, безропотно, с равнодушием лошади, влекущей плуг в любом направлении. Дельмар, видя, к чему подчас приводит выполнение его неправильно истолкованных мыслей, плохо понятой воли, приходил в бешенство, но, когда Индиана с ледяным спокойствием указывала ему, что ее поступок точно соответствовал его приказанию, ему не оставалось ничего другого, как пенять на самого себя. Такому человеку, как он, человеку с мелким самолюбием и вспыльчивым нравом, это причиняло невыносимую муку и представлялось кровной обидой.

В такую минуту он мог бы убить свою жену, живи они в Смирне или Каире. И все же в глубине души полковник любил эту слабую женщину, находившуюся в полной зависимости от него и свято хранившую тайны всех его недостатков. Любил ли он ее или только жалел — не знаю. Ему хотелось, чтобы она любила его; он гордился ее образованностью и превосходством над собой. Он вырос бы в собственных глазах, если бы она согласилась пойти на уступки, отказалась от своих взглядов и принципов. Когда он входил к ней утром, собираясь затеять ссору, и заставлял ее спать, он не осмеливался будить ее. Он молча смотрел на нее, его пугала хрупкость жены, бледность ее щек, спокойная грусть и то тихое горестное

смирение, которое отражалось на ее неподвижном, безмолвном лице. Ее вид вызывал в нем бесчисленные упреки, угрызения совести, гнев и боязнь потерять ее; он краснел при мысли о том, какое влияние имело на его судьбу это хрупкое существо, а ведь он был человеком железной воли, он привык повелевать, по одному его слову шли в бой тяжелые эскадроны, ему повиновались и горячие лошади и закаленные в битвах воины.

И вот женщина, почти дитя, причиняла ему столько страданий! Ока заставляла его задумываться над своими поступками, разбираться в своих желаниях, многое менять, от многого отказываться, — и при всем этом она даже ни разу не соблаговолила сказать ему: «Вы неправы; прошу вас, сделайте иначе». Никогда, никогда она ни о чем не просила его, никогда не снисходила до того, чтобы считать его равным себе и признать себя спутницей его жизни. Если бы он захотел, он мог бы одной рукой сломить эту тщедушную женщину, быть может мечтавшую в его присутствии о другом и даже во сне казавшуюся непокорной. Порой ему хотелось задушить ее, схватить за волосы, растоптать, чтобы заставить ее молить о пощаде и прощении. Но она была такая хрупкая, красивая и бледная, что ему становилось жаль ее, как ребенку делается жаль птичку, которую он только что собирался убить. И этот железный человек плакал, плакал, как женщина, и уходил, чтобы не дать ей возможность торжествовать при виде его слез. По правде сказать, я не знаю, кто из них был несчастнее — она или он. Жестокость ее проистекала от добродетели, так же как его доброта — от слабости; у нее было слишком много терпения, тогда как у него терпения не хватало; ее недостатки были следствием ее достоинств, а его достоинства — следствием его недостатков.

Супругов Дельмар, так мало подходивших друг к другу, окружало много людей, пытавшихся их сблизить; одни занимались этим от нечего делать, другие — потому, что любили совать свой нос в чужие дела, третьи — потому, неверно понимали обязанности друга. Одни принимали сторону жены, другие становились на сторону мужа. Эти люди ссорились из-за них, в то время как супруги Дельмар не ссорились никогда: постоянная покорность Индианы лишала полковника возможности затеять с ней ссору. Кроме того, были и такие друзья, которые вообще ни в чем не разбирались, но хотели стать для них необходимыми. Одни советовали госпоже Дельмар

покориться мужу, не замечая того, что она и так слишком покорна; другие советовали мужу ни в чем не уступать жене и не быть у нее под башмаком. Это были люди недалекие, с ущемленным самолюбием и потому всегда опасавшиеся, что им наступят на любимую мозоль; люди такого сорта стоят обычно друг за друга, их можно (встретить повсюду, они вечно толкуются у всех под ногами и много шумят, дабы обратить на себя внимание.

Супруги Дельмар имели особенно много знакомых в Мелэне и Фонтенебло. Они вновь встретились с ними в Париже, и эти люди принялись с жадностью собирать все сплетни и толки, ходившие на их счет. Вы, наверное, знаете, что нигде так не развито злословие, как в провинциальных городках. Хороших людей там не ценят, а человека выдающегося считают заклятым врагом общества. Стоит только кому-либо стать на сторону плупца или грубияна, наши обыватели тут как тут! Если кто затеет ссору, они не преминут явиться, чтобы не пропустить такого зрелища; они держат пари, они наступают вам на ноги — так им хочется все видеть и слышать. Побезденного они забрасывают грязью и осыпают проклятиями: тот, кто слабее других, всегда неправ. Если вы боретесь с предрассудками, мелочностью и пороками, вы этим наносите им личное оскорбление, вы задеваете их святая святых, вы предатель и опасный человек. Вас могут привлечь к суду люди, имени которых вы даже не знаете, а между тем они обвиняют вас в том, что вы именно их имели в виду «в ваших гнусных намеках». Что еще прибавить к этому? Если вам доведется встретиться с таким человеком, упаси вас бог наступить на его тень, даже при последних лучах солнца, когда человеческая тень имеет тридцать футов длины; все пространство, занятое его тенью, принадлежит ему, и вы не имеете права поставить туда ногу; тем, что вы дышите одним с ним воздухом, вы уже наносите ему ущерб, ибо вы вредите его здоровью; если вы пьете из его колодца, колодец от этого высыхает; если вы поддерживаете торговлю в его округе, вы набиваете цену на покупаемые им товары; если вы ему предлагаете табак, вы желаете его отравить; если вы находите его дочь красивой, вы собираетесь ее обольстить; если вы хвалите его добродетельную супругу, вы над ней насмежаетесь, так как в глубине души, несомненно, презираете ее за невежество; если, на свое несчастье, вы скажете ему комплимент, он не поймет вас и будет всюду

рассказывать, что вы его оскорбили. Забирайте ваши пожитки и уходите с ними в глушь лесов или в безлюдные долины. Только там, может быть, провинциальные жители оставят вас в покое.

Даже здесь, в стенах Парижа, провинция продолжала донимать несчастную супружескую чету. Состоятельные семьи Мелэна и Фонтенебло переехали на зиму в столицу и привезли сюда свои милые провинциальные нравы. Эти любезные знакомые сделали все возможное, чтобы окончательно испортить взаимоотношения супругов Дельмар, отчего их несчастье только увеличилось, а обоюдная неуступчивость ничуть не уменьшилась.

Ральф был благоразумен и не вмешивался в их супружеские споры. Госпожа Дельмар одно время подозревала, что он восстанавливал мужа против нее или, во всяком случае, стремился выжить Реймона из их дома. Но вскоре она убедилась в несправедливости своих обвинений. Отношение полковника к господину де Рамьеру, дружелюбное и спокойное, служило неопровержимым доказательством молчания ее кузена. Тогда ей захотелось выразить ему свою признательность; но всякий раз, как они оставались наедине, он старательно избегал каких-либо объяснений. Он уклонялся от ее попыток начать разговор и притворялся, будто не понимает, в чем дело. Это был такой щекотливый вопрос, что госпожа Дельмар не могла решиться заставить Ральфа заговорить на эту тему. Она только постаралась нежными заботами и ласковым вниманием дать ему почувствовать свою благодарность. Но Ральф делал вид, что ничего не замечает, и его гордое великодушие оскорбляло Индиану. Боясь оказаться в роли виноватой женщины, молящей сурового свидетеля о снисхождении, она стала вновь холодна и сдержанна с бедным Ральфом. Она считала, что его поведение при данных обстоятельствах является лишним доказательством его эгоизма и что он хотя и любит ее, но уже не уважает; ее общество доставляло ему удовольствие и было необходимо только потому, что он не хотел лишаться привычной домашней обстановки и ее неустанных забот. В конце концов она решила, что его даже не интересуется, виновата ли она перед мужем и своей совестью.

«Вот в чем сказывается его презрение к женщинам, — думала она. — В его глазах они только домашние животные, обязанность которых поддерживать в доме порядок, готовить еду и разливать чай.

Он не снисходит до того, чтобы обсуждать с ними их действия, их проступки ему безразличны, лишь бы только они не затрагивали его лично и не нарушали его привычек. Ральфу нет дела до моего сердца, ему нужны мои руки, умеющие приготовить его любимый пудинг и играть для него на арфе. Какое ему дело до того, что я люблю другого, что я тайно страдаю, смертельно томлюсь под гнетущим меня ярмом! Я для него просто служанка, и ничего иного он от меня не требует».

Индиана больше ни в чем не упрекала Реймона; он так неудачно оправдывался, что она боялась окончательно убедиться в его вине. Быть покинутой им было для нее еще страшнее, чем быть обманутой. Она не могла отказаться от веры в него и надежды на то будущее, которое он ей обещал. Жизнь в обществе господина Дельмара и Ральфа стала для нее невыносимой, и если бы она не рассчитывала в ближайшее время вырваться из-под власти этих мужчин, она бы утопилась. Нередко она думала о том, что, если Реймон поступит с ней так же, как с Нун, ей, чтобы избежать невыносимой участи, не остается ничего другого, как последовать ее примеру. Эти мрачные мысли неотступно преследовали ее и доставляли ей какую-то горькую отраду.

Тем временем день их отъезда приближался. Полковник, по-видимому, вовсе не ожидал встретить какое-либо сопротивление со стороны жены. Целыми днями он приводил в порядок свои дела, каждый день выплачивал один из долгов. Госпожа Дельмар спокойно наблюдала за всеми его сборами, — она была уверена в себе и своей решимости. Со своей стороны, она так же готовилась к предстоящим трудностям. Прежде всего она постаралась заручиться поддержкой тетки, госпожи де Карвахаль, и призналась ей в своем нежелании уезжать; старая маркиза, рассчитывая на то, что красота ее племянницы будет приманкой для посетителей ее салона, заявила полковнику, что он должен оставить жену во Франции: было бы жестоко подвергать ее опасностям утомительного морского путешествия, поскольку ее здоровье лишь недавно несколько окрепло. Одним словом, полковник пусть едет и наживает себе состояние, а Индиане лучше остаться возле своей старой тетки и ухаживать за ней. Вначале господин Дельмар смотрел на эти намеки как на вздорную болтовню старухи, но ему пришлось отнестись к ним с большим вниманием, когда госпожа де Карвахаль дала ему совершенно ясно понять, что только при таком условии она сделает Индиану своей наследницей. Хотя Дельмар любил деньги, как человек, всю жизнь усердно работавший, чтобы нажить их, тем не менее он отличался

гордым характером и решительно заявил, что жена непременно поедет с ним вместе. Маркиза никак не могла представить себе здравомыслящего человека, для которого деньги были бы не главным в жизни, и потому не сочла этот ответ за окончательное решение Дельмара. Она продолжала поощрять упорство своей племянницы, обещая ей взять на себя ответственность перед обществом за ее поведение. Только такая развращенная постоянными интригами, тщеславная и лицемерная в своем ханжестве женщина могла закрывать глаза на истинные причины, заставлявшие ее племянницу сопротивляться отъезду. Страсть Индианы к господину де Рамьеру оставалась тайной лишь для ее мужа. Но, поскольку она не давала никаких поводов к скандалу, знакомые пока еще втихомолку сплетничали об этом, и госпожа де Карвахаль не раз слышала подобные разговоры. Глупая и тщеславная старуха была в восторге. Ей только того и хотелось, чтобы ее племянница стала «светской львицей», а любовь Реймона служила для этого хорошим началом. Все же госпожа де Карвахаль не была похожа на модниц эпохи Регентства. Реставрация принуждала женщин ее склада к добродетели; при дворе требовалось безупречное поведение, и потому госпожа де Карвахаль больше всего ненавидела скандалы, которые губят репутацию и разоряют людей. Во времена госпожи Дюбарри она держалась бы менее строгих правил, теперь же, при дворе дофины, она стала сугубо чопорной. Но вся эта чопорность была только для виду; госпожа де Карвахаль относилась с негодованием и презрением лишь к проступкам, получавшим огласку, и, прежде чем осудить какую-нибудь интригу, ждала всегда, чем все кончится. Она оправдывала супружеские измены, если они хранились в тайне. В ней просыпалась испанка, когда дело касалось любовных интриг, происходивших за закрытыми ставнями, и виновными в ее глазах были только те, кто не умел скрыть своего увлечения от глаз любопытной толпы. Индиана — женщина страстная и вместе с тем целомудренная, влюбленная и вместе с тем сдержанная — представляла большой интерес для госпожи де Карвахаль, ею стоило заняться. Женщина, подобная ей, могла бы при желании покорить наиболее влиятельных людей в этом лицемерном обществе и справиться с любым щекотливым поручением. Маркиза рассчитывала извлечь пользу из ее душевной чистоты и пылкого воображения. Бедная Индиана! К

счастью, судьба, разрушив надежды госпожи де Карвахаль, увлекла Индиану на путь страданий, и, таким образом, она избежала опасного покровительства своей тетки.

Реймона вовсе не интересовало, как сложится в дальнейшем судьба Индианы. Эта любовная история в высшей степени тяготила его, она вызывала в нем скуку. А когда человек скучает в присутствии любимой — это значит, что она утратила для него всякий интерес и значение. Но Индиана, к счастью, еще доживала последние дни своих иллюзий и ни о чем не догадывалась.

Однажды, возвратившись на рассвете с бала, Реймон застал у себя в спальне госпожу Дельмар. Она пришла сюда в полночь и уже целых пять часов ждала его. Стояли самые холодные дни года. Она сидела у потухшего камина, подперев голову рукой, страдая от холода и беспокойства с тем мрачным терпением, к которому приучила ее жизнь. При его появлении она подняла голову, и окаменевший от изумления Реймон не прочел на ее бледном лице ни досады, ни упрека.

— Я жду вас, — сказала она кротко. — Я не видала вас уже три дня, за это время произошли события, о которых вам необходимо поскорее узнать, и потому я ушла из дому вчера вечером, чтобы сообщить вам о них.

— Какая неслыханная неосторожность! — сказал Реймон, старательно закрывая за собой дверь. — Мои слуги знают, что вы здесь, мне только что доложили о вас.

— Я и не собиралась прятаться, — ответила она холодно, — и ваше слово «неосторожность» неуместно.

— Я сказал «неосторожность», а следовало бы сказать — «безумие»!

— А я сказала бы — мужество! Но неважно, слушайте. Господин Дельмар собирается через три дня ехать в Бордо и оттуда в колонии. Мы с вами условились, что вы оградите меня от насилия, если он к нему прибегнет. Вне всякого сомнения, так оно и будет, потому что, когда я вчера вечером сказала ему о своем решении, он запер меня на замок. Я вылезла в окно; видите, у меня руки в крови. Сейчас меня, вероятно, разыскивают, но Ральф в Бельриве и не может сказать, где я. Я решила скрываться до тех пор, пока господин Дельмар не смирится с необходимостью оставить меня в покое. Подумали ли вы о том, где

приготовить для меня убежище и как устроить мой побег? Я так давно не виделась с вами наедине, что не знаю, каковы теперь ваши намерения. Однажды, когда я выразила сомнение в вашей решимости, вы ответили, что не понимаете любви без доверия; вы указали на то, что сами никогда не сомневались во мне, и дали мне понять, что я несправедлива к вам; вы всячески старались доказать, что я неправа, — и тогда, побоявшись оказаться недостойной вас, я отбросила все свои ребяческие подозрения и не стала предъявлять те чисто женские требования, которые так опошляют любовь. Я не жаловалась на то, что вы уделяли мне мало внимания, что мы не имели возможности поговорить наедине, что вы старательно избегали каких-либо объяснений со мною, — я продолжала верить вам. Бог мне свидетель: когда беспокойство и страх терзали мое сердце, я гнала от себя прочь эти мысли, считая их преступными. Пришло время, и я хочу получить награду за мое доверие. Скажите, принимаете ли вы мою жертву?

Наступила решающая минута: Реймон почувствовал, что не в силах долее притворяться. Он пришел в ярость от сознания, что попался в собственные сети, и, потеряв над собою власть, разразился ругательствами и проклятиями.

— Вы с ума сошли! — воскликнул он, бросаясь в кресло. — О какой любви вы мечтаете? По какому роману, написанному для горничных, изучали вы нравы общества, скажите на милость?

Он остановился, испугавшись, что зашел слишком далеко, и мысленно подыскивая другие, более мягкие выражения, для того, чтобы высказать ей свое мнение и отделаться от нее без лишних оскорблений.

Но она была спокойна, как человек, готовый все выслушать.

— Продолжайте, — сказала она, скрестив на груди руки и чувствуя, как сердце ее замирает, — я слушаю вас. Вы, наверно, еще многое можете мне сказать.

«Придется еще раз призвать на помощь свою фантазию и разыграть еще одну любовную сцену», — подумал Реймон и с живостью вскочил.

— Никогда, никогда я не приму такой жертвы! Когда я уверял тебя, что у меня хватит на это сил, я хвастался, Индиана, или, вернее, я клеветал на себя, ибо только подлец может пойти на то, чтобы

обесчестить любимую женщину. Плохо зная жизнь, ты не поняла всей опасности подобного плана, а я, боясь потерять тебя, не хотел об этом думать...

— Зато сейчас вы все прекрасно обдумали! — сказала она, отнимая у него руку, которую он попытался было взять.

— Индиана, — возразил он, — неужели ты не видишь, что своим героизмом ты толкаешь меня на бесчестный поступок и осуждаешь за то, что я хочу остаться достойным твоей любви? Сможешь ли ты любить меня, ответь мне, наивная и неопытная женщина, если я принесу в жертву своему наслаждению и тебя и твою репутацию?..

— Вы противоречите сами себе, — сказала Индиана. — Если я буду с вами и дам вам счастье, то что вам за дело до мнения окружающих? Разве оно дороже для вас, чем я?

— Ах, не ради себя я дорожу им, Индиана!..

— Значит, ради меня? Я предвидела ваши сомнения и, чтобы избавить вас от угрызений совести, решила действовать сама. Я не стала дожидаться, пока вы увезете меня от мужа, я даже не посоветовалась с вами, перед тем как навсегда покинуть свой дом. Решительный шаг сделан, и вам не в чем упрекать себя. Я уже обещана, Реймон. В ваше отсутствие я считала часы, проведенные здесь, часы, отмечавшие мой позор, и хотя сегодня я так же невинна и чиста, как вчера, в глазах света я уже погибшая женщина. Вчера я еще могла встретить сочувствие в сердцах людей; сегодня я найду в них только одно презрение. Я все это взвесила, прежде чем действовать.

«Несносная женская предусмотрительность!» — подумал Реймон.

И тут он стал убеждать ее, словно перед ним находился судебный исполнитель, пришедший описывать его имущество.

— Вы преувеличиваете значение вашего поступка, — сказал он ласковым и отеческим тоном. — Нет, мой друг, далеко не все еще потеряно, хоть вы и поступили безрассудно. Я прикажу своим слугам молчать...

— Но вы не можете приказать молчать моим слугам; они, вероятно, крайне обеспокоены и повсюду ищут меня сейчас. А муж? Неужели вы думаете, что он способен сохранить мою тайну? Неужели вы думаете, что он захочет принять меня, после того как я провела ночь под одной крышей с вами? Может быть, вы посоветуете мне

вернуться к нему, броситься к его ногам и умолять, как о милости, снова надеть на меня цепи, разбившие мою жизнь и загубившие мою молодость? Неужели вы без сожаления согласитесь, чтобы женщина, страстно вами любимая, вновь оказалась во власти другого, когда вы вольны распоряжаться ее судьбой и можете оставить ее у себя на всю жизнь, когда она здесь, в ваших объятиях, и не хочет расставаться с вами? Неужели вам не тяжело и не страшно вернуть ее неумолимому властелину, который, быть может, ждет ее только для того, чтобы убить?

Внезапная мысль блеснула в мозгу Реймона. Настала подходящая минута сломить наконец гордость этой женщины; такая минута могла больше не повториться. Она пришла к нему, готовая на все жертвы — жертвы, ему ненужные, — и стояла перед ним в гордой уверенности, что не подвергается никаким другим опасностям, кроме тех, какие заранее предвидела. Реймон придумывал способ, как бы отделаться от ее непрощенной самоотверженности или по крайней мере извлечь из этого какую-то пользу. Он считал себя другом господина Дельмара и слишком ценил его доверие, чтобы похитить его жену; поэтому он решил только соблазнить ее.

— Ты права, моя Индиана, — с жаром воскликнул он, — ты снова делаешь меня прежним, ты пробуждаешь во мне восторги, остывшие лишь потому, что я думал о предстоящих опасностях и боялся повредить тебе. Прости мою излишнюю осторожность, пойми, сколько в ней нежности и настоящей любви. Но твой чарующий голос воспаляет мою кровь, твои пылкие слова зажигают огонь в моих жилах. Прости, прости меня, что сейчас, когда ты принадлежишь мне, я мог думать о чем-нибудь другом, кроме этого блаженного мгновения. Дай мне забыть обо всех грозящих нам опасностях и позволь на коленях благодарить тебя за счастье, дарованное тобою. Позволь мне полностью отдаться сладостному мгновению, которое я могу провести у твоих ног, — даже ценою моей жизни я не смогу оплатить его. Пусть придет и попробует вырвать тебя из моих объятий твой плутовый муж, который запирает тебя на замок, а потом спокойно спит после своей грубой выходки. Пусть попробует отнять у меня тебя, тебя — мое сокровище, мою жизнь! Отныне ты больше ему не принадлежишь: ты моя возлюбленная, моя подруга, моя любовница!..

Реймон постепенно вдохновлялся собственными словами, как это бывало с ним обычно, когда он старался уверить кого-нибудь в своей страсти. Положение становилось напряженным, романтическим, полным опасности. Как истый потомок благородных рыцарей, Реймон любил опасность. В каждом шуме, раздававшемся на улице, ему чудились шаги мужа, пришедшего за своей женой и жаждущего крови соперника. Искать любовных радостей среди возбуждающих волнений столь драматических обстоятельств было по душе Реймону. В продолжение четверти часа он страстно любил госпожу Дельмар. Он расточал перед ней все чары своего пламенного красноречия. Речи его звучали убедительно, он был искренен в своей игре; этот человек с пылким воображением смотрел на любовь как на искусство, украшающее жизнь. Он так хорошо разыгрывал страсть, что начинал сам в нее верить. Позор этой глупой женщине! Она с восторгом внимала его лживым уверениям, чувствовала себя счастливой и расцветала от радости и надежды. Она все простила и была готова отдаться ему.

Однако Реймон сам все погубил излишней поспешностью. Если бы он сумел удержать Индиану хотя бы сутки в том положении, в какое она попала, придя к нему, он, может быть, овладел бы ею. Но занимался день, яркий и солнечный, он заливал светом всю комнату, шум на улице с каждым мгновением все возрастал. Реймон взглянул на часы, было уже семь утра.

«Пора кончать эту канитель, — подумал он, — с минуты на минуту может явиться Дельмар, необходимо до этого убедить ее добровольно вернуться домой».

Он стал более настойчив и менее нежен. Его губы побледнели от страсти и нетерпения, а поцелуи делались все более настойчивыми и ожесточенными. Индиане стало страшно. Какой-то добрый гений, казалось, распростер свои крылья над ее трепещущей и смятенной душой. Она очнулась и вновь обрела силы для борьбы с холодным и эгоистичным пороком.

— Оставьте меня, я не хочу уступать вам из слабости, я хотела бы отдаться вам из любви или из благодарности. Вам не нужны доказательства моего чувства; то, что я здесь, достаточно ясно говорит об этом, а впереди нас ждет целая жизнь. Но позвольте мне сохранить

мою совесть чистой, чтобы быть твердой и спокойной в борьбе с тяжелыми препятствиями, которые все еще разъединяют нас.

— О чем вы говорите? — гневно воскликнул Реймон, не слушавший ее и возмущенный ее сопротивлением.

Потеряв окончательно голову от раздражения и досады, он грубо оттолкнул ее и в ярости принялся ходить по комнате; дыхание с трудом вырывалось у него из груди, голова горела; он схватил графин и залпом выпил стакан воды. Это сразу успокоило его и охладило его страсть. Иронически посмотрев на нее, он сказал:

— Итак, сударыня, вам пора уходить.

Эти слова открыли наконец глаза Индиане и обнажили перед ней всю душу Реймона.

— Вы правы, — сказала она и направилась к двери.

— Не забудьте ваше манто и боа, — прибавил он, останавливая ее.

— Ах да, эти следы моего присутствия могут скомпрометировать вас, — ответила она.

— Какое вы еще дитя! — сказал он вкрадчивым тоном, заботливо, словно ребенка, укутывая ее. — Вы прекрасно знаете, что я люблю вас, но вам доставляет удовольствие мучить меня и сводить с ума. Подождите, я сейчас вызову карету. Я проводил бы вас до дому, но это значило бы погубить вас.

— Так вы считаете, что я еще не погубила себя? — спросила она с горечью.

— Нет, дорогая, — ответил Реймон, жаждавший теперь только одного — чтобы она поскорее оставила его в покое. — Вашего отсутствия, по-видимому, не заметили, раз никто сюда за вами не пришел. Хотя меня заподозрили бы, вероятно, в последнюю очередь, все же естественно, что вас начнут разыскивать по всем знакомым. Кроме того, вы можете искать защиты у своей тетки, — это, по-моему, было бы самым лучшим: она сумеет все уладить. Вам поверят, что вы провели ночь у нее.

Госпожа Дельмар не слушала его; бессмысленным взглядом смотрела она на яркое, красное солнце, поднимавшееся над блестящими от его лучей крышами. Реймон хотел оторвать ее от этого зрелища. Она перевела на него глаза, но, казалось, не узнала его.

Смертельная бледность покрывала ее щеки, а сухие губы были судорожно сжаты.

Реймон испугался. Он вспомнил о самоубийстве Нун и в ужасе, не зная, что предпринять, боясь оказаться вторично преступником и вместе с тем чувствуя, что изобретательность его иссякла и ему не удастся больше обмануть Индиану, осторожно усадил ее в кресло, запер за собою дверь и прошел на половину матери.

Госпожа де Рамьер уже не спала; привыкнув в эмиграции к деятельной и трудолюбивой жизни, она приобрела обыкновение рано вставать и не рассталась с этой привычкой и теперь, когда снова стала богатой.

Увидев бледного, взволнованного Реймона, вошедшего к ней рано утром во фраке, она поняла, что он снова попал в затруднительное положение, как это нередко случалось с ним на протяжении его бурной жизни. В таких случаях она всегда являлась его опорой и спасением и в своем материнском сердце болезненно и глубоко переживала все его тревожения. Ей не легко дались удачи и успехи Реймона, они сильно отразились на ее здоровье. Характер ее сына — неистовый и в то же время холодный, страстный и тем не менее рассудочный — был плодом ее неистощимой любви и всепрощающей нежности. С другой, менее любящей матерью он был бы лучше, но она приучила его принимать все ее жертвы и извлекать из них пользу. Благодаря ей он привык желать и добиваться своего благополучия так же страстно, как она добивалась его для сына. Считая себя созданной для того, чтобы ограждать его от всяких огорчений и приносить ему в жертву свои личные интересы, она приучила его думать, что весь мир существует только для него и что стоит ему сказать ей слово, как все должно быть к его услугам. Своим материнским самоотречением она достигла только одного — вырастила из него бездушного эгоиста.

Бедная мать побледнела и, приподнявшись на кровати, с беспокойством посмотрела на Реймона. Ее взгляд говорил: «Что я могу для тебя сделать, куда должна бежать?».

— Матушка, — сказал он, беря ее за прозрачную сухую руку, — я ужасно несчастен и нуждаюсь в вашей помощи. Облегчите мои страдания. Вы знаете, что я люблю госпожу Дельмар...

— Нет, я не знала этого, — сказала госпожа де Рамьер тоном нежного упрека.

— Не отрицайте, дорогая матушка, — сказал Реймон, дороживший каждым мгновением, — вы это знали, и только ваша исключительная деликатность помешала вам Первой заговорить со

мною об этом. Так вот, эта женщина приводит меня в отчаяние, я теряю голову.

— Говори все, — сказала госпожа де Рамьер с юношеской живостью, которая пробуждалась в ней под влиянием горячей материнской любви.

— Не буду ничего скрывать, тем более что на этот раз я ни в чем не виноват. Уже несколько месяцев я пытаюсь успокоить ее пылкую головку и вернуть ее на путь истинный. Но все мои старания только сильнее разжигают в ней жажду опасности и потребность в приключениях, присущую женщинам ее родины. Сейчас, когда я разговариваю с вами, она находится здесь, у меня в спальне, куда пришла без моего ведома, и я не знаю, как убедить ее уйти.

— Несчастное дитя! — воскликнула госпожа де Рамьер, поспешно одеваясь.

— Это при ее-то застенчивости и скромности! Я пойду и поговорю с ней. Ты об этом пришел просить меня, не правда ли?

— Да, да! — сказал Реймон, растроганный нежностью матери. — Пойдите к ней и уговорите ее быть благоразумной. Она, конечно, прислушается к голосу добродетели, поддастся, может быть, вашим ласковым увещаниям, возьмет себя в руки. Несчастливая, она так страдает!..

Реймон бросился в кресло и разразился слезами — так он был потрясен всеми пережитыми за это утро волнениями. Мать плакала вместе с ним, и только дав ему выпить успокоительных капель, она наконец решила оставить его.

Когда госпожа де Рамьер вошла к Индиане, та встретила ее спокойно и с достоинством; на лице ее не видно было слез. Госпожа де Рамьер не ожидала такого самообладания и невольно смутилась, словно совершила бестактность, зайдя в спальню к сыну и застав там Индиану.

Под влиянием большой симпатии и искренней сердечности она ласково протянула ей руки. Госпожа Дельмар бросилась к ней. Ее отчаяние вылилось в горьких рыданиях, и обе женщины долго плакали в объятиях друг друга.

Но когда госпожа де Рамьер попыталась что-то сказать, Индиана остановила ее.

— Не говорите ничего, — прервала она ее, вытирая слезы. — Вы не найдете такого слова, которое не причинило бы мне боли. Ваше сочувствие и ласка ясно доказывают мне ваше доброе отношение и облегчают мои страдания, насколько это вообще возможно. Я уйду. Вам не надо убеждать меня — я сама прекрасно понимаю, что мне следует делать.

— Я пришла к вам не для того, чтобы уговаривать вас уйти, а для того, чтобы утешить, — ответила госпожа де Рамьер.

— Меня нельзя утешить, — возразила Индиана, целуя ее. — Любите меня, это поддержит меня немного, но не говорите мне ни о чем. Прощайте! Вы верите в бога — помолитесь за меня!

— Нет, я не пушу вас одну, — воскликнула госпожа де Рамьер. — Я сама отвезу вас к вашему мужу, чтобы оправдать и защитить вас.

— О, как вы великодушны, — сказала Индиана, прижимая ее к своей груди,

— но это невозможно. Вы единственная, кто не знал тайны Реймона; сегодня вечером о ней будет говорить весь Париж, и ваше участие в этой истории скомпрометирует вас. Предоставьте мне одной перенести все последствия скандала, — страдать мне придется недолго.

— Что вы хотите этим сказать? Неужели вы пойдете на преступление и лишите себя жизни? Дитя мое, разве вы не верите в бога?

— Верю и поэтому через три дня уеду на остров Бурбон.

— Позволь мне как матери обнять и благословить тебя, моя дорогая! Бог вознаградит тебя за твоё мужество...

— Я уповаю на него, — сказала Индиана, подняв глаза к небу.

Госпожа де Рамьер хотела было послать за каретой, но Индиана воспротивилась этому. Она пожелала вернуться домой одна и тайком. Напрасно мать Реймона, видя, как она слаба и подавлена горем, отговаривала ее, боясь, что у нее не хватит сил пройти пешком такой длинный путь.

— Не бойтесь, — ответила она, — одного слова Реймона было достаточно, чтобы вернуть мне силы.

Закутавшись в мантию и опустив на лицо черную кружевную вуаль, она вышла из дома потайным ходом, указанным ей госпожой де Рамьер, и на улице с первых же шагов почувствовала, что у нее

подкашиваются ноги. Ей казалось, что разгневанный муж уже хватает ее своей грубой рукой, бросает наземь и топчет в грязи. Но скоро уличный шум, беспечные лица прохожих и холодный утренний воздух вернули ей силы и спокойствие, хотя это было спокойствие и решимость отчаяния, — то затишье перед бурей, которого опытные моряки опасаются больше, чем самой бури. Она прошла по набережной от Института до Законодательного корпуса, но, вместо того чтобы перейти мост, продолжала машинально идти вдоль реки в каком-то бессмысленном и тупом оцепенении.

Она не заметила, как очутилась у самой воды; льдины с сухим и холодным треском разбивались о прибрежные камни у ее ног. Зеленоватая вода неотразимо влекла к себе Индиану. Можно привыкнуть к самым страшным мыслям и, раз допустив их, находить в них даже известное удовольствие. Уже давно возможность последовать примеру Нун успокаивала Индиану в часы отчаяния. Самоубийство стало для нее каким-то сладостным искушением, только мысль о том, что это грех, останавливала ее. Но в этот миг ни одной ясной мысли не было больше в ее опустошенном сознании. Она не помнила ни о боге, ни о Реймоне, а инстинктивно, словно в каком-то гипнозе, подходила все ближе к реке.

Почувствовав ледящий холод воды, коснувшейся уже ее ног, она, как лунатик, очнулась от забытья и огляделась кругом, стараясь понять, где она; позади нее находился Париж, а у ног ее текла Сена, и на маслянистой поверхности реки отражались белые фасады домов и серое небо. Непрерывное течение воды и неподвижность земли смешались в ее представлении, и ей стало казаться, будто вода стоит неподвижно, а земля убегает у нее из-под ног. У Индианы закружилась голова, она прислонилась к стене, потом, как зачарованная, медленно шагнула к воде, принимая ее за твердую почву. Внезапно она услышала лай собаки, которая, подбежав, вдруг запрыгала вокруг нее, и она остановилась. В ту же минуту привлеченный лаем собаки мужчина схватил Индиану на руки и, отнеся ее подальше от воды, положил в развалившуюся лодку, брошенную на берегу. Индиана смотрела ему в лицо и не узнавала. Он опустился на землю у ее ног, завернул в свой плащ, взял ее руки в свои, пытаясь согреть их, и назвал по имени. Но она была слишком

слаба, чтобы сделать над собой какое-либо усилие. Уже двое суток она ничего не ела.

Однако, немного согревшись, она узнала Ральфа, стоявшего перед ней на коленях. Он держал ее руки в своих и с тревогой смотрел ей в глаза, ожидая, когда к ней вернется сознание.

— Вы встретили Нун? — спросила его Индиана. Затем, все еще находясь под влиянием своей неотвязной думы, она добавила: — Я видела, как Нун проходила по этой дороге. — И она указала рукой на реку. — Я хотела пойти за ней, но она шла слишком быстро, и у меня не хватило сил догнать ее. Это был какой-то кошмар.

Ральф с отчаянием смотрел на Индиану. Он тоже чувствовал, что голова его идет кругом и мысли путаются.

— Уйдем отсюда, — сказал он.

— Уйдем, — согласилась она. — Но сначала найдите мои ноги, я потеряла их там, на камнях.

Ральф увидел, что нога у нее совсем промокла и окоченела. Он взял Индиану на руки и отнес в один из соседних домов, где гостеприимная хозяйка приютила ее, пока она окончательно не пришла в себя. Тем временем Ральф поспешил сообщить господину Дельмару, что его жена нашлась, но, когда посланный пришел, того не оказалось дома. Полковник продолжал свои поиски, он дошел до предела беспокойства и гнева. Ральф был более сообразителен и успел уже побывать у господина де Рамьера. Тот только что лег в постель и встретил Ральфа холодно и насмешливо. Тогда Ральф, вспомнив о смерти Нун, направился к реке и пошел вдоль берега, а слугу послал разыскивать Индиану тоже вдоль берега, но в противоположном направлении. Офелия быстро нашла след хозяйки и привела Ральфа к тому месту, где он ее и нашел. Постепенно Индиана припомнила все, что случилось в эту злополучную ночь, но напрасно пыталась восстановить в памяти те минуты, когда она находилась в каком-то лихорадочном бреду. Она никак не могла объяснить своему кузену, какие мысли владели ею час тому назад. Но Ральф, не спрашивал, понял сам, в каком она была состоянии. Взяв ее за руку, он сказал ласковым и вместе с тем торжественным тоном:

— Кузина, вы должны дать мне одно обещание, — это будет последним доказательством вашей дружбы, больше я ничем не буду докучать вам.

— Говорите, — ответила она, — сделать что-нибудь для вас — единственная радость, которая мне осталась.

— Поклянитесь, — продолжал Ральф, — что вы никогда больше не будете пытаться лишить себя жизни, не предупредив меня. Со своей стороны, клянусь вам честью, что не буду препятствовать вам в этом. Прошу вас только заранее предупредить меня: вы ведь знаете, что я отношусь равнодушно к смерти и мне самому не раз приходили в голову подобные мысли...

— Почему вы говорите мне о самоубийстве? — спросила его госпожа Дельмар. — Я не собиралась кончать самоубийством. Я считаю это грехом, не то бы...

— Только что, Индиана, когда я схватил вас за руки, а это преданное животное, — он погладил Офелию, — удержало вас за платье, вы, забыв о боге, обо всем на свете и о вашем кузене Ральфе тоже...

Слезы навернулись на глаза Индианы, и она сжала руку сэра Ральфа.

— Зачем вы остановили меня? — печально спросила она. — Я была бы теперь на небе, — ведь я не совершила бы греха, так как не сознавала, что делаю.

— Я это видел, но считаю, что самоубийство должно быть результатом обдуманного решения. Если вам будет угодно, мы еще поговорим на эту тему.

Индиана вздрогнула: карета, в которой они ехали, остановилась перед их домом, где ей предстояло встретиться с мужем. У нее не было сил подняться по лестнице, и Ральф на руках отнес ее в спальню. Всю свою прислугу они рассчитали; осталась одна служанка, ушедшая посудачить с соседкой об исчезновении своей хозяйки, да Лельевр, который, не зная, что предпринять, отправился в морг осматривать доставленные в это утро трупы. Ральф не отходил от госпожи Дельмар, так как она все еще сильно страдала. Резкий звонок возвестил о том, что вернулся полковник. Дрожь ужаса и ненависти охватила все существо Индианы; она судорожно уцепилась за руку своего кузена.

— Послушайте, Ральф, — сказала она, — если у вас есть хоть капля любви ко мне, избавьте меня от присутствия этого человека, — я в таком состоянии, что не могу его видеть. Я не хочу, чтобы он жалел

меня, я предпочитаю его гнев состраданию. Не открывайте дверь или отошлите его. Скажите, что меня не нашли.

Губы ее дрожали, она крепко держала Ральфа за руку и не отпускала его. Бедный баронет, терзаемый двумя противоположными чувствами, не знал, на что решиться. Дельмар с такой силой дергал звонок, что каждую минуту мог оборвать его, а Индиана была почти без чувств от волнения.

— Вы думаете только о его гневе, — воскликнул наконец Ральф, — и совсем не думаете о его волнении и беспокойстве. Вы почему-то считаете, что он ненавидит вас... Если бы вы видели, в каком горе он был сегодня утром!

Индиана в изнеможении опустила руки, и Ральф пошел открывать дверь.

— Она здесь! — закричал полковник входя. — Черт знает что такое! Я весь город обегал, разыскивая ее. Премного ей благодарен за такое чудесное времяпрепровождение! Будь она проклята, не хочу ее видеть, я способен убить ее.

— Вы не думаете о том, что она вас слышит, — шепотом сказал Ральф. — Она в таком состоянии, что не в силах вынести никакого волнения. Возьмите себя в руки.

— Будь она трижды проклята! — завопил полковник. — Я не так еще волновался из-за нее все сегодняшнее утро! Мое счастье, что у меня нервы как канаты! Кто из нас, скажите на милость, больше оскорблен, больше устал и действительно болен — она или я? Где вы ее нашли, и что она делала? Из-за нее я поссорился с этой безумной старухой Карвахаль, которая давала уклончивые ответы и винила меня в милой проделке своей племянницы... Черт побери, как я измучен!

Проговорив все это хриплым и грубым голосом, Дельмар сел на стул в передней и вытер лоб, покрытый потом, несмотря на холодное время года. Пересыпая свою речь проклятиями, он начал жаловаться на усталость, волнения и муки; он задавал тысячи вопросов, но, к счастью, не слушал ответов, потому что бедный Ральф совсем не умел лгать и не мог ничего придумать, чем бы успокоить полковника. Он сидел за столом, невозмутимый и молчаливый, как если бы горе этих двух людей его вовсе не касалось, а между тем, вероятно, страдал больше, чем они сами.

Госпожа Дельмар, услышав брань мужа, почувствовала, что у нее больше мужества, чем она думала. Его гнев оправдывал ее в собственных глазах, тогда как великодушие вызвало бы угрызения совести. Она вытерла слезы и собрала последние остатки сил, не думая о том, что они могут ей еще понадобиться, — настолько опротивела ей жизнь. Муж подошел к ней с непреклонным и суровым видом, но ее самообладание смутило его, — он почувствовал, что она сильнее его, и изменил тон и выражение лица. Он попробовал было вести себя с таким же холодным достоинством, как она, но это ему не удалось.

— Не соблаговолите ли вы, сударыня, сообщить мне, где вы провели утро, а может быть, и ночь? — спросил он.

Из этого «может быть» госпожа Дельмар поняла, что ее отсутствие было замечено довольно поздно, и она почувствовала себя немного увереннее.

— Нет, сударь, — ответила она, — я совсем не намерена сообщать вам об этом.

Дельмар позеленел от злости и изумления.

— Неужели вы надеетесь все скрыть от меня? — сказал он дрожащим голосом.

— Не собираюсь, — ледяным тоном ответила она. — Я отказываюсь отвечать исключительно из принципа. Я хочу доказать вам, что вы не имеете права задавать мне такие вопросы.

— Не имею права, черт вас побери! Кто же здесь хозяин — вы или я? Кто из нас ходит в юбке и должен подчиняться? Вы хотите меня сделать бабой? Ничего не выйдет, голубушка!

— Я знаю, что я раба, а вы мой хозяин. По закону этой страны — вы мой властелин. Вы можете связать меня по рукам и ногам, посадить на цепь, распорядиться моими действиями. Вы пользуетесь правом сильного, и общество на вашей стороне. Но моей воли вам не поработить, сударь, один только бог властен над нею. Попробуйте найти закон, тюрьму или орудие пытки, чтобы овладеть моей душой. Это так же невозможно, как ощупать воздух или схватить пустое пространство.

— Замолчите, глупая и дерзкая женщина! Ваши изречения, взятые из романов, нам всем надоели.

— Вы можете приказать мне молчать, но не помешаете думать.

— Дурацкая гордость, спесь ничтожного червяка! Вы злоупотребляете жалостью, которую вызываете к себе. Но вы скоро увидите, что можно без особого труда усмирить ваш «сильный характер».

— Не советую даже пробовать. Ваш покой пострадает, а мужское достоинство ничего не выиграет.

— Вы так полагаете? — спросил он, с силой сжимая ее руку.

— Полагаю, — ответила она, несколько не меняясь в лице.

Ральф сделал два шага, схватил полковника за локоть, согнул его руку, как тростинку, и спокойно произнес:

— Я не допущу, чтобы хоть один волос упал с головы этой женщины.

У Дельмара было сильное желание ударить его, но он почувствовал, что неправ, а краснеть после за свои поступки он не любил, этого он боялся больше всего на свете. Поэтому он сдержался и, оттолкнув Ральфа, сказал ему:

— Не вмешивайтесь в чужие дела!

Затем он снова повернулся к жене:

— Итак, сударыня, — продолжал он, скрестив руки на груди, чтобы удержаться от желания ударить ее, — вы не подчиняетесь моей воле, отказываетесь ехать на остров Бурбон, хотите разойтись со мной? Ну, так я тоже хочу этого, черт возьми!..

— Я больше не хочу развода, — ответила она, — я хотела его вчера, но сегодня утром решила иначе. Вы прибегли к насилию, заперев меня на замок. Я выпрыгнула из окна, желая доказать вам, что вся ваша власть ничто, если вы не подчинили себе волю женщины. На несколько часов я сбросила вашу деспотическую власть, вырвалась на свободу, дабы вы поняли, что морально я не подчиняюсь вам и завишу только от себя самой. Во время прогулки я все обдумала и решила, что долг и совесть обязывают меня вернуться к вам. Тогда я вернулась по собственной воле. Мой кузен проводил, а не привел меня сюда. Если бы я не захотела пойти с ним, он не мог бы меня к этому принудить, — надеюсь, вы это понимаете? Итак, сударь, не теряйте времени и не пытайтесь переубедить меня; вы все равно не заставите меня изменить мои взгляды; вы потеряли всякое право влиять на мои убеждения с тех пор, как применили силу. Займитесь приготовлениями к отъезду, я готова помочь вам и сопровождать вас

— не потому, что такова ваша воля, а потому, что таково мое намерение. Вы можете осуждать меня, но слушаться я буду всегда только себя.

— Мне от души жаль, что ваш рассудок в таком расстроенном состоянии, — сказал полковник, пожав плечами.

Он ушел к себе и начал приводить в порядок свои дела, в душе очень довольный решением госпожи Дельмар: теперь он был уверен, что не встретит больше никаких препятствий, ибо верил слову, данному этой женщиной, в такой же мере, в какой презирал ее взгляды.

Оказав весьма сухой прием сэру Ральфу, который пришел к нему узнать об Индиане, Реймон тотчас же крепко заснул, так как был очень утомлен. Чувство блаженства охватило его душу, когда, проснувшись, он вспомнил, что в его романе с Индианой наконец наступил перелом. Он давно предвидел, что настанет время, когда ему придется вступить в борьбу с любовью этой женщины, чтобы отстоять свою свободу от притязаний столь романтической страсти; он заранее решил не соглашаться на ее требования. Наконец трудный шаг был сделан: он сказал «нет». Возвращаться к этому вопросу не придется, потому что все обошлось благополучно. Индиана не очень плакала и не очень настаивала. Она проявила благоразумие, все поняла с первого слова, покорила своей участи быстро и гордо.

Реймон был чрезвычайно доволен. Он верил, что судьба печется о нем, словно любящая мать, и устроит все его дела как можно лучше, хотя бы и за счет его ближних. До сих пор у него не было причин сомневаться в ее благоволении. Предвидеть последствия своих ошибок и беспокоиться о них он считал грехом неблагодарности по отношению к охраняющему его доброму гению.

Он встал, все еще чувствуя сильную усталость от нервного напряжения, которого потребовала от него недавно пережитая тяжелая сцена. Тем временем вернулась его мать. Она ездила к госпоже де Карвахаль справиться о здоровье и душевном состоянии госпожи Дельмар. Маркиза, казалось, ничем не была озабочена, но после осторожных расспросов госпожи де Рамьер она сильно расстроилась. Впрочем, в истории с внезапным исчезновением госпожи Дельмар ее потрясло только одно — возможность опласки. Она стала горько жаловаться на племянницу, которую вчера еще превозносила до небес. Госпожа де Рамьер поняла, что своим поступком несчастная Индиана навсегда восстановила против себя свою родственницу и лишилась единственной остававшейся у нее поддержки.

Для тех, кто знал, что представляет собою маркиза, это не было бы большой потерей. Но госпожа де Карвахаль слыла за особу

безупречно добродетельную даже в глазах госпожи де Рамьер. О событиях своей бурной молодости маркиза предусмотрительно молчала, тем более что следы их терялись в вихре революций. Мать Реймона не могла удержаться от слез при мысли о печальной судьбе Индианы и всячески старалась оправдать ее, но госпожа де Карвахаль ядовито заметила госпоже де Рамьер, что та слишком заинтересована в этом деле и потому не может судить беспристрастно.

— Что же будет с этой несчастной молодой женщиной? — спросила госпожа де Рамьер. — В ком найдет она защиту, если муж начнет притеснять ее?

— На все воля божья, — ответила маркиза. — Что касается меня, то я не собираюсь вмешиваться в ее дела и не хочу больше ее видеть.

Добрая госпожа де Рамьер чрезвычайно встревожилась и решила во что бы то ни стало разузнать о госпоже Дельмар. Она приказала ехать на угол той улицы, где жила Индиана, и послала лакея расспросить привратника, приказав ему, если только удастся, повидать сэра Ральфа. Сама она осталась в карете и там дожидалась результатов своего поручения; вскоре Ральф пришел к ней.

Госпожа де Рамьер была, быть может, единственным человеком, сумевшим правильно оценить Ральфа. Они обменялись всего несколькими словами и сразу поняли, как искренне и бескорыстно они оба интересуются судьбой Индианы. Ральф рассказал о том, что произошло утром; относительно событий прошлой ночи у него были только смутные подозрения, и он не старался выяснить их. Но госпожа де Рамьер сочла нужным сообщить ему все, что знала, полагая, что он так же, как и она, будет способствовать разрыву этой роковой и пагубной связи. Ральф, чувствовавший себя с ней свободнее, нежели с кем-либо другим, не скрывал глубокого волнения, которое отразилось на его лице, пока он слушал ее откровенный рассказ.

— Вы говорите, сударыня, — пробормотал он, подавляя охватившую его нервную дрожь — что она провела ночь в вашем доме?

— Ночь одинокую и, несомненно, тяжелую. Реймона нельзя винить в соучастии, потому что он вернулся домой только в шесть часов утра, а в семь он уже был у меня, прося успокоить и образумить эту несчастную женщину.

— Она хотела покинуть мужа! Она хотела обесчестить себя! — повторял Ральф с остановившимся взглядом, в каком-то странном смятении чувств. — Как же сильно она любит этого недостойного человека!

Ральф совсем забыл, что говорит с матерью Реймона.

— Я уже давно догадывался, — продолжал Ральф, — но почему я не предвидел, что наступит день, когда она решит окончательно погубить себя! Я скорее убил бы ее, чем допустил это!

Такие речи в устах Ральфа крайне поразили госпожу де Рамьер; она думала, что говорит с человеком спокойным и снисходительным, и теперь раскаивалась, что поверила его внешней невозмутимости.

— Боже мой! — с ужасом воскликнула она. — Неужели и вы будете беспощадны к ней и отвернетесь от нее так же, как и ее тетка? Неужели ни в ком из вас нет жалости и вы не умеете прощать? Значит, все друзья отшатнулись от нее, узнав о ее проступке, из-за которого она уже столько выстрадала?

— Относительно меня вы можете быть спокойны, — ответил Ральф. — Вот уже полгода, как я знаю все и молчу. Я был случайным свидетелем их первого поцелуя и тем не менее не сбросил господина де Рамьера с лошади; я часто перехватывал их любовные послания и никогда не уничтожал их. Я встретил однажды господина де Рамьера на мосту, когда он шел на свидание с ней; дело было ночью, мы были одни. Я гораздо сильнее его, однако не столкнул его в реку; увидав, что ему все-таки удалось скрыться, обмануть мою бдительность и проникнуть к ней, я, вместо того чтобы выломать двери и выкинуть его в окно, спокойно предупредил их о приближении мужа и спас жизнь одному, чтобы спасти честь другой. Вы видите, сударыня, я умею щадить и быть милосердным. Сегодня утром этот человек был в моих руках; я прекрасно знал, что он — причина всех наших несчастий, и если не имел права обвинить его без доказательств, то мог по крайней мере вызвать его на ссору за его дерзкий и насмешливый вид. И что же! Я снес его оскорбительное презрение, так как знал, что смерть его убьет Индиану. Я позволил ему спокойно уснуть, повернувшись на другой бок, в то время как Индиана, обезумевшая и еле живая, стояла на берегу Сены, собираясь последовать за его первой жертвой... Вы видите, сударыня, что я терпелив с теми, кого ненавижу, и снисходителен к тем, кого люблю.

Госпожа де Рамьер, сидя в карете напротив Ральфа, смотрела на него с изумлением и со страхом. Он был так непохож на самого себя, что у нее мелькнула мысль о его внезапном помешательстве. Намек на смерть Нун подтверждал ее предположение, ибо она ничего не знала об этой истории и принимала слова Ральфа, вызванные негодованием, за обрывки мыслей, совершенно не относящихся к предмету их разговора. В самом деле, Ральф в эту минуту находился в состоянии такого душевного волнения, которое испытывают хотя бы раз в жизни даже самые рассудительные люди и которое граничит с буйным умопомешательством. Обычно, подобно всем уравновешенным натурам, Ральф и в гневе бывал холоден и сдержан, но чувство это, как у всех людей с благородной душой, вспыхивало в нем с такою силой, что в минуты гнева он становился действительно страшен.

Госпожа де Рамьер взяла его за руку.

— Видно, вы очень страдаете, дорогой господин Ральф, — мягко сказала она, — если так безжалостно причиняете мне мучительную боль. Вы забываете, что тот, о ком вы говорите, мой сын и что его дурные поступки, если он действительно совершил их, куда больше ранят мое сердце, чем ваше.

Ральф тотчас же пришел в себя и с чувством горячей симпатии, проявление которой было ему так же мало свойственно, как и проявление гнева, поцеловал руку госпожи де Рамьер.

— Простите меня, — сказал он, — вы правы, я очень страдаю и забываю о том, к чему должен был бы отнестись с уважением. Забудьте и вы о вырвавшихся у меня горьких словах, я и впредь сумею все скрыть в своем сердце.

Госпожа де Рамьер, несколько успокоенная этим ответом, не могла, однако, побороть тайный страх при виде глубокой ненависти Ральфа к ее сыну. Она попыталась оправдать Реймона в глазах его врага, но Ральф остановил ее.

— Я угадываю ваши мысли, — сказал он, — но не тревожьтесь: господину де Рамьеру и мне не суждено в скором времени встретиться. Не раскаивайтесь также в том, что рассказали мне о моей кузине. Если все отшатнется от нее, клянусь вам — один друг у нее всегда останется!

Возвратившись к вечеру домой, госпожа де Рамьер застала Реймона в мягких ночных туфлях, уютно усевшегося у горящего камина с чашкой чая в руках. Он старался разогнать остатки нервного потрясения, пережитого им в то утро. Он еще не совсем оправился от своих тревог. Но сладкие мечты о будущем уже волновали его душу; наконец-то он чувствовал себя свободным и мог всецело наслаждаться этим счастьем, которое, однако, не умел хранить.

«Почему, — думал он, — мне так быстро надоедает это неизъяснимо приятное сознание своей свободы, которую приходится покупать потом такой дорогой ценой! Когда я попадаю в сети к женщине, мне не терпится скорее порвать их, чтобы вновь обрести душевный покой. Будь я проклят, если я снова пожертвую им так скоро! Горе, которое я вытерпел из-за этих двух креолок, послужит мне хорошим уроком, впредь я буду знать только с легкомысленными и насмешливыми парижанками... с настоящими светскими дамами. Может быть, мне следовало бы жениться и пристать, как говорят, к тихой пристани?..»

Он был погружен в эти спокойные и приятные мысли, когда вошла его мать, расстроенная и усталая.

— Ей лучше, — сказала она. — Все обошлось благополучно. Я надеюсь, что она успокоится.

— Кто? — спросил Реймон, внезапно пробудясь от сладких грез.

На следующее утро он все же решил, что обязан вернуть себе если не любовь, то хотя бы уважение Индианы. Ему не хотелось, чтобы она имела возможность думать, будто сама его бросила. Он решил доказать ей, что его благоразумие и великодушие побудило ее совершить этот шаг; он хотел сохранить свою власть над нею даже после того, как сам оттолкнул ее, и потому он написал ей:

«Дорогой друг, я пишу вам не затем, чтобы просить у вас прощения за несколько жестоких и дерзких слов, которые вырвались у меня в минуту безумия: в пылу страсти нельзя правильно оценить положение и спокойно высказать все, что думаешь. Не моя вина, что я не бог, что я не могу владеть собою, что возле вас у меня закипает кровь и я теряю голову и схожу с ума. Быть может, я, со своей стороны, имел бы право жаловаться на то жестокое хладнокровие, с каким вы без всякого сострадания обрекли меня на страшные муки. Но и это тоже не ваша вина. Вы слишком совершенны, чтобы походить

на нас, обыкновенных смертных, подвластных людским страстям, рабов своих грубых инстинктов. Я не раз говорил вам об этом, Индиана, и, когда я спокойно думаю о вас, я прихожу к убеждению, что вы не женщина, вы ангел. Я преклоняюсь перед вами, как перед божеством. Но, увы, вблизи вас во мне нередко просыпался первобытный человек, благоуханное дыхание ваших уст обжигало горячим пламенем мои губы. Зачастую, когда я склонялся над вами и мои волосы касались ваших, страстная нега разливалась по всему моему телу, и я забывал, что вы неземное создание, олицетворение мечты о вечном блаженстве, ангел, сошедший с небес, чтобы охранять мой путь в этой грешной жизни и посвящать меня в радости иного существования. Зачем, чистый дух, принял ты соблазнительный облик женщины? Зачем, светлый ангел, обольщал ты меня греховными чарами? Много раз я думал, что держу счастье в своих объятиях, но, увы, я обнимал холодную добродетель.

Простите мне мои преступные сожаления, я был недостоин вас. И, может быть, если бы вы снизошли до меня, мы оба были бы счастливее. Но вы постоянно страдали от моего несовершенства и считали преступлением, что у меня не было ваших добродетелей.

Теперь, когда вы простили меня, — в чем я уверен, ибо идеальное существо не может не быть милосердным, — разрешите мне еще раз обратиться к вам, чтобы поблагодарить и благословить вас. Поблагодарить!.. О нет, жизнь моя, я не так выразился, ибо я страдаю больше вашего оттого, что вы с таким самообладанием вырвались из моих объятий. Но я преклоняюсь перед вами, одобряю ваше решение, хотя и обливаюсь слезами. Да, Индиана, вы нашли в себе силы принести такую великую жертву. Этим вы разбили мне сердце и жизнь, омрачили мое будущее, разрушили мое существование. Ну что ж! Я люблю вас так сильно, что готов безропотно перенести все; я не думаю о себе, для меня важно только ваше счастье. Я готов тысячу раз пожертвовать для вас своей честью, но ваша честь мне дороже тех радостей, которые вы могли бы мне дать. Нет! Такой жертвы я никогда не приму! Напрасно старался бы я забыться в восторгах и опьянении любви, напрасно искал бы в ваших объятиях неземного наслаждения, — упреки совести не переставали бы мучить меня. Они отравили бы мне жизнь, и я чувствовал бы себя куда более опозоренным, чем вы сами, видя, как люди презирают вас. О боже,

знать, что это я унизил и загубил вас! Знать, что вы утратили уважение окружающих! Держать вас в своих объятиях, знать, что вас за это оскорбляют, и не быть в состоянии смыть обиду! Я мог бы пролить за вас всю свою кровь, мог бы отомстить за вас, но никогда, никогда не мог бы оправдать вас в глазах света. Мое пламенное желание вас защитить послужило бы только лишним обвинением против вас, а моя смерть — неопровержимым доказательством вашего преступления. Моя бедная Индиана, я погубил бы вас своей любовью! И как я был бы несчастен!

Уезжайте же, моя любимая; под другим небом вы найдете утешение в вере и награду за свою добродетель. Милосердный бог воздаст нам за такую жертву. Он соединит нас в иной, более счастливой жизни, и, быть может, даже... Но нет, эта мысль тоже греховна; тем не менее я не могу запретить себе надеяться!.. Прощайте, Индиана, прощайте! Вы видите, что наша любовь — преступление!.. Увы, мое сердце разбито. Хватит ли у меня сил сказать вам последнее прости?»

Реймон сам отнес это письмо госпоже Дельмар. Но она заперлась у себя в спальне и отказалась его принять. Он покинул их дом, сердечно распрощавшись с мужем и успев все же передать письмо служанке. Спустившись с последней ступеньки, он почувствовал необычайную легкость: погода показалась ему особенно приятной, женщины особенно красивыми, магазины особенно нарядными, — это был чудесный день в жизни Реймона.

Госпожа Дельмар, не распечатывая, заперла письмо в сундук, который не собиралась раскрывать до приезда в колонии. Она хотела проститься с теткой. Однако сэр Ральф категорически воспротивился этому намерению. Он побывал у госпожи де Карвахаль и знал, что та собирается встретить Индиану упреками и презрением. Он был возмущен ее лицемерной строгостью и не мог примириться с мыслью, что Индиана подвергнется ее нападкам.

На следующий день, когда Дельмар с женою садились уже в дилижанс, сэр Ральф сказал им со своей обычной невозмутимостью:

— Я часто говорил, друзья мои, что не хочу расставаться с вами. Но вы как будто не понимали, о чем шла речь, и не отвечали мне... Разрешите ли вы мне ехать с вами?

— В Бордо? — спросил господин Дельмар.

— На остров Бурбон, — ответил Ральф.

— Помилуйте, — возразил господин Дельмар, — ну как можно так кочевать и связывать свою судьбу с людьми, будущее которых неопределенно, а благосостояние ненадежно! С нашей стороны было бы низостью воспользоваться вашей дружбой и допустить, чтобы вы пожертвовали ради нас всей своей жизнью и отказались от положения, которое вы занимаете в обществе. Вы богаты, молоды и свободны. Вам надо снова жениться, создать свою семью...

— Не в этом дело, — ответил холодно Ральф. — Я не умею изворотливо облекать мысли в слова, искажающие их, и потому скажу откровенно то, что думаю. Мне показалось, что за последние полгода вы оба изменились по отношению ко мне. Быть может, я был в чем-то неправ, но из-за своей нечуткости не понял этого. Одного вашего слова достаточно, чтобы меня успокоить в том случае, если я ошибаюсь. Позвольте мне следовать за вами; если же я в чем-нибудь виноват, пора мне это сказать. Расставаясь со мною, вы должны снять с моей души мучительное сознание, что мне не удалось загладить свою вину.

Полковник был так растроган этим бесхитростным и великодушным признанием, что забыл все обиды, нанесенные его самолюбию и разъединившие его с Ральфом. Он протянул ему руку, поклялся, что его дружба никогда не была более искренней и что он отвергает его предложение только из деликатности.

Госпожа Дельмар молчала. Ральф, желая добиться от нее ответа, сделал над собою усилие и спросил ее сдавленным голосом:

— А у вас, Индиана, осталась ли хоть капля дружеского расположения ко мне?

Его слова пробудили в ней былую привязанность, она вспомнила об их детстве и о той задушевной сердечности, которая существовала когда-то в их отношениях. Со слезами на глазах они бросились в объятия друг другу, и Ральф едва не лишился чувств, ибо этого крепкого человека, с виду спокойного и сдержанного, обуревали сильные страсти. Поблуднев, не в силах вымолвить ни слова, он сел, чтобы не упасть, и просидел так несколько мгновений; затем взял руку полковника и руку его жены.

— В этот час, когда мы расстаемся, быть может, навсегда, — сказал он, — будьте со мною откровенны: вы не хотите, чтоб я ехал с

вами, из-за меня или из-за вас?

— Клянусь вам честью, — ответил Дельмар, — отказывая вам, я думал только о вашем благополучии.

— Что касается меня, — сказала Индиана, — то вы прекрасно знаете, что я хотела бы никогда не расставаться с вами.

— Было бы грешно усомниться в вашей искренности в такую минуту! — ответил Ральф. — Я верю вашему слову и благодарю вас обоих.

И он исчез.

Спустя полтора месяца бриг «Корали» готовился к отплытию из порта Бордо. Ральф написал своим друзьям, что приедет в Бордо к концу их пребывания в этом городе, но, по своему обыкновению, написал так лаконично, что невозможно было понять, хочет ли он только проститься или же решил ехать вместе с ними. Напрасно ждали они его до последней минуты; капитан уже дал сигнал к отплытию, а Ральфа все не было. Последние здания порта скрылись за зелеными берегами, и мрачные предчувствия овладели Индианой, и без того печальной и подавленной. Она ужаснулась при мысли, что отныне осталась одна на свете с ненавистным ей мужем, что ей предстоит жить и умереть подле него, без друзей, которые могли бы ее утешить, без родных, способных защитить ее от его деспотической власти.

Но, обернувшись, она увидела позади себя на палубе спокойное и ласковое лицо Ральфа, который, улыбаясь, глядел на нее.

— Так, значит, ты не покинул меня? — воскликнула она, заливаясь слезами, и бросилась к нему на шею.

— И никогда не покину! — ответил Ральф, прижимая ее к груди.

Письмо госпожи Дельмар господину де Рамьеру Остров Бурбон, 3 июня 18...

«Я решила не напоминать вам больше о себе, но, приехав сюда и прочитав письмо, которое вы передали мне накануне моего отъезда из Парижа, почувствовала, что должна вам ответить: в том состоянии отчаяния и горя, в каком я находилась тогда, я зашла слишком далеко, я заблуждалась на ваш счет и теперь хотела бы загладить перед вами свою вину — не как перед возлюбленным, а как перед человеком.

Простите меня, Реймон, в ту ужасную минуту моей жизни вы показались мне чудовищем. Одним вашим словом, одним вашим взглядом вы лишили меня навсегда надежды и веры. Я знаю, что теперь уже никогда не буду счастлива, но все же надеюсь, что мне не придется презирать вас, — это было бы для меня последним ударом.

Да, я сочла вас негодяем, хуже того — эгоистом. Я почувствовала к вам отвращение. Я пожалела, что остров Бурбон находится недостаточно далеко, мне хотелось бы скрыться от вас еще дальше, и негодование дало мне силы испить чашу горя до дна.

Но когда я прочла ваше письмо, мне стало легче. Я не сожалею о вас, но и не чувствую к вам больше ненависти, и я не хочу, чтобы вы упрекали себя в том, что погубили мою жизнь. Будьте счастливы и беспечны, забудьте меня. Я еще жива и, может быть, проживу долго!..

В самом деле, вы ни в чем не виноваты: это я лишилась рассудка. У вас есть сердце — только я не нашла дороги к нему. Вы не лгали мне — я сама себя обманывала. Вы не были клятвопреступником или черствым человеком — вы просто не любили меня.

О боже, вы не любили меня! А я? Неужели я мало вас любила? Но я не унижусь до жалоб, я пишу вам не для того, чтобы отравить тяжелыми воспоминаниями покой вашей теперешней жизни. Я не прошу у вас и сочувствия к моим страданиям, — у меня хватит сил перенести их одной. Теперь я лучше знаю, какая роль вам к лицу, и потому хочу вас оправдать и простить.

Я не стану опровергать то, что вы мне пишете, — сделать это очень нетрудно. Не буду отвечать и на ваши рассуждения о том, в чем

состоит мой долг. Успокойтесь, Реймон, я знаю, в чем он заключается: я любила вас слишком сильно, чтобы нарушить его необдуманном поступком. Незачем указывать мне, что люди стали бы презирать меня за мою ошибку, — все это было мне хорошо известно. Я знала, что навсегда запятнаю свою честь, знала, что все отвернутся от меня, проклянут, обольют грязью и что я не найду никого, кто бы пожалел и утешил меня. Да, я все это знала! Единственное мое заблуждение — это вера в вас, вера в то, что вы раскроете мне свои объятия и что на вашей груди я забуду горе, одиночество и людское презрение. Только одного я не ожидала — что вы откажетесь от моей жертвы уже после того, как я ее принесла. Я не представляла себе, что это может случиться. Когда я шла к вам, я предвидела, что сначала, повинувшись принципам и чувству долга, вы оттолкнете меня, но я была твердо уверена, что потом, узнав о неизбежных последствиях моего поступка, вы сочтете себя обязанным мне помочь. Нет, я никогда, никогда не думала, что вы предоставите мне одной пожинать горькие плоды и расплачиваться за все последствия моего опасного шага, вместо того чтобы открыть мне свои объятия и оградить своей любовью.

Как смело бросила бы я тогда вызов всему свету, не убоилась бы его молвы, безразличной для меня и бессильной мне повредить! Уверенная в вашем чувстве, с каким презрением отнеслась бы я к людской ненависти! Моя страстная любовь к вам заглушила бы слабый голос совести! Живя только для вас, я забыла бы о себе! Я гордилась бы тем, что завоевала ваше сердце, и совсем не думала бы о своем позоре. Одного вашего слова, взгляда, поцелуя было бы достаточно, чтобы я почувствовала себя правой. Для людей с их законами не осталось бы места в нашей жизни. Да, я была безумна, да, я знала жизнь, как вы цинично выразились, по романам для горничных, по этим веселым и наивным выдумкам, увлекающим нас удачным завершением рискованных авантур и возможностью несбыточного счастья. Вы сказали тогда ужасную правду, Реймон! Меня приводит в отчаяние и убивает то, что это действительно так.

Одно только я недостаточно хорошо уясняю себе: почему мы столь различно отнеслись к преодолению непреодолимого? Почему я, слабая женщина, почерпнула в своем восторженном чувстве столько силы, что не побоялась поставить себя в невероятное, взятое из

романов, положение, — а вы, сильный мужчина, не нашли в себе решимости последовать моему примеру? А между тем вы разделяли мои мечты о будущем, вы соглашались с моими безумными планами и поддерживали во мне несбыточную надежду. Вы выслушивали с улыбкой на лице и радостью в глазах мои детские фантазии, мои тщеславные и глупые замыслы и отвечали на них словами любви и признательности. Ведь и вы были слепы, непредусмотрительны и храбры на словах. Почему же вы стали благоразумны только в минуту опасности? Я всегда думала, что опасность привлекает человека, возбуждает в нем мужество, заставляет забыть о страхе, — вы же испугались в решительную минуту! Неужели вам, мужчинам, свойственна только физическая храбрость, которая бросает вызов смерти? Неужели вы неспособны на нравственную храбрость, которая может вынести любое несчастье? Вы так превосходно умеете объяснять все, — объясните же мне это, прошу вас.

Может быть, все дело в том, что мы мечтали о разных вещах? Ведь я черпала храбрость в своей любви к вам, а вы — вы только вообразили, что любите меня, и поняли свою ошибку в тот день, когда я, уверенная в вашем чувстве, в свою очередь совершила ошибку, придя к вам. Великий боже! Каким странным заблуждением была ваша любовь, раз вы не предвидели всех препятствий и с ужасом осознали их лишь в ту минуту, когда настало время действовать, раз вы впервые заговорили о них, когда было уже поздно!

К чему упрекать вас теперь? Разве вы вольны в своих чувствах? Разве от вас зависело любить меня вечно? Без сомнения, нет! Моя вина в том, что я не сумела внушить вам более прочную, настоящую любовь. Я ищу причину этому и не нахожу ее в своем сердце. Но, очевидно, она все же существует. Может быть, я слишком любила вас; может быть, моя нежность наскучила вам или утомила вас... Вы мужчина и, следовательно, любите свободу и наслаждения. Я была вам в тягость. Я пыталась иногда подчинить вас себе. Увы, все это небольшие грехи, и я не заслужила того, чтобы вы так жестоко покинули меня!

Наслаждайтесь же свободой, купленной ценой моей жизни, — я больше не потревожу вас. Почему вы не преподали мне раньше этого жестокого урока? Я бы меньше страдала, и вы, вероятно, тоже.

Будьте счастливы — это последнее желание моего разбитого сердца. Не призывайте меня к мыслям о боге, предоставьте нравоучения священникам, это их удел смягчать сердца грешников. Моя вера глубже вашей, я служу другому богу, но служу ему чище и лучше. Ваш бог — бог людей, он царь, основатель и поддержка вашей касты. Мой бог — бог вселенной, создатель, надежда и опора всего живущего. Ваш бог создал все только для вас одних; мой же сотворил все живые создания на пользу друг другу. Вы считаете себя хозяевами мира, а я думаю, что вы просто тираны. Вы уверены, что бог покровительствует вам, что он разрешил вам захватить всю власть на земле,

— по-моему, он терпит это до поры до времени, и настанет день, когда вы все, как песчинки, будете сметены его дыханием. Нет, Реймон, вы не знаете бога, или, лучше, позвольте мне повторить вам то, что вам сказал однажды Ральф в Ланьи: «Вы ни во что не верите». Ваше воспитание и потребность в неограниченной власти, которую вы противопоставляете «грубой силе народа», побудили вас слепо принять верования ваших отцов; но сердцем вы не верите в существование бога и, должно быть, никогда не молились ему. У меня же есть вера, какой у вас, безусловно, нет: я верю в бога, но я отвергаю придуманную вами религию; все ваши правила морали, все ваши заповеди отражают интересы вашего общества; вы возвели их в законы и утверждаете, будто они исходят от самого бога, уподобляясь тем самым священнослужителям, которые создали религиозные обряды, чтобы упрочить свое богатство и власть над народами. Но все это обман и нечестие. Я верю в бога и понимаю его, и я прекрасно знаю, что между ним и вами нет ничего общего; поклоняясь ему всей душой, я не могу быть с теми, кто постоянно стремится уничтожить его деяния и осквернить его дары. Не подобает злоупотреблять именем бога для того, чтобы сломить сопротивление слабой женщины, заглушить жалобу ее разбитого сердца. Бог не хочет, чтобы угнетали и губили творения рук его. Если бы он по благости своей вмешался в наши жалкие дела, он сломил бы сильного и поддержал бы слабого; он поднял бы свою могучую десницу и уравнил бы всех нас, как воды морей. Он сказал бы рабу: «Сбрось оковы и беги на холмы, где я создал для тебя воды, цветы и солнце». Он сказал бы королям: «Отдайте свою багряницу нищим, дабы послужила она им

подстилкою, и идите спать в долины, где я разостлал для вас ковер из мха и вереска». Он сказал бы сильным: «Преклоните колена и переложите на плечи свои бремя ваших слабых братьев; отныне вы будете нуждаться в них, ибо я наделю их силой и мужеством». Вот каковы мои мечты. Они принадлежат другой жизни, другому миру, где закон сильного не будет угнетать слабого, где сопротивление и бегство не будут преступлением, где человека, если он, подобно антилопе, ускользнувшей от пантеры, сумел вырваться из-под власти другого человека, не закуют в цепи властью закона и не бросят к ногам врага; где его не будут оскорблять, уступая голосу предрассудков, и непрестанно попрекать: «Ты подлец и негодяй! Как посмел ты не смириться и не раболепствовать?».

Нет, не говорите мне о боге, в особенности вы, Реймон. Не прибегайте к его имени для того, чтобы послать меня в изгнание и заставить молчать. Подчиняясь, я уступаю только власти людей. Если бы я послушалась голоса моего сердца и того благородного инстинктивного чувства, которое и является, быть может, истинной совестью у смелых и сильных натур, я убежала бы в пустыню, сумела бы обойтись без помощи, без защиты и любви. Я поселилась бы одна среди наших прекрасных гор, забыла бы о тиранах, о несправедливых и неблагодарных людях. Но, увы! Человек не может обойтись без себе подобных, и даже Ральф не может жить один.

Прощайте, Реймон! Постарайтесь быть счастливым без меня. Я прощаю вам то зло, которое вы причинили мне. Вспоминайте меня иногда вместе с вашей матушкой — это самая лучшая женщина из всех, кого я знала. Помните, что в моем сердце нет ни горечи, ни чувства мести. Моя печаль достойна моей бывшей любви к вам.

Индиана».

Несчастливая Индиана слишком много брала на себя. Чувство собственного достоинства продиктовало ей эти слова глубокой и спокойной печали. Оставаясь наедине с собой, она предавалась самому бурному отчаянию. Порою, впрочем, луч необъяснимой надежды загорался перед ее затуманенным взором. Может быть, она еще не потеряла окончательно веры в любовь Реймона, несмотря на жестокий урок, полученный ею, несмотря на ужасные мысли, ежедневно напоминавшие ей о том, каким холодным и равнодушным становился этот человек, когда дело не касалось его личных выгод или

удовольствий. Мне кажется, если бы Индиана не закрывала глаза на горькую правду, она не могла бы влачить дальше свою изломанную, жалкую жизнь.

Женщины неразумны по самой своей природе. Как будто для того, чтобы уравновесить их явное превосходство над мужчинами в тонкости душевных восприятий, небо намеренно вложило в их сердца слепую суетность и глупое легкоеверие. И, чтобы овладеть этими нежными существами, такими податливыми и трогательными, быть может, нужно лишь умело их превозносить и льстить их самолюбию. Иногда мужчины, совершенно не имеющие влияния на своих собратьев, приобретают безграничную власть над женской душой. Лесть — это ярмо, под которое женщины сами подставляют свои легкомысленные и пылкие головки. Горе мужчине, желающему быть искренним в любви: его постигнет судьба Ральфа!

Вот мой ответ тому, кто стал бы говорить, что Индиана — натура исключительная и что заурядная женщина не проявляет в своем сопротивлении мужу ни такого хладнокровного упорства, ни такой удручающей покорности. Я напомнил бы ему об оборотной стороне медали и указал бы на жалкую слабость, которую Индиана питала к Реймону, на ее безрассудное ослепление. Я спросил бы его, где он найдет женщину, которая не умела бы с равной легкостью обманывать других и обманываться сама; которая не могла бы в продолжение десяти лет хранить в своем сердце надежду и потом в минуту безумия опрометчиво поставить все на карту, которая не была бы столь же покорной в объятиях своего избранника, сколь неприступной и сильной — перед человеком, ею не любимым.

Между тем семейная жизнь госпожи Дельмар протекала теперь гораздо спокойнее. Вместе с мнимыми друзьями исчезли и многие неприятности, которые только усугублялись стараниями этих ретивых и услужливых посредников. Сэр Ральф, молчаливый и с виду ко всему безучастный, лучше их всех умел сплачивать мелкие недоразумения, которые так легко раздуть в ссору при помощи сплетен. Впрочем, Индиана проводила почти все время в одиночестве. Дом их был расположен в горах над городом, и каждое утро господин Дельмар, державший свои товары на складе в порту, уходил туда на весь день заниматься торговыми делами, которые он вел с Индией и Францией.

Сэр Ральф, поселившийся вместе с ними, всячески скрашивал им жизнь и делал это так деликатно, что они даже не замечали его благодеяний. Он изучал естественные науки и наблюдал за работами на плантации. Индиана вернулась к своим прежним привычкам и в ленивом безделье, столь свойственном креолкам, проводила знойные часы дня в гамаке, а длинные вечера — в уединении гор.

Остров Бурбон представляет собой огромный конус, основание которого занимает площадь размером около сорока лье, а гигантские вершины поднимаются на высоту тысячи шестисот туазов. Почти со всех точек этой огромной горы, за острыми скалами, узкими долинами и высокими лесами, взору открывается голубое море, сливающееся на горизонте с небом. Из окна своей спальни, сквозь расщелину поросшей лесом горы, покатый склон которой находился как раз напротив их жилища, Индиане видны были белые паруса, скользившие по Индийскому океану. В продолжение тихих дневных часов это зрелище привлекало ее взоры и превращало ее печаль в какое-то беспросветное и безысходное отчаяние. Чудесный пейзаж совсем не вызывал в ней поэтического восторга, наоборот — при виде этих красот природы ее мысли становились еще мрачнее и безотраднее. Она опускала соломенную штору на окне и, стараясь скрыться даже от дневного света, проливая наедине жгучие и горькие слезы.

По вечерам, когда ветерок с гор приносил ей запах цветущих рисовых полей, она уходила в саванну и оставляла Дельмара и Ральфа наслаждаться на веранде ароматным настоем фахама и курить сигареты. Она взбиралась на вершину какой-нибудь доступной для подъема скалы — кратера потухшего вулкана — и смотрела оттуда на заходящее солнце, зажигающее ярким пламенем облака и рассыпавшее золотую и рубиновую пыль на шелестящие верхушки сахарного тростника и на сверкающую поверхность выступающих из воды рифов. Она редко спускалась в ущелье реки Сен-Жиль, потому что вид моря причинял ей страдания, и в то же время оно неотразимо притягивало ее своими обманчивыми миражами. Ей казалось, что за волнами и туманной далью перед ее взором предстанет волшебное видение иной земли. И действительно, порой скользящие облака принимали фантастические контуры: то ей мерещилось, что на поверхности моря встает гигантская белая волна, похожая по очертаниям на фасад Лувра; то два квадратных паруса выплывали внезапно из тумана и представлялись ей башнями собора Парижской богородицы в тот час, когда над Сеною поднимается густой туман, окутывающий основание собора и башни кажутся повисшими в воздухе; или же клочья розовых облаков своей изменчивой формой напоминали ей причудливую архитектуру огромного города.

Индиана все еще находилась во власти прошлого и вся трепетала от радости при виде воображаемого Парижа, хотя в действительности время, проведенное в этом городе, было самой тяжелой порой ее жизни. Странное состояние овладевало ею тогда. Она находилась на головокружительной высоте над землей, у ног ее извивались ущелья, отделявшие ее от океана, и при взгляде на них ей казалось, что она — стрела, выпущенная в воздушное пространство и с необычайной быстротой приближающаяся к чудесному городу, который создало ее воображение. Вся во власти своей мечты, она машинально цеплялась за скалу, служившую ей опорой. И если бы кто-нибудь увидел тогда ее жадный взор, высоко вздымавшуюся грудь и дикую радость, которая озаряла ее лицо, он подумал бы, что перед ним безумная. А между тем это были единственные часы радости, единственные отрадные минуты, о которых она мечтала в продолжение целого дня. Если бы мужу вздумалось запретить ей эти одинокие прогулки, я не знаю, чем бы она заполнила свое существование, потому что она жила только

своими иллюзиями, пламенным стремлением к тому, что нельзя было назвать, ни воспоминанием, ни ожиданием, ни надеждой, ни сожалением, а только страстным, пламенным желанием. Так проводила она под небом тропиков целые недели и месяцы, предаваясь пустой мечте, любя и лаская лишь тень.

Ральф также выбирал для своих прогулок мрачные и тенистые места, куда не долетало дыхание морского ветра, ибо вид океана стал ему ненавистен, равно как и мысль о новом путешествии.

В его воспоминаниях Франция была каким-то проклятым местом. Там он был так несчастен, что подчас терял мужество, несмотря на то, что привык к горю и терпеливо переносил страдания. Он всеми силами старался забыть об этой стране. Хоть он и разочаровался в жизни, ему все же хотелось жить, пока он чувствовал, что кому-то нужен. Итак, он всячески избегал говорить о своем пребывании во Франции. Чего бы он ни дал, чтобы вырвать из памяти госпожи Дельмар это ужасное воспоминание! Но он мало надеялся на успех: он знал, что неловок и некрасноречив, и потому избегал Индианы и не пытался чем-нибудь развлечь ее. Из-за своей чрезмерной сдержанности и деликатности он по-прежнему казался холодным и эгоистичным. Он уходил один со своими страданиями как можно дальше от людей, и, видя, как он целыми днями блуждает по лесам и горам в погоне за птицами или насекомыми, можно было подумать, что это охотник или натуралист, всецело поглощенный своей невинной страстью и нисколько не интересующийся сердечными делами, волнующими окружающих. На самом же деле охота и занятия науками были для него только предлогом, помогавшим ему скрывать свои горькие и тягостные думы.

Конусообразный остров Бурбон на всем своем протяжении изрезан узкими ущельями, на дне которых горные речки катят свои прозрачные бурные воды; одно из таких ущелий носит название Берника. Это очень живописное место — глубокая и узкая долина, зажата между двумя рядами отвесных скал, склоны которых покрыты цепляющимся за камни кустарником и зарослями папоротника.

В расщелине между двумя скалами течет ручеек. У края расщелины ручей низвергается с огромной высоты и образует на месте своего падения небольшое озеро, заросшее тростником. Водяная пыль стоит над ним. По его берегам и по берегам ручейка,

вытекающего из полноводного озера, растут бананы, личи и померанцевые деревья, покрывающие все ущелье своей темной пышной зеленью. Сюда-то и скрывался Ральф от жары и людей. Все его прогулки кончались у этого излюбленного им места. Однообразный шум прохладного водопада успокаивал его. Когда его сердце сжималось от тайных и никем не понятых мук, он приходил сюда и здесь в никому не ведомых слезах и молчаливых жалобах изливал свое горе и нерастраченную силу своей души и молодости.

Чтобы вам стал понятнее характер Ральфа, следует, может быть, сказать, что по крайней мере половина его жизни прошла в глубине этого ущелья. Сюда приходил он в своем раннем детстве, здесь учился стойко переносить несправедливость родителей, здесь набирался душевных сил для борьбы с жестокой судьбой и здесь же выработал в себе твердость, ставшую впоследствии его второй натурой. Сюда, будучи уже подростком, он приносил на плечах крошку Индиану, укладывал ее спать на прибрежную траву, а сам удил рыбу в прозрачной воде или лазил по скалам в поисках птичьих гнезд.

Одиночество его нарушали только чайки, буревестники, водяные курочки и морские ласточки. Эти береговые птицы, гнездившиеся в расселинах неприступных скал, то и дело взмывали вверх или камнем падали вниз, парили и кружились над пропастью. К вечеру они собирались беспокойными стаями и наполняли гулкое ущелье своими резкими, хриплыми криками. Ральфу доставляло удовольствие следить за их величественным полетом, слушать их тоскливые голоса. Он называл их своей маленькой ученице, рассказывал об их жизни, обращал ее внимание на красивую мадагаскарскую уточку с оранжевым брюшком и изумрудной спинкой, вместе с ней восхищался полетом фазтона, который иногда залетал на эти берега. Эта птица с алыми перьями, похожими на соломинки, может за несколько часов перелететь с острова Маврикия на остров Родригес, куда она всегда возвращается на ночь к своему выводку, пролетев над морем двести миль. Буревестники также прилетали сюда, чтобы посидеть на скалах, распутив заостренные крылья, оглашая воздух громкими жалобными криками; прилетал сюда и царь морей — большой фрегат с раздвоенным хвостом, свинцовым оперением и изогнутым клювом; птица эта так редко опускается на землю, точно воздух — ее единственная стихия, а движение — естественное состояние.

Пернатые обитатели скал, по-видимому, привыкли к двум детям, постоянно вертевшимся около их гнезд, и почти не пугались при их приближении. Когда Ральф влезал на скалу, где они только что расположились, они взлетали черной стаей и, как бы назло ему, садились немного выше. Индиана смеялась, следя за ними, а затем осторожно уносила в своей соломенной шляпе яйца, добытые для нее Ральфом зачастую с большим трудом, так как ему приходилось смело отвоевывать их у крупных морских птиц, защищавших их своими сильными крыльями.

Воспоминания возникали, проносились в голове Ральфа и наполняли его душу горечью, так как времена изменились и маленькая девочка — его всегдашняя спутница — перестала быть его другом или, во всяком случае, не была с ним так откровенна и доверчива, как прежде. Хотя он вновь обрел ее привязанность и она окружала его вниманием и заботами, между ними еще стояло что-то, мешавшее им быть откровенными, — это было воспоминание, которое владело всеми их помыслами. Ральф знал, что не может коснуться этого вопроса. Однажды — в минуту опасности — он осмелился это сделать, но его мужественная попытка ни к чему не привела. Повторить ее теперь было бы бесполезной жестокостью, и Ральф скорее решил бы оправдать Реймона, этого светского человека, к которому он чувствовал сильнейшее презрение, чем вынести ему справедливый приговор и тем увеличить горе Индианы.

Итак, он молчал и даже избегал ее. Хотя они жили под одной крышей, он ухитрялся видеться с нею только за столом; и все же, словно провидение, он тайно оберегал ее. Он покидал плантацию только в те часы, когда жара удерживала ее в гамаке; вечером, когда она уходила на прогулку, он под разными предлогами оставлял Дельмара одного на веранде, а сам отправлялся к подножию скал и ждал ее в том месте, где, как ему было известно, она имела обыкновение сидеть. Он проводил там целые часы, поглядывая на нее сквозь ветви деревьев, слабо освещенных восходящей луной, но никогда не приближался к ней и не осмеливался нарушить хотя бы на мгновение ее печальную задумчивость. Когда она спускалась в долину, она всегда встречала его на берегу быстрого ручья, вдоль которого шла тропинка к их дому. Он ждал ее обычно, сидя на одном из огромных валунов, омываемых серебристыми струйками журчащей

воды. Когда белое платье Индианы показывалось на берегу, Ральф молча поднимался, предлагал ей руку и доводил до двери, не произнося ни слова, если только она сама, чувствуя себя более грустной и подавленной, чем обычно, не начинала какой-нибудь разговор. Потом, расставшись с ней, он уходил к себе в спальню, но не ложился, пока все в доме не засыпали. Если Дельмар повышал голос, Ральф, воспользовавшись первым попавшимся предлогом, шел к нему и старался успокоить или отвлечь его, ни в коем случае не давая понять, что делает это намеренно. Их жилище по сравнению с домами наших краев можно было бы назвать прозрачным, и, чувствуя себя постоянно на виду, полковник невольно обуздывал свой нрав. Вечное присутствие Ральфа, при малейшем шуме появлявшегося в качестве третьего лица между ним и его женой, принуждало господина Дельмара сдерживаться, ибо полковник был достаточно самолюбив и умел взять себя в руки при этом молчаливом, но суровом свидетеле. Для того чтобы сорвать дурное настроение, накопившееся за день и вызванное различными неприятностями делового характера, полковник ждал, когда его строгий судья отправится спать. Но напрасно — тайное око, казалось, постоянно наблюдало за ним: стоило ему произнести резкое слово, стоило громко крикнуть, как тотчас же из спальни Ральфа доносился звук передвигаемой мебели или шарканье ног, и полковник умолкал, поняв, что осторожный и терпеливый покровитель его жены не дремлет.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Смена кабинета 8 августа произвела большое смятение во Франции и нанесла жестокий удар благополучию Реймона. Он не принадлежал к числу тех слепых честолюбцев, которые радовались мимолетной победе. В политику он вкладывал всю свою душу, на ней строил все планы на будущее. Он надеялся, что король, вступив на путь искусных компромиссов, сможет еще долго сохранять в стране равновесие, необходимое для спокойного существования старинных дворянских семей. Но появление Полиньяка разрушило эту надежду. Реймон был слишком дальновиден и слишком хорошо знал «новое» общество, чтобы строить свои расчеты в надежде на временный успех. Он понял, что его благополучие пошатнулось вместе с монархией и что его состояние, а может быть, даже и сама жизнь, висит на волоске.

Он очутился в щекотливом и затруднительном положении. Честь обязывала его преданно служить королевскому дому, интересы которого были до сих пор тесно связаны с его собственными, несмотря на всю опасность такой преданности, — в этом отношении он не мог поступиться своею совестью и изменить памяти предков. Но, как человек осторожный и рассудительный, он не одобрял совершенно явно проявлявшегося стремления установить неограниченную монархию, — это, как он сам говорил, противоречило его внутренним убеждениям. Такое направление политики угрожало его карьере и, что даже хуже, выставляло в смешном свете его, известного публициста, который не раз смело обещал от лица королевской власти справедливое отношение ко всем и выполнение клятвенно взятых на себя обязательств. И вот теперь действия правительства полностью опровергли неосмотрительные заверения молодого политика; спокойные и равнодушные люди, еще два дня назад поддерживавшие конституционную монархию, переходили теперь в оппозицию и называли обманом все, что писалось Реймоном и его единомышленниками. Наиболее вежливые обвиняли их в непредусмотрительности и бездарности. Для Реймона было большим унижением прослыть простофилей после того, как он играл такую видную роль в монархической партии. В глубине души он

начинал проклинать и презирать вырождавшуюся монархию, в своем падении увлекавшую его за собой. Ему хотелось бы отойти от нее до того, как наступит час решительной борьбы, но сделать это так, чтобы все приличия были соблюдены. В течение некоторого времени он прилагал невероятные усилия, чтобы завоевать доверие и того и другого лагеря. Тогдашние оппозиционеры охотно допускали в свои ряды новых сторонников. Им нужны были люди, а так как они не требовали от новообращенных особых доказательств преданности, то привлекли многих недовольных. Впрочем, они не гнушались также и представителями знатных фамилий, и ежедневно при помощи ловкой лести в газетах им удавалось привлечь на свою сторону наиболее видных приверженцев рушившейся монархии. Лесть эта не могла обмануть Реймона, но он не отвергал ее, так как был уверен в том, что сумеет извлечь из нее пользу. С другой стороны, защитники престола делались все нетерпимее, по мере того как их положение становилось все более и более безнадежным. Они беспощадно и необдуманно изгоняли из своих рядов самых нужных им людей и вскоре начали высказывать недовольство и проявлять недоверие по отношению к Реймону. Реймон, больше всего на свете дороживший своей доброй славой как одним из важнейших преимуществ в жизни, не знал, как выпутаться из затруднительного положения, но он — очень кстати — заболел острым ревматизмом и принужден был временно отказаться от всяких дел и уехать в деревню вместе с матерью.

В уединении Реймон страдал от сознания, что заживо похоронен и не может принять участие в лихорадочной деятельности распадающегося общества; что не может примкнуть к тому или другому лагерю, не только из-за болезни, но и потому, что затрудняется в выборе; что не может стать под развевающиеся повсюду воинственные знамена, призывающие к решительной борьбе даже самых незначительных и неспособных людей. Жестокие боли, одиночество, скука и лихорадка незаметно изменили направление его мыслей. Впервые, быть может, он задавал себе вопрос: стоит ли высший свет тех усилий, которые он прилагал для того, чтобы снискать его благоволение? Видя, как все равнодушны к нему, как быстро были забыты его выдающиеся способности и слава, он осудил высший свет. И хотя его надежды были обмануты, сознание, что он смотрел на общество лишь как на средство к достижению своих

корыстных целей и что он достиг их только благодаря самому себе, утешало Реймона. Ничто не укрепляет так эгоизма, как подобные рассуждения. Реймон пришел к выводу, что для счастья светского человека необходимы удача и в общественной и в личной жизни, и победы в свете, и семейные радости.

Мать, самоотверженно ухаживавшая за ним во время болезни, сама опасно заболела. Настал его черед забыть о своих недугах и позаботиться о ней, но это было выше его сил. Сильные и страстные натуры в минуты опасности становятся выносливыми и выказывают чудеса стойкости, но слабые и вялые люди неспособны на такой душевный подъем. Хотя Реймон и был, по мнению общества, хорошим сыном, у неба не хватило физических сил, и он не вынес такого напряжения. Прикованный к постели, видя у своего изголовья лишь слуг или немногих друзей, изредка навещавших его и спешивших скорее окунуться в водоворот общественной жизни, Реймон вспомнил Индиану и искренне пожалел о ней, ибо сейчас она была ему очень нужна. Он вспомнил, с какой трогательной заботой она ухаживала за своим старым ворчливым мужем, и представил себе, какой нежностью и вниманием окружила бы она своего возлюбленного.

«Если бы я принял ее жертву, — размышлял он, — она была бы опозорена, но какое значение имело бы это для меня в настоящее время? Я не был бы теперь одинок. Пусть легкомысленный, эгоистичный свет „покинул бы меня“, та, от которой все отвернулись, сидела бы, любящая и преданная, у моих ног; она плакала бы вместе со мной и облегчала бы мои страдания. Зачем я оттолкнул эту женщину? Она так любила меня, что счастье, которое она подарила бы мне, заставило бы ее забыть о людском презрении».

Он решил, что непременно женится, как только выздоровеет, и принялся перебирать в своей памяти имена и лица, обращавшие на себя внимание в буржуазных и аристократических салонах. Восхитительные видения проносились в его мечтах: красивые головки, украшенные цветами, белоснежные плечи с накинутыми на них боа из лебяжьего пуха, стройные талии, стянутые атласными и муслиновыми корсажами; пленительные призраки реяли на прозрачных крыльях перед тяжелым, лихорадочным взором Реймона. Но он представлял себе этих пери только в благоуханном вихре бала. Очнувшись, он спрашивал себя, могут ли их розовые губки улыбаться

не только кокетливо, могут ли их белые ручки врачевать душевные раны, могут ли они, при всем своем тонком и блестящем уме, утешить и развлечь измученного тоской больного? Реймон был человеком рассудительным и потому больше чем кто-либо другой опасался женского кокетства и ненавидел эгоизм, так как отлично понимал, что такие свойства характера не могут принести ему счастья. Выбрать себе жену было не менее трудно для Реймона, чем прийти к определенным политическим убеждениям. Одни и те же причины побуждали его не торопиться и действовать осторожно в обоих вопросах. Он принадлежал к строгой аристократической семье, не простившей бы ему неравного брака, а между тем прочным состоянием владели теперь только плебеи. По всей вероятности, буржуазии суждено было прийти на смену дворянству, и, чтобы сохранить за собой главенствующее положение, нужно было стать зятем промышленника или биржевика. Реймон считал, что самым разумным было бы подождать и посмотреть, откуда дует ветер, прежде чем решиться на шаг, от которого будет зависеть все его будущее.

Эти практические размышления ясно показали ему, что чувство в светских браках играет ничтожную роль; поэтому надежду найти себе когда-нибудь спутницу жизни, достойную любви, он мог основывать только на счастливой случайности. Пока что болезнь затягивалась, и надежда на лучшее будущее не могла уменьшить страданий, испытываемых в настоящем. Он пришел к печальному выводу, что был слеп в тот день, когда отказался похитить госпожу Дельмар, и теперь проклинал себя за то, что не понял своей собственной выгоды.

Как раз в это время он получил письмо, написанное Индианой с острова Бурбон. То, что Индиана, несмотря на несчастья, которые, казалось, должны были сломить ее, сохранила непоколебимую и мрачную силу духа, произвело на Реймона огромное впечатление.

«Я неправильно судил о ней, — подумал он, — она по-настоящему любила меня, любит и сейчас; ради меня она готова совершить геройские подвиги, на какие обычно неспособны женщины, и, может быть, стоит мне сказать только слово, и она прилетит ко мне с другого конца света. К сожалению, для того, чтобы это проверить, потребуется шесть, даже восемь месяцев, а то бы я обязательно попробовал!»

Он заснул с этой мыслью, но вскоре проснулся от суматохи, поднявшейся в соседней комнате. Он с трудом встал, надел халат и еле дошел до спальни матери; госпоже де Рамьер было очень плохо.

Только утром к ней вернулись силы. Она понимала, что ей осталось жить недолго, и последними ее мыслями были мысли о будущем сына.

— Во мне вы теряете вашего лучшего друга, — сказала она ему. — Молю бога, чтобы взамен меня он послал вам достойную вас жену! Но будьте осторожны, Реймон, и не жертвуйте ради честолюбия спокойствием всей вашей жизни. Увы, только одну женщину хотела бы я назвать своей дочерью, но небо уже распорядилось ее судьбой. Однако, сын мой, Дельмар уже стар и немощен,

— кто знает, может быть, длительное путешествие окончательно подорвало его силы. Уважайте честь его жены, пока он жив, но если, как мне кажется, он вскоре последует за мной, помните, что на свете есть женщина, любящая вас почти так же сильно, как любила вас мать.

Вечером госпожа де Рамьер скончалась на руках сына. Горе Реймона было искренним и глубоким. Утрата его была так тяжела, что тут не могло быть места притворным чувствам или расчету. Мать была ему по-настоящему нужна, с ее смертью он лишился огромной нравственной поддержки. Он обливал горькими слезами ее восковой лоб и потухшие глаза. Он обвинял небо, проклиная судьбу и плакал также об Индиане. Он упрекал бога за то, что тот не дает ему должного счастья, поступает с ним как с обыкновенным смертным, лишает его сразу всего. Затем он усомнился в самом существовании бога, который так покарал его, и предпочел лучше отречься от него, чем подчиниться его воле. Соприкоснувшись с жестокой действительностью, все иллюзии Реймона рассеялись как дым, и в сильном жару он снова слег в постель, обессиленный и поверженный, как развенчанный монарх или падший ангел.

Немного оправившись, он стал интересоваться тем, что происходит во Франции. Положение в стране все ухудшалось, народ отказывался платить налоги. Реймон поражался глупому ослеплению монархической партии и, решив не вмешиваться пока что в драку, уединился в Серей, где предался грустным воспоминаниям о матери и госпоже Дельмар.

Постоянно возвращаясь к одной и той же мысли, которая вначале только мелькнула у него в голове, он пришел к тому выводу, что Индиана отнюдь не потеряна для него и при желании он может вернуть ее. В осуществлении этого проекта он видел немало трудностей, но еще больше преимуществ. Не в его интересах было ждать, пока она овдовеет, и жениться на ней, как советовала ему госпожа де Рамьер. Дельмар мог прожить еще двадцать лет, да и Реймон вовсе не собирался отказываться от возможности сделать впоследствии блестящую партию. Его богатое и живое воображение рисовало ему более заманчивую картину. Он полагал, что без особого труда может подчинить Индиану своей воле; он чувствовал в себе достаточно хитрости и ловкости, чтобы сделать из этой возвышенной и пылкой женщины покорную и преданную возлюбленную. Он мог бы укрыть ее от нападков общественного мнения, ограничив ее жизнь домашним очагом, хранить ее, как сокровище, в своем уединении и в моменты одиночества и грусти черпать счастье в ее чистой и благородной привязанности. Гнев мужа тоже не страшил его. Ведь не явится же он разыскивать жену за три тысячи лье, когда торговые дела требуют его присутствия в другой части света. Индиана не будет стремиться к развлечениям и свободе после тяжелых испытаний, приучивших ее к покорности. Ей нужна только его любовь, а Реймон чувствовал, что полюбит ее из благодарности, как только она окружит его заботами. Он вспоминал также о том постоянстве и нежности, какие она выказывала ему в долгие дни его охлаждения и равнодушия. Он строил планы, как сохранить свою свободу и в то же время не дать Индиане повода к жалобам; он рассчитывал приобрести над ней такую власть, чтобы со временем она согласилась на все, даже на его брак. Все это казалось ему вполне осуществимым: он знал многочисленные примеры таких тайных связей, существовавших, несмотря на традиции и законы общества, так как благодаря осторожности и ловкости удавалось держать их в тайне и ограждать от людского осуждения.

«Впрочем, — добавил он мысленно, — эта женщина готова принести мне любую жертву. Для меня она придет с другого конца света и, не думая, чем будет ее жизнь, отрежет себе путь к отступлению. Общество сурово только к мелким и заурядным проступкам; необычайная смелость поражает, исключительное

несчастье обезоруживает. Ее пожалеют, возможно даже начнут восхищаться поступком этой женщины, совершившей для меня то, на что ни одна другая не отважилась бы. Ее будут порицать, но смеяться над ней не будут; и никто не осудит меня за то, что я взял ее под свою защиту после такого несомненного доказательства ее любви, а может быть, начнут даже превозносить мое мужество. Во всяком случае, у меня найдутся защитники, а мое поведение станет предметом неразрешимых споров и даже будет истолковано в мою пользу. Свет любит иногда, чтобы с ним не считались, он не восхищается теми, кто идет избитыми путями. В наше время надо управлять общественным мнением, подстегивая его ударами хлыста».

Под влиянием этих мыслей он написал госпоже Дельмар. Письмо его было именно таким, какого можно было ожидать от этого ловкого и опытного человека. Оно дышало любовью, печалью и звучало правдиво. Увы, каким же гибким тростником является правда, если она гнется под первым порывом ветра!

Однако Реймон был настолько умен, что не высказал в письме открыто своего желания. Он притворился, что смотрит на возможность возвращения Индианы как на несбыточное счастье, и на этот раз очень немного распространялся об ее обязанностях и долге. Он передал ей последние слова матери, яркими красками изобразил отчаяние, в какое повергла его ее смерть, тоску одиночества и опасность своего положения. Обрисовал мрачную и грозную картину революции, назревающей во Франции, и выразил притворную радость, что он в одиночестве встретит надвигающийся ураган. Он дал понять Индиане, что для нее настало время проявить ту преданность и верность, которыми она так похвалялась. Затем Реймон сетовал на свою судьбу, говоря, что дорого заплатил за свою добродетель, что несет тяжелый крест, что сам осудил себя на вечное одиночество, несмотря на то, что держал счастье в своих руках.

«Не говорите мне больше о том, что вы любили меня, — прибавил он, — это отнимет у меня последние силы, лишит меня мужества, и я начну проклинать свою решимость и ненавидеть свой долг. Скажите, что вы счастливы, что забыли меня, — для того, чтобы я не стремился порвать цепи, которые разъединяют нас».

Короче говоря, он писал, что чувствуя себя несчастным, а это значило дать Индиане понять, что он ждет ее.

Прошло три месяца с момента отправки этого письма и до прибытия его на остров Бурбон, а положение госпожи Дельмар за это время стало совсем невыносимым из-за одного домашнего происшествия, имевшего для нее огромное значение. У нее сложилась грустная привычка ежедневно записывать все огорчения, накопившиеся за день. В этом дневнике своей скорби она обращалась к Реймону, и, хотя не собиралась посылать ему эти строки, тем не менее то горько сетуя, то вся горя от волнения, она делилась с ним своими горестными переживаниями и чувствами, которые не могла в себе заглушить. Записи эти попали в руки Дельмару, вернее — он попросту взломал шкатулку, где они хранились вместе с прежними письмами Реймона, и прочел их, дрожа от ревности и злобы. В первую минуту полковник от ярости потерял власть над собой; задыхаясь и сжав кулаки, он стал ждать возвращения жены с прогулки. Если бы она пришла несколькими минутами позже, то, может быть, несчастный Дельмар успел бы прийти в себя; но по воле рока она почти тут же вернулась домой. Не будучи в состоянии произнести ни слова, он схватил ее за волосы, бросил наземь и ударил ногой по голове.

Как только Дельмар увидел кровавый след на ее лбу, он сам себе стал противен за столь жестокое обращение со слабым существом; в ужасе от содеянного, он убежал и, запершись у себя в спальне, зарядил пистолеты, чтобы пустить себе пулю в лоб. Но в тот момент, когда полковник собирался выполнить свое намерение, он увидел на веранде Индиану, — она поднялась с земли и со спокойным и холодным видом вытирала кровь, струившуюся по ее лицу. Сперва он обрадовался, что она жива, но затем гнев его разгорелся с новой силой.

— Это пустая царапина, а следовало бы убить тебя! Нет, я не покончу с собой — я не хочу, чтобы ты наслаждалась в объятиях своего любовника! Не хочу, чтоб вы были счастливы! Буду жить назло вам обоим, буду смотреть, как ты сохнешь с тоски и горя, проучу насмеявшегося надо мной подлеца.

Он продолжал бесноваться, когда Ральф вошел на веранду через другую дверь и увидел Индиану, растрепанную, в ужасном состоянии после только что происшедшей дикой сцены. Однако она не обнаружила никакого страха, не кричала, не молила о пощаде. Она была измучена жизнью и, казалось, даже хотела, чтобы Дельмар совершил убийство, а потому нарочно не звала на помощь. Во всяком случае, Ральф, находившийся в это время поблизости, не слышал никаких криков.

— Индиана, — воскликнул он, отшатнувшись от нее в ужасе и изумлении, — кто ранил вас?!

— Вы еще спрашиваете! — ответила она с горькой усмешкой. — Кто другой, как не «ваш друг»? Только у него поднимется рука на такое дело, только он имеет на это право.

Ральф швырнул на землю свою бамбуковую трость. Ему не нужно было оружия, голыми руками хотел он задушить Дельмара. В два прыжка очутился он у его двери и выбил ее ударом кулака... Дельмар лежал на полу, лицо его побагровело, шея раздулась, он задыхался от апоплексического удара.

Ральф подобрал разбросанные по полу бумаги. Узнав почерк Реймона и увидав взломанную шкатулку, он понял, что здесь произошло. Бережно собрав эти компрометирующие листки, он сейчас же передал их госпоже Дельмар и посоветовал немедленно сжечь их. По всей вероятности, Дельмар не успел еще прочесть все.

Затем он попросил ее уйти к себе, а сам собирался тем временем созвать слуг на помощь полковнику. Но Индиана не захотела ни сжечь бумаги, ни скрыть нанесенную ей рану.

— Нет, — высокомерно ответила она. — Я не хочу. Этот человек не пожелал в свое время утаить от госпожи де Карвахаль мое бегство, он поспешил разгласить то, что называл моим позором. Пусть же все видят теперь знак его позора, который он сам постарался запечатлеть на моем лице. Странная справедливость, требующая, чтобы один человек скрывал преступление другого, в то время как этот другой присваивает себе право безжалостно клеймить позором свою жертву!

Когда Ральф увидел, что полковник пришел в сознание, он стал упрекать его с такой резкостью, какой трудно было от него ожидать. И Дельмар, отнюдь не злой по натуре, заплакал, как ребенок, раскаиваясь в своем поступке. Но раскаяние его было какое-то

неосознанное, как это всегда бывает, когда люди действуют под влиянием минуты, не отдавая себе отчета ни в последствиях, ни в причинах своего поведения. Теперь он был готов броситься в другую крайность, хотел тут же позвать жену и просить у нее прощения, но Ральф отговорил его, убедив, что такое ребяческое поведение может умалить его авторитет и в то же время несколько не примирит Индиану с нанесенным ей оскорблением. Он прекрасно знал, что есть обиды, которые не прощаются, и несчастья, которые не забываются.

С этого времени Индиана возненавидела мужа. Все его попытки как-нибудь загладить свою вину привели только к тому, что она утратила последнее уважение к этому человеку. И в самом деле, вина его была огромна. Если не чувствуешь в себе достаточно силы холодно и неумолимо довести свою месть до конца, лучше отказаться от всякого поползновения проявить недовольство или неприязнь. Середины быть не должно: либо надо быть христианином и простить зло, либо человеком светским — и развестись с женой. К чувствам же Дельмара примешивалась известная доля эгоизма. Он был стар, заботы жены становились для него все более необходимыми. Он страшно боялся одиночества и если под влиянием оскорбленной гордости обращался с ней как грубый солдафон, то после некоторого размышления по-стариковски пугался, что она его бросит. Он был слишком стар и слаб и не надеялся стать отцом. Женившись, он сохранил привычки старого холостяка; он взял себе жену, как взял бы в дом экономку. Он прощал Индиане то, что она его не любит, движимый не нежными чувствами к ней, а старческим эгоизмом. Ее равнодушие огорчало его лишь потому, что он боялся на старости лет лишиться ее заботливого ухода.

Госпожа Дельмар всей душой презирала и ненавидела существующие законы о браке, ставившие ее в столь унижительную зависимость от нелюбимого мужа, и к этой ненависти примешивалось еще чувство личной неприязни. Но, быть может, присущее нам стремление к счастью, ненависть к несправедливости, жажда свободы, угасающие в нас только вместе с жизнью, не более как основные элементы эгоизма — под этим англичане подразумевают любовь к самому себе, которую рассматривают не как порок, а как право каждого человека. Мне кажется, что человек, осужденный страдать от законов, выгодных для других людей, должен, если в нем есть хоть

капля воли, бороться с таким произволом. Я думаю также, что чем благороднее и возвышеннее его душа, тем более чувствителен он к людской несправедливости. И если такой человек мечтает о том, что счастье должно быть наградой за добродетель, то какие ужасные сомнения, какое мучительное недоумение, какое разочарование принесет ему жизненный опыт!

Итак, все думы Индианы, все ее поступки, все муки были вызваны великой и ужасной борьбой природы человека с цивилизацией. Если бы горы пустынного острова могли послужить для нее надежным приютом, она, конечно, бежала бы туда, после того как муж чуть не убил ее. Но остров Бурбон был слишком мал, ее, несомненно, вскоре отыскали бы, и она решила, что только море и полная неизвестность ее местопребывания могут оградить ее от тирана. Приняв такое решение, она успокоилась и даже повеселела. Господин Дельмар был так поражен и обрадован этим, что со свойственной его примитивной натуре грубостью подумал: «Полезно иногда дать почувствовать женщине свою силу».

А она между тем мечтала о побеге, одиночестве и свободе. В ее больном воображении рождалось множество романтических планов: она думала о том, как поселится в пустыне Индии или Африки. По вечерам она следила за полетом птиц, улетающих на ночлег на остров Родригес. Этот уединенный остров сулил ей сладость одиночества, столь необходимого для истерзанной души. Но она не решилась искать убежища на соседних островах по тем же причинам, что и на острове Бурбон. Она часто встречала у себя в доме крупных подрядчиков с Мадагаскара, у которых были дела с ее мужем; то были люди неуклюжие, загорелые, грубые, их ум и смекалка проявлялись только в тех случаях, когда дело касалось торговли. Тем не менее их рассказы увлекали госпожу Дельмар; ей нравилось расспрашивать их об этом прекрасном, плодородном острове, и все, что они говорили о его чудесной природе, еще сильнее разжигало в ней желание уехать и скрыться там. Величина острова и немногочисленность европейского населения вселяли в нее надежду, что там ее не смогут найти. Итак, она остановилась на этом плане, и все ее помыслы были полны мечтами о жизни, которую она сама хотела себе создать. Мысленно она уже рисовала себе одинокую хижину у опушки девственного леса, на берегу неизвестной реки, где она сможет найти приют среди

племен, не знающих ига наших законов и предрассудков. В своем неведении она надеялась, что найдет там добродетели, изгнанные из нашего полушария, и будет мирно жить вне всякого общественного строя; она не представляла себе опасностей одинокой жизни, не думала о болезнях, свирепствующих в том климате. Слабая женщина, не имевшая сил вынести гнев мужчины, надеялась на то, что сможет противостоять нравам дикарей!

Погружаясь в эти романтические грезы и строя невероятные планы, она забывала о своих страданиях, она создавала себе особый мир и находила утешение, уходя от печальной действительности; она старалась не думать о Реймоне, ибо в предстоящей ей одинокой и созерцательной жизни для него не оставалось места. Занятая мыслями о будущем, которое она создавала в своих мечтах, она меньше думала о прошлом; она чувствовала себя более смелой и свободной, и ей казалось, что она уже пожинает плоды своей отшельнической жизни. Но пришло письмо от Реймона, и все ее воздушные замки рассеялись как дым. Теперь ей казалось, что она любит его больше прежнего. Мне не хочется думать, что она никогда не любила его всеми силами души. По-моему, неразделенная любовь так же отличается от любви взаимной, как заблуждение от истины; мне кажется, что собственная восторженность и пылкость настолько ослепляют нас, что мы принимаем такое увлечение за сильное и истинное чувство, и только позднее, вкусив блаженство настоящей любви, мы узнаем, как мы обманывались.

То, что писал Реймон о себе и своем положении, снова вызвало в сердце Индианы порыв великодушия, свойственного ее натуре. Узнав, что он одинок и несчастлив, она сочла своим долгом забыть о прошлом и не думать о будущем. Накануне она хотела бросить мужа из чувства ненависти и обиды; теперь она даже жалела, что не уважает его и потому не может принести Реймону настоящую жертву. Она была в столь восторженном состоянии, что такие доказательства ее любви, как побег от вспыльчивого мужа, способного убить ее, и опасное четырехмесячное путешествие по морю, казались ей недостаточными. Она с радостью отдала бы жизнь за одну улыбку Реймона и не сочла бы это слишком дорогой ценой. Так уж создана женщина!

Теперь весь вопрос был в том, чтобы уехать. Обмануть подозрительного мужа и проникательного Ральфа было делом нелегким. Но не в этом заключалось главное препятствие; трудно было избежать огласки, потому что, по закону, каждый пассажир должен был объявить о своем отъезде в газетах.

Среди немногих судов, стоявших на якоре в опасной Бурбонской гавани, был корабль «Евгений», который готовился к отплытию в Европу. Индиана долго искала случая поговорить с капитаном украдкой от мужа; всякий раз, как она выражала желание прогуляться в порт, он просил сэра Ральфа сопровождать ее, а сам следил за ними с терпением, приводившим ее в отчаяние. Однако, тщательно собирая все сведения и стараясь найти какую-либо возможность для выполнения своего плана, Индиана узнала, что у капитана судна, отходящего во Францию, в деревне Салин, в глубине острова, живет родственница и что он часто возвращается от нее пешком обратно на корабль. С этой минуты она не покидала скалы, служившей ей наблюдательным пунктом. Чтобы не вызвать подозрений, она добиралась туда окольными тропинками и с наступлением ночи таким же путем возвращалась домой; но все было напрасно: интересовавший ее путник не появлялся.

Оставалось только два дня, на которые она могла рассчитывать, так как подул ветер с берега. Якорная стоянка становилась ненадежной, и капитан Рандом горел нетерпением выйти в открытое море.

Тогда она обратилась с горячей мольбой к богу — защитнику угнетенных и слабых, а затем, пренебрегая опасностью, не думая о том, что ее могут заметить, вышла на дорогу, ведущую в Салин. Не прошло и часа, как капитан Рандом стал спускаться по тропинке. Это был настоящий морской волк, всегда грубый и циничный, независимо от настроения; его взгляд заставил похолодеть от ужаса бедную Индиану. Однако она собрала все свое мужество и пошла ему навстречу с решительным и полным достоинства видом.

— Сударь, — сказала она, — я отдаю в ваши руки свою жизнь и честь. Я хочу покинуть колонию и вернуться во Францию. Если вы не согласитесь взять меня под ваше покровительство и выдадите мою тайну, мне останется только одно — броситься в море.

Капитан в ответ стал божиться, что море откажется потопить такую красивую шхуночку и что он готов тащить ее на буксире хоть на край света, раз она сама становится под ветер.

— Значит, вы согласны, сударь? — с тревогой спросила его госпожа Дельмар. — В таком случае прошу вас принять вот это в уплату за переезд.

И она протянула ему футляр с драгоценностями, когда-то подаренными ей госпожой де Карвахаль. В них заключалось все ее состояние. Но у моряка было другое на уме, и он вернул футляр, добавив несколько слов, от которых у Индианы вся кровь прилила к лицу.

— Я очень несчастлива, сударь, — ответила она, еле сдерживая слезы, блестевшие на ее длинных ресницах. — Мой поступок дает вам право оскорблять меня, но если бы вы знали, как невыносима для меня жизнь на этом острове, вы, несомненно, почувствовали бы ко мне сострадание, а не презрение.

Благородный и трогательный вид Индианы произвел впечатление на капитана Рандома. Люди, обычно не склонные к состраданию, в некоторых случаях способны чувствовать глубоко и искренне. Он тотчас же вспомнил несимпатичную внешность полковника Дельмара и ходившие в колонии толки о его обращении с женой. Присматриваясь опытным глазом распутника к этой хрупкой, прелестной женщине, он был поражен ее невинным и наивным видом; в особенности тронул его белый шрам, выступивший у нее на лбу, когда она покраснела. В свое время он имел с Дельмаром торговые дела и затаил обиду на этого несговорчивого и прижимистого человека.

— Черт возьми, — воскликнул он, — я презираю мужчину, способного ударить сапогом по лицу такую хорошенькую женщину! Дельмар — сущий разбойник, и я с удовольствием подложу ему свинью. Но будьте осторожны, сударыня, и не забывайте, что я рискую для вас своим положением. Вам следует незаметно скрыться, когда зайдет луна, и выпорхнуть, как маленькой птичке, из глубины какого-нибудь темного ущелья...

— Я знаю, сударь, — продолжала она, — что, оказывая мне такую услугу, вы нарушаете существующие законы и рискуете

заплатить штраф; вот почему я прошу вас принять мои драгоценности — они стоят вдвое дороже, чем плата за проезд.

Капитан с улыбкой взял футляр.

— Сейчас не время для денежных расчетов, — прибавил он, — но я охотно возьму на сохранение ваш маленький капитал. Принимая во внимание обстоятельства, я полагаю, что у вас, вероятно, не будет большого багажа; приходите в ночь, когда мы будем сниматься с якоря, на скалы Пальмовой бухты. Туда около двух часов ночи я пришлю за вами шлюпку с двумя хорошими гребцами, и они доставят вас на борт.

День отъезда пролетел как сон. Индиана боялась, что он будет тянуться долго и мучительно, но он промелькнул, как одно мгновение. Тишина и спокойствие, царившие на плантации, составляли резкий контраст с душевной тревогой, волновавшей госпожу Дельмар. Она заперлась у себя в спальне и приготовила те немногие вещи, какие хотела взять в собою; потом, пряча их под шалью, постепенно перенесла все в Пальмовую бухту, уложила там в корзинку и зарыла ее в песок. Море было беспокойно, и ветер с каждым часом крепчал. Из предосторожности «Евгений» вышел из порта, и госпожа Дельмар видела вдали белые вздувшиеся паруса судна, лавирующего по ветру, чтобы удержаться на стоянке. Ее душа неудержимо стремилась навстречу кораблю, который, словно горячий конь, в нетерпении рвался с места. Прежний покой и тишина охватывали ее в горных ущельях, когда она возвращалась в глубь острова. Солнце ярко светило, воздух был чист, весело щебетали птицы, жужжали насекомые; работы шли своим обычным порядком, как накануне, и никому не было дела до ее мучительных переживаний. Тогда она начинала сомневаться в реальности всего происходящего и спрашивала себя, уж не грезит ли она наяву?

К ночи ветер стих. «Евгений» подошел ближе к берегу, и на закате солнца госпожа Дельмар услышала со своей скалы пушечный выстрел, гулко раскатившийся по всему острову. Это был сигнал, оповещавший, что судно отплывает завтра с восходом солнца.

После обеда господин Дельмар почувствовал себя нехорошо. Его жена подумала, что все пропало, что весь дом будет теперь всю ночь на ногах и ее план рухнет; кроме того, он страдал, нуждался в ней, — в такую минуту она не должна была бы покидать его. Ее охватило раскаяние, и она спрашивала себя, кто пожалеет этого старика, когда она его бросит. Мысль о том, что она может оказаться преступницей в собственных глазах и что голос совести осудит ее сильнее, чем общественное мнение, приводила ее в ужас. Если бы, как обычно, Дельмар грубо и настойчиво требовал ее забот, если бы был капризен и раздражителен, то Индиане, этой угнетаемой им рабыне, показалось

бы законным и сладостным возмутиться против его власти. Но он впервые за всю жизнь переносил свои страдания терпеливо и тепло благодарил жену за заботу. В десять часов вечера он заявил, что чувствует себя совсем хорошо, потребовал, чтобы она пошла отдохнуть, и просил всех больше о нем не беспокоиться. Ральф подтвердил, что ему действительно гораздо лучше и что всего важнее для него теперь отдых и спокойный сон. Когда пробило одиннадцать, в доме все уже стихло. Госпожа Дельмар бросилась на колени и, обливаясь горькими слезами, стала молиться; она брала на свою душу великий грех и отныне только от бога могла ждать прощения. Затем она тихо вошла в комнату к мужу. Он спал крепким сном; лицо его было спокойно, дыхание ровно. Индиана уже собиралась уйти, как вдруг увидела в полутьме человека, спавшего в кресле. Это был Ральф, бесшумно пробравшийся сюда, чтобы в случае нового припадка прийти на помощь полковнику.

«Бедный Ральф, — подумала Индиана, — какой красноречивый и жестокий упрек мне!»

Ей захотелось разбудить его, признаться ему во всем, умолять его спасти ее от нее самой, но она вспомнила о Реймоне.

«Еще одну жертву приношу я ему, — подумала она, — и самую тяжелую: я жертвую для него своим долгом».

Любовь — добродетель женщины; проступки, совершенные во имя любви, она считает подвигом. Любовь дает ей силу бороться с угрызениями совести. Чем ей труднее совершить преступление, тем большей награды она ждет от любимого. Это тот фанатизм, который делает верующего способным на убийство.

Она всегда носила на шее золотую цепочку, доставшуюся ей от матери, и теперь, сняв с себя, тихонько надела ее на шею Ральфа — в залог своей братской любви; затем она еще раз осветила лицо своего старого мужа, желая убедиться, что он не страдает. Ему что-то снилось в это мгновение, и он произнес слабым и грустным голосом:

— Берегись этого человека, он погубит тебя.

Индиана задрожала с головы до ног и убежала в спальню. Она ломала руки в мучительной нерешительности; но вдруг ей пришла в голову мысль, внушившая ей мужество: ведь она едет не ради себя, а ради Реймона; она не ждет от него счастья, а сама должна дать ему это счастье и готова обречь себя на вечные муки, лишь бы скрасить

жизнь своего возлюбленного. Она бросилась бежать из дому и быстро достигла Пальмовой бухты, не смея обернуться и увидеть то, что оставляла позади.

Она откопала спрятанную корзинку и села на нее. Безмолвная и дрожащая, она прислушивалась к завыванию ветра, к шуму волн, разбивавшихся у ее ног, к пронзительному крику ночной птицы сатанита, доносившемуся из морских водорослей, что покрывали подножия скал. Но все эти звуки заглушались биением ее сердца, отдававшимся в ее ушах как звон погребального колокола.

Долго ждала она. Затем вынула часы, нажала репетир и убедилась, что назначенное время уже прошло. Море в эту ночь было очень бурным, а плавание у берегов острова Бурбон даже в тихую погоду настолько затруднительно, что Индиана стала уже сомневаться, приедут ли за ней гребцы, которым было поручено доставить ее на борт; но тут она увидела в блестящих волнах черный силуэт пироги, пытавшейся причалить к берегу. Прибой был так силен, волны так огромны, что утлое суденышко поминутно исчезало в волнах, словно в складках темного савана, усыпанного серебряными блестками. Индиана встала и несколько раз откликнулась на призывный сигнал, но ветер уносил ее крики, они не долетали до лодки. Наконец гребцы приблизились настолько, что смогли услышать ее голос; с большим трудом направили они лодку в ее сторону и остановились, дожидаясь попутной волны. Как только матросы почувствовали, что лодка приподнялась на гребне, они удвоили усилия, и волна выбросила их на берег.

Сен-Поль построен на почве, образовавшейся из морских наносов и песков, принесенных рекой Гале из далеких гор в свое устье. Груды обточенных прибоем камней образуют вдоль берега подводные мели, и течение уносит, раскидывает и вновь нагромождает их, как и где ему заблагорассудится. Такое передвижение каменистых мелей неизбежно приводит к кораблекрушениям, и самый умелый и ловкий лоцман не проведет судно среди этих постоянно перемещающихся подводных рифов. Большие корабли, стоящие в гавани Сен-Дени, часто срываются с якоря, сильное течение относит их к берегу, и они разбиваются вдребезги. Когда начинает дуть береговой ветер и наступает внезапный отлив, остается одно — скорее выбраться в открытое море, что и сделал бриг «Евгений».

Лодка уносила Индиану с ее небольшим багажом, а вокруг вздымались волны, выла буря, и гребцы ругались, не стесняясь вслух проклинать ее за ту опасность, которой они подвергались. Уже два часа тому назад, говорили они, корабль должен был сняться с якоря, из-за нее капитан упорно отказывался дать приказ об отплытии. Они высказывали оскорбительные и грубые предположения, и несчастная беглянка молча плотала стыд и обиду. Один из матросов заметил другому, что им может достаться за грубость по отношению к любовнице капитана.

— Отстань от меня! — ответил с руганью тот. — Как бы нам не пришлось иметь дело с акулами; если мы еще и встретимся с капитаном Рандомом, то уж, поверь мне, он будет не злее их.

— А вот и они, — заметил первый, — кажется, одна уже почувала нас, я вижу за лодкой какую-то страшную морду.

— Дурак, ты принимаешь собачью морду за морду морского хищника! Эй ты, четвероногий пассажир! Тебя, верно, забыли на берегу, но — тысяча чертей!

— не придется тебе отведать наших матросских галет! Нам дан приказ доставить только барышню, а о болонке разговору не было...

С этими словами он замахнулся веслом, чтобы ударить собаку по голове; в это время госпожа Дельмар рассеянно, сквозь слезы, взглянула на море и узнала свою красавицу Офелию, нашедшую ее по следу и теперь вплавь догонявшую лодку. В ту минуту, когда матрос хотел ударить собаку, волна далеко отбросила ее от лодки, и Индиана услышала ее жалобный, полный нетерпения визг. Она стала умолять гребцов подобрать Офелию, те, притворившись, что согласны, но когда верное животное подплыло к ним, они с грубым хохотом размозжили ему череп, и Индиана увидела на волнах труп Офелии — этого преданного друга, любившего ее больше, чем Реймон. В то же мгновение огромная волна вскинула лодку на гребень и увлекла ее за собою в бездну; теперь смех матросов сменился отчаянными ругательствами. Но плоская и легкая пирога вынырнула на поверхность и, птицей взлетев на гребень, снова погрузилась в бездну, чтобы опять подняться на пенный вал. По мере того как они удалялись от берега, море становилось менее бурным, и вскоре лодка поплыла быстро и беспрепятственно по направлению к кораблю. К гребцам вернулось хорошее настроение, а вместе с ним и способность

рассуждать. Они старались как-нибудь заладить свою грубость по отношению к Индиане, но их заигрывания были еще оскорбительнее, чем их злоба.

— Успокойтесь, дамочка, — сказал один из них, — вы спасены! Капитан, наверно, попотчует нас самым лучшим вином из камбуза за то, что мы доставили в целости и сохранности его драгоценный груз.

Другой сделал вид, будто сожалеет о том, что она сильно вымокла, и прибавил, что капитан ждет ее не дождется и позаботится о ней. Индиана не шевелилась и молча в страхе слушала их разговор; она понимала весь ужас своего положения и не видела другой возможности избежать оскорблений, как кинуться в море. Несколько раз она готова была выброситься из пироги, но сдерживала свое отчаяние, мысленно повторяя:

«Я терплю все эти муки ради него, ради Реймона. Пусть меня забросают грязью, но я должна жить!»

Она прижала руку к своему измученному сердцу и нащупала кинжал, который из инстинктивной предосторожности еще утром спрятала на груди. Сознание, что у нее есть оружие, успокоило ее; это был короткий отточенный стилет, который всегда носил ее отец, — старый испанский клинок, принадлежавший одному из представителей рода Медина-Сидония, чье имя вместе с датой — 1300 год — было выгравировано на стальном лезвии клинка. Наверное, этот стилет не раз обагрался благородной кровью, им, вероятно, было смыто не одно оскорбление, наказан не один наглец. Нашупав кинжал, Индиана почувствовала, что и в ее жилах течет испанская кровь, и смело вошла на корабль с мыслью, что женщине нечего бояться опасности, раз у нее есть возможность лишить себя жизни и тем избежать позора. Она не захотела мстить своим грубым проводникам, наоборот — щедро наградила их за услуги. Затем, удалившись в каюту на корме, с тревогой стала ждать часа отплытия.

Наконец рассвело, и на море появилось множество пирог, подвозивших пассажиров к кораблю. Индиана из своего уголка со страхом всматривалась в лица подъезжающих. Она боялась увидеть среди них мужа, явившегося за ней. Наконец пушечный выстрел, возвестивший об отплытии с острова, который был для нее тюрьмой, замер, отозвавшись эхом в скалах. За кораблем за клубилась пена, а взошедшее солнце озарило радостным розовым светом белые

вершины Салазских гор, которые постепенно скрывались за горизонтом.

Когда корабль отошел на несколько лье, капитан Рандом решил разыграть комедию, чтобы его не заподозрили в обмане. Он притворился, будто случайно обнаружил госпожу Дельмар, изобразил удивление, стал расспрашивать матросов, сделал вид, что рассержен, затем успокоился и, наконец, составил акт о том, что на борту корабля обнаружен «заяц», — обычная формулировка в подобных случаях.

Здесь позвольте мне закончить свой рассказ об этом плавании. Но я должен прибавить в оправдание капитана Рандома, что, несмотря на всю его грубость, у него оказалось достаточно здравого смысла, и он быстро разгадал характер госпожи Дельмар; после нескольких слабых попыток воспользоваться ее одиночеством капитан, тронутый ее несчастной судьбой, сделался ее другом и покровителем. Однако порядочность этого человека и достоинство, с каким держала себя Индиана, не спасли ее от всяких толков, насмешливых взглядов, оскорбительных предположений, непристойных шуточек и намеков. Это было настоящей пыткой для бедной женщины в течение всего путешествия; об утомлении, лишениях, опасностях, тоске и морской болезни я не говорю, потому что она сама считала их пустяками.

Через три дня после того, как письмо было отправлено на остров Бурбон, Реймон совсем забыл и о письме и о той, кому оно было адресовано. Он почувствовал себя гораздо лучше и решил поехать в гости к соседям. Имение господина Дельмара, Ланьи, которое он оставил кредиторам в счет долга, было приобретено богатым промышленником, неким господином Юбером, человеком предприимчивым, но достойным уважения, мало похожим на обычных богачей коммерсантов и скорее составлявшим исключение среди людей этого типа. Новый владелец уже устроился в доме, с которым у Реймона было связано столько воспоминаний. В саду, где, казалось, еще сохранились на песке следы легких ножек Нун, в просторных комнатах, где как будто еще раздавался нежный голос Индианы, его охватило сильное волнение, но вскоре присутствие нового лица изменило направление его мыслей.

В большой гостиной, на том самом месте, где обычно занималась рукоделием госпожа Дельмар, теперь сидела за мольбертом высокая и стройная молодая девушка с миндалевидными глазами, взгляд которых был нежным и в то же время лукавым, ласковым и в то же время насмешливым. Она развлекалась, срисовывая причудливые стенные фрески. Это была очаровательная копия, сделанная акварелью, тонкая и остроумная карикатура, носившая отпечаток насмешливого и изысканного вкуса художницы. Ей нравилось слегка преувеличивать претенциозную манерность старых фресок, уловив в чопорных фигурках дух мишурного и блестящего века Людовика XV. На ее рисунке воскресли прежние, поблекшие от времени, краски оригинала, она верно передала жеманную грацию льстивых царедворцев и одинаково пышно разряженных маркиз и пастушек. Эту насмешку над историей она назвала *подражанием*.

Она медленно подняла на Реймона свои пронизательные глаза, в которых сквозила какая-то насмешливая оболстительная и коварная ласка, чем напомнила ему почему-то шекспировскую *Анну Пейдж*. В ее манере держаться не было ни застенчивости, ни излишней

бойкости, ни светской жеманности или неуверенности в себе. У них завязался разговор на тему о влиянии моды на искусство.

— Не находите ли вы, сударь, что моральный облик эпохи отразился в этой живописи? — спросила она Реймона, указывая на панель, расписанную пасторалями в стиле Буше. — Ведь эти барашки ходят, спят и щиплют траву совсем не так, как теперешние. А эта прелестная прилизанная природа совсем не похожа на настоящую — эти пышные кусты роз, растущие в чаще леса, где в наше время встречается только шиповник; а ручные птички — такой породы, по-видимому, больше не существует; а эти атласные розовые платья, которые не выгорают от солнца? Сколько во всем этом поэзии, неги и счастья, как чувствуется здесь жизнь, полная покоя, бесполезная и безобидная. Несомненно, эти смешные фантазии стоят наших мрачных политических разглагольствований. Почему не родилась я в ту эпоху, — добавила она с улыбкой, — такой легкомысленной и пустой женщине, как я, гораздо больше пристало заниматься разрисовкой вееров и модами, чем обсуждать газетные статьи и разбираться в прениях палат!

Господин Юбер оставил молодых людей вдвоем, и постепенно их разговор перешел на госпожу Дельмар.

— Вы были очень дружны с прежними владельцами здешнего дома, — сказала молодая девушка, — и с вашей стороны очень любезно приехать к новым хозяевам. Госпожа Дельмар, говорят, замечательная женщина, — прибавила она, пристально глядя на него, — и, верно, оставила здесь по себе такие воспоминания, что нам трудно будет заставить вас забыть о ней.

— Превосходная женщина, — ответил Реймон равнодушно, — и муж ее очень достойный человек...

— Но, — беспечно возразила молодая девушка, — мне кажется, она больше, чем просто превосходная женщина. Насколько я помню, ее очаровательная внешность заслуживает более яркого и поэтического эпитета. Я видела ее два года тому назад на балу у испанского посланника. Она была обворожительна, вы помните?

Реймон вздрогнул при воспоминании о том вечере, когда он впервые заговорил с Индианой. Одновременно он припомнил, что на том же балу обратил внимание на изящное лицо и умные глаза

молодой девушки, разговаривающей с ним сейчас. Но тогда он не осведомился, кто она.

Да и теперь, только уезжая, когда он при прощании говорил господину Юберу комплименты по адресу его прелестной дочери, он узнал ее имя.

— Я не имею счастья быть ее отцом, — возразил промышленник, — но я вознаградил себя, удочерив ее. Разве вы не знаете моей истории?

— Я был болен несколько месяцев, — ответил Реймон, — и ничего не знаю о вас. Я только слышал, сколько добра вы уже сделали в нашей округе.

— Некоторые люди, — продолжал господин Юбер улыбаясь, — ставят мне в большую заслугу то, что я удочерил мадемуазель де Нанжи. Но вы, сударь, при вашем благородстве, поймете, что я не мог поступить иначе, ибо так подсказывала мне совесть. Десять лет тому назад благодаря неустанной работе я нажил большое состояние и, будучи человеком одиноким и бездетным, стал искать ему применения. Мне представилась возможность приобрести в Бургундии земли и замок де Нанжи, которые в то время принадлежали государству и очень мне нравились. Я уже некоторое время владел этим поместьем, когда узнал, что бывший хозяин живет в жалкой лачуге вдвоем с семилетней внучкой и что они очень бедствуют. Правда, старик получил вознаграждение за свои земли, но он полностью отдал эти деньги в уплату долгов, сделанных им в эмиграции. Мне захотелось облегчить его участь, и я предложил ему поселиться у меня. Но, несмотря на свои несчастья, он сохранил родовую гордость и отказался жить из милости в доме своих предков; вскоре после моего прибытия он умер, не пожелав принять от меня ни малейшей услуги. Тогда я взял к себе его внучку. Маленькой гордой аристократке поневоле пришлось согласиться на мою помощь; но в этом возрасте предрассудки неглубоки и принятые решения недолговечны. Очень скоро она привыкла считать меня своим отцом, и я воспитал ее так же, как воспитал бы собственную дочь. Она щедро вознаградила меня тем счастьем, которым озарена теперь моя старость. Боясь потерять это счастье, я удочерил мадемуазель де Нанжи и теперь стремлюсь только к тому, чтобы найти ей хорошего мужа, способного умело управлять состоянием, которое я ей оставлю.

Незаметно для себя этот достойный человек под влиянием интереса, проявленного Реймоном к его рассказам, в первое же свидание с откровенностью простолоудина посвятил его во все свои домашние дела. Тут внимательный собеседник понял, что у него крупное и прочное состояние, находящееся в полном порядке и ожидающее только хозяина, более молодого и с более изысканными вкусами, чем добряк Юбер. Реймон почувствовал, что он, возможно, и есть тот самый человек, который призван выполнить эту приятную обязанность, и поблагодарил изобретательную судьбу, сумевшую так удачно подстроить все в его интересах и столкнувшую его при помощи романтической случайности с молодой особой, равной ему по происхождению, наследницей богатого племени. Такой счастливый случай нельзя было упустить, и он принялся действовать со свойственным ему искусством. К тому же сама наследница была очаровательна, и Реймон готов был забыть о выпавших на его долю испытаниях.

Что касается госпожи Дельмар, то он не хотел даже и думать о ней. Он гнал прочь опасения, которые внушало ему посланное им письмо, и старался уверить себя, что бедная Индиана не поймет его скрытого смысла или что у нее не останется мужества что-либо предпринять. Реймону удалось наконец убедить себя в собственной невинности, ибо ему было бы очень тяжело признаться в эгоизме. Он не принадлежал к тем простодушным злодеям, которые появляются на сцене лишь для того, чтобы чистосердечно покаяться самим себе в присущих им пороках. Порок не любит своего изображения, так как он испугался бы собственного изображения, и шекспировский Яго, закоренелый злодей в своих поступках, поражает неестественностью вложенных в его уста речей, когда, вынужденный сценическими условностями, разоблачает себя и все тайники своей коварной и порочной души. Редкий человек может так хладнокровно презирать свою совесть. Обычно он извращает ее, подчиняет своим требованиям и, когда она уже изломана и исковеркана, обращается к ней как к снисходительному и податливому наставнику, потакающему его выгодам и страстям, что не мешает, однако, этому человеку притворяться, будто он боится своей совести и прислушивается к ней.

Итак, Реймон стал часто бывать в Ланьи, и его посещения были приятны господину Юберу — вы уже знаете, что Реймон обладал

искусством нравиться; вскоре богач только и мечтал, как бы назвать его своим зятем. Но господин Юбер хотел, чтобы его приемная дочь сама остановила свой выбор на Реймоне, и предоставил молодым людям полную свободу ближе познакомиться и узнать друг друга.

Лора де Нанжи не торопилась осчастливить Реймона и очень искусно держала его на грани сомнений и надежд. Менее великодушная, чем госпожа Дельмар, но более изворотливая, холодная и льстивая, гордая и в то же время приветливая, она была именно той женщиной, которая могла покорить Реймона, ибо в такой же мере превосходила его лукавством, в какой он превосходил в этом отношении Индиану. Она очень скоро поняла, что ее поклонник домогается ее богатства не меньше, чем ее самой, но она была женщиной здравомыслящей и не ожидала ничего иного. У нее было слишком много благоразумия, чтобы мечтать о бескорыстной любви, которая бы не зависела от ее миллионного приданого. Спокойно, философски смотря на вещи, она примирилась с этим и не осуждала Реймона; она не презирала его за то, что он расчетлив и практичен, как истый сын своего века, но слишком хорошо понимала его, чтобы любить.

Она гордилась тем, что идет в ногу со своим холодным, рассудочным веком, и из самолюбия не позволила бы себе питать наивные иллюзии, а всякое разочарование сочла бы последней глупостью. Словом, она видела героизм в том, чтобы не допустить в свое сердце любовь, тогда как госпожа Дельмар, наоборот, всем сердцем стремилась к ней.

Считая брак социальной необходимостью, мадемуазель де Нанжи согласилась выйти замуж, но пока ей доставляло лукавое удовольствие пользоваться своей свободой и время от времени проявлять свою власть над человеком, стремившимся отнять у нее эту свободу. Этой молодой девушке, которой суждено было рано познать все ничтожество богатства, были неведомы безмятежность юности и сладкие грезы, для нее не существовало светлого, заманчивого будущего. Жизнь казалась ей построенной на холодном расчете, а счастье — наивной иллюзией, которой следовало опасаться как смешной слабости.

В то время как Реймон устраивал свою судьбу, Индиана приближалась к берегам Франции. Каковы же были ее изумление и

ужас, когда по прибытии она увидела на стенах Бордо трехцветное знамя. В городе царило сильное волнение: накануне чуть не убили префекта, народ всюду поднимался, гарнизон, казалось, готовился к кровавой борьбе, но никто еще не знал результатов восстания в Париже.

«Я приехала слишком поздно!» Эта мысль как громом поразила госпожу Дельмар. Она была так взволнована, что, оставив на корабле последние деньги и вещи, в полной растерянности принялась бродить по городу. Она искала дилижанс, который отправлялся бы в Париж, но все почтовые кареты были переполнены; люди в панике бежали из города или спешили поживиться имуществом побежденных. Только к вечеру Индиана получила место в дилижансе. Но в тот момент, когда она садилась в дилижанс, патруль национальной гвардии задержал пассажиров и потребовал, чтобы они предъявили свои документы. У Индианы их не оказалось. Пока она старалась рассеять нелепые подозрения торжествующих победу национальных гвардейцев, она услышала вокруг себя разговоры о том, что королевская власть пала, король бежал, а его министры и все их приверженцы перебиты. Эти новости, сопровождавшиеся криками ликования и радости, поразили госпожу Дельмар в самое сердце. В происходившей во Франции революции ее лично интересовало лишь одно, во всей стране для нее существовал лишь один человек. Она упала без чувств на мостовую и пришла в себя уже в больнице через несколько дней.

Только два месяца спустя она вышла оттуда, без денег, без вещей, без белья, слабая, еле живая, перенесшая воспаление мозга, истощенная болезнью, во время которой не раз была на краю гибели. Когда она очутилась на улице, едва держась на ногах, одна, без поддержки, без средств и без сил, когда с усилием вспомнила, что с ней произошло, и поняла, как она бесконечно одинока в этом большом городе, ее охватило невыразимое чувство страха и отчаяния при мысли о том, что судьба Реймона давно уже решена и что около нее нет никого, кто мог бы вывести ее из мучительной неизвестности. Ужасное сознание одиночества тяготило ее больную душу, и безнадежное отчаяние, вызванное обрушившимися на ее невзгодами, понемногу притупило все ее чувства. В состоянии полного душевного оцепенения она дотащилась до гавани и, дрожа от лихорадки, села на каменную тумбу погреться на солнышке; она просидела так несколько

часов, равнодушно уставясь на воду, плескавшуюся у ее ног, ничего не желая, ни о чем не думая, ни на что не надеясь; затем вспомнила, что оставила вещи и деньги на бриге «Евгений» и, быть может, сумеет получить их обратно; но уже стемнело, и она не осмелилась справиться о корабле у матросов, которые со смехом и грубыми шутками заканчивали свою дневную работу. Не желая привлечь внимания, она вышла из гавани и решила укрыться в развалинах снесенного дома, стоявшего позади широкой набережной Кэнконс. Там, забившись в угол, она провела целую ночь — холодную октябрьскую ночь, полную горьких дум и страхов. Наконец наступил день, а с ним и острый, мучительный голод. Она решила просить милостыню. Ее одежда, хотя и потрепанная, все же была слишком хороша для нищенки: на нее смотрели с любопытством, недоверием и насмешкой и ничего не подавали. Она снова побрела в порт, спросила о бриге «Евгений» и узнала от первого встретившегося ей матроса, что это судно все еще стоит в Бордо на рейде. Отправившись туда на лодке, она застала капитана Рандома за завтраком.

— Как, моя прекрасная пассажирка, вы уже вернулись из Парижа? — воскликнул он. — Хорошо, что вы прибыли, а то я завтра отправляюсь в обратный путь. Не надо ли вас доставить на остров Бурбон?

Он сообщил госпоже Дельмар, что повсюду разыскивал ее, желая передать ей вещи. Но, когда Индиану взяли в больницу, она не имела при себе никаких документов, по которым можно было бы узнать, кто она. В больнице и в полиции она так и значилась: «неизвестная», и потому капитан не мог получить о ней никаких сведений.

На следующий день, невзирая на слабость и утомление, Индиана выехала в Париж. Казалось бы, теперь она могла успокоиться, увидя, какой оборот приняли политические события; но тревога не рассуждает, а любовь внушает необоснованные опасения.

Прибыв в Париж, она в тот же вечер поспешила к Реймону и с замиранием сердца стала расспрашивать о нем привратника.

— Барин здоров, — ответил тот, — он сейчас в Ланьи.

— В Ланьи? Вы, верно, хотите сказать в Серей?

— Нет, сударыня, в Ланьи, теперь он хозяин этого имения.

«Милый Реймон! — подумала Индиана. — Он купил наше имение, чтобы я могла укрыться там от людской злобы. Он был уверен,

что я вернусь!..»

Опьяненная счастьем, окрыленная надеждой на новую жизнь, Индиана побежала устраиваться в гостинице. Ночь и часть следующего дня она отдыхала. Уже столько времени несчастная женщина не спала спокойно! Ей снились сладкие, обманчивые сны, и, проснувшись, она не пожалела об иллюзиях сновидений, так как действительность казалась ей полной надежды. Она тщательно оделась, потому что знала, какое значение придает Реймон всем мелочам костюма. Накануне она заказала себе новое красивое платье, которое ей принесли к ее пробуждению. Но, когда она захотела сделать прическу, оказалось, что это нелегко: ее чудесные длинные волосы остригли в больнице. Только сейчас она обратила на это внимание, — все это время тяжелые переживания и заботы отвлекали ее от всяких мыслей о своей внешности.

Тем не менее, когда она завила свои короткие черные волосы и взбила их над белым высоким лбом, когда надела на свою хорошенькую головку маленькую шляпу английского фасона и приколотла к поясу любимые цветы Реймона, она решила, что у нее еще есть надежда понравиться ему; теперь она снова стала хрупкой и бледной, как в первые дни их знакомства; болезнь стерла с ее лица следы тропического загара.

После полудня она наняла экипаж и около девяти часов вечера подъехала к деревне, находившейся на опушке леса Фонтенебло. Там она велела выпрячь лошадей и приказала кучеру дожидаться ее до утра, а сама пошла пешком по лесной тропинке и менее чем через четверть часа очутилась у парка Ланьи. Она попыталась открыть калитку, но та оказалась запертой изнутри. Индиане хотелось войти тайком, незамеченной слугами, и неожиданно появиться перед Реймоном. Она пошла вдоль ограды парка. Ограда была старая, и Индиана вспомнила, что местами она проломана; действительно, на ее счастье, она вскоре нашла одно такое место и без особого труда проникла в парк.

Ступив на землю, которая принадлежала Реймону и отныне должна была стать ей убежищем, святыней, крепостью и родиной, она почувствовала, что сердце ее забилось от счастья. Радостная и легкая, бежала она по извилистым и так хорошо знакомым ей аллеям английского парка, в этой своей части мрачного и пустынного. Все

здесь осталось по-прежнему, исчез только мостик, связанный для нее с такими горестными воспоминаниями, и самое русло реки было отведено; места, напоминавшие о смерти Нун, совсем изменили свой облик.

«Он хотел, чтобы ничто не напоминало мне о тех тяжелых минутах, — решила Индиана. — Напрасно, я все бы вынесла. Ведь это ради меня он омрачил свою душу такими тяжелыми угрызениями совести. Отныне мы равны, ибо я тоже совершила преступление. Очень возможно, что я виновница смерти мужа. Реймон может принять меня в свои объятия, мы заменим друг другу и чистую совесть и добродетель».

Она перешла реку по доскам, положенным там, где предполагалось построить новый мостик, и вышла в цветник. Здесь она остановилась; сердце ее готово было разорваться. Она подняла глаза к окну своей бывшей спальни. О счастье! За голубыми занавесками сиял свет, — значит, Реймон был там. Да и мог ли он выбрать для себя другую комнату? Дверь потайной лестницы оказалась открытой.

«Он каждую минуту ждет меня, — подумала она, — он будет счастлив, но не изумлен».

На лестнице она остановилась, чтобы немного перевести дух. Радость была для нее не так привычна, как горе, и она почувствовала, что силы изменяют ей. Нагнувшись, она поглядела в замочную скважину. Реймон был один, он читал. Да, это был он, Реймон, полный жизни и сил; горе нисколько не состарило его, политические бури не тронули ни одного волоска на его голове. Он сидел спокойный и красивый, подперев белой рукой свою темноволосую голову.

Индиана порывисто толкнула дверь, и та послушно открылась.

— Ты ждал меня! — воскликнула она, падая на колени и прижимаясь головой к груди Реймона. — Ты считал месяцы, дни! Ты видел, что все сроки прошли, но был уверен, что я не могу не откликнуться на твой призыв... Ты позвал меня — и вот я здесь, я здесь! Мне кажется, я умираю!..

Мысли ее смешались. Некоторое время она молчала, задыхаясь, не будучи в состоянии ни говорить, ни думать.

Затем, как бы очнувшись, она открыла глаза, узнала Реймона и, вскрикнув, с неистовой радостью прильнула к его губам, опьяненная счастьем и страстью. Он был бледен, нем и неподвижен, словно оглушенный громом.

— Разве ты не узнаешь меня? — вскричала она. — Это я, твоя Индиана, твоя раба! Ты позвал меня из изгнания, и я проехала три тысячи лье для того, чтобы любить тебя и служить тебе. Я избранная тобою подруга жизни, ради тебя я бросила все, ничего не побоялась, пожертвовала всем, чтобы дать тебе эту минуту счастья. Счастлив ли ты? Доволен ли мной? Отвечай! Я жду награды. Одно слово, один поцелуй — и я буду вознаграждена сторицей!

Реймон ничего не отвечал. Свойственная ему необычайная самоуверенность на этот раз покинула его. Он был потрясен, подавлен ужасом и раскаянием при виде этой женщины у своих ног. Он закрыл лицо руками и готов был провалиться сквозь землю.

— Боже мой! Боже мой! Ты молчишь, не целуешь меня, не отвечаешь ни слова! — воскликнула госпожа Дельмар, обнимая его колени. — Ты не в силах отвечать? Счастье причиняет страдание, оно может убить, я это знаю. Ах! Ты страдаешь, ты задыхаешься, я появилась слишком внезапно. Посмотри же на меня, посмотри, какая я бледная, как постарела, сколько я выстрадала. Но я страдала ради тебя, и за это ты полюбишь меня еще сильнее! Скажи мне хотя бы слово, хотя бы одно слово, Реймон!

— Мне хочется плакать, — произнес глухим голосом Реймон.

— Мне тоже! — ответила она, покрывая поцелуями его руки. — Да, слезы облегчают. Плачь, плачь у меня на груди, я осушу твои слезы своими поцелуями. Я пришла дать тебе счастье, Реймон, я буду для тебя всем, чем ты захочешь, — твоей подругой, служанкой или любовницей. Прежде я была жестокой, безумной эгоисткой; я мучила тебя и не хотела понять, что требую от тебя невозможного. Но с тех пор я много передумала, и раз ты не боишься людского мнения и идешь ради меня на все, я готова для тебя на любую жертву. Располагай мной, бери мою жизнь, я твоя душой и телом. Три тысячи лье я проехала, чтобы стать твоей, чтобы сказать тебе об этом. Возьми же меня, я твоя собственность, ты мой господин!

В голове Реймона вдруг мелькнула адски коварная мысль. Он опустил руки, которыми закрывал лицо, и с дьявольским

хладнокровием посмотрел на Индиану. Жестокая усмешка появилась на его губах, глаза его загорелись, так как Индиана была еще очень хороша.

— Прежде всего тебе надо спрятаться, — сказал он вставая.

— Зачем мне прятаться? — спросила она. — Разве ты не хозяин здесь и не можешь принять и защитить меня? Ведь у меня, кроме тебя, нет никого на свете, и без тебя мне придется просить милостыню на больших дорогах. Не бойся, свет не посмеет осудить тебя за твою любовь ко мне. Всю вину я принимаю на себя... Я во всем виновата... Но куда ты уходишь? — закричала она, видя, что он направляется к двери.

Она со страхом прильнула к нему, как ребенок, боящийся хоть на минуту остаться один, и на коленях поползла за ним.

Он намеревался запереть дверь на ключ, но было уже слишком поздно: не успел он взяться за ручку, как дверь отворилась, и вошла Лора де Нанжи. Казалось, она была скорее оскорблена, чем удивлена; у нее не вырвалось ни единого восклицания, она только немного наклонилась и, прищурившись, посмотрела на женщину, лежавшую почти без чувств на полу. Затем с холодной и презрительной усмешкой сказала:

— Госпожа Дельмар, вам было угодно поставить нас троих в несколько странное положение; спасибо вам за то, что мне по крайней мере вы предоставили наименее смешную роль. В благодарность за это я могу сказать вам только одно: потрудитесь удалиться!

Негодование вернуло силы Индиане, и она встала с гордым и независимым видом.

— Кто эта женщина, — обратилась она к Реймону, — и по какому праву она приказывает мне у вас в доме?

— Вы находитесь здесь у меня в доме, сударыня, — возразила Лора.

— Отвечайте же, сударь! — закричала Индиана, яростно тряся несчастного Реймона за руку. — Скажите, кто она вам — любовница или жена?

— Жена, — ответил совершенно растерявшийся Реймон.

— Я прощаю вам ваше неведение, — сказала госпожа де Рамьер с жестокой улыбкой. — Если бы вы оставались там, где, согласно вашему долгу, вам надлежало быть, вы получили бы извещение о

свадьбе господина де Рамьера. Право, Реймон, — прибавила она с насмешливой любезностью, — мне очень жаль, что вы попали в такое неловкое положение, но всему виной ваша молодость; в дальнейшем, надеюсь, вы поймете... что в жизни следует быть более осторожным. Предоставляю вам самому закончить эту нелепую сцену. Она вызвала бы у меня смех, если бы у вас не было такого несчастного вида.

С этими словами она удалилась, довольная тем, что держалась с достоинством, и втайне торжествуя, что ее муж оказался в столь унижительном и зависимом от нее положении.

Когда к Индиане вернулась способность чувствовать и мыслить, она увидела, что сидит в карете, быстро катившейся по направлению к Парижу.

У заставы карета остановилась, к дверце подошел слуга, которого госпожа Дельмар узнала, так как он и в прежнее время служил у Реймона, и спросил, куда барыня прикажет себя доставить. Индиана машинально назвала улицу и гостиницу, где остановилась накануне. Приехав туда, она упала на стул и просидела так до утра, позабыв о сне, не будучи в состоянии двинуться, желая только умереть; но она была слишком разбита и подавлена, чтобы найти в себе силы для самоубийства. Ей казалось, что после таких страданий жить невозможно и что смерть сама придет за ней. Она просидела так весь следующий день, ничего не ела и не отвечала, когда к ней обращались с предложением услуг.

Я не знаю ничего более ужасного, чем пребывание в плохой парижской гостинице, в особенности если она, подобно той, о которой идет речь, помещается на узкой и темной улице, где в пасмурные дни тусклый свет как бы нехотя пробивается сквозь пыльные окна и ползет по закоптелому потолку. Да и в окружающей вас чужой и непривычной обстановке есть что-то неприятное и холодное; не на чем остановить взгляд, ничто не вызывает приятного воспоминания. Тут все предметы, если можно так выразиться, никому не принадлежат, потому что принадлежат всем постояльцам сразу; в этом помещении никто не оставляет иного следа своего пребывания, кроме никому не известной фамилии на визитной карточке, засунутой иногда за раму зеркала. Эти сдаваемые внаем помещения, служащие приютом для стольких бедных путешественников, стольких одиноких чужестранцев, для всех одинаково негостеприимны; стены их видели много людских страданий, но не умеют ничего о них рассказать; разноголосый и непрерывный уличный шум не позволяет спокойно уснуть и хоть на время забыться, освободившись от скуки и тоски. Эта обстановка может вызвать тяжелое, подавленное настроение даже у людей, не находящихся в таком ужасном душевном состоянии, в каком приехала сюда госпожа Дельмар.

Несчастный житель провинции, ты покинул поля, голубое небо, зеленые леса, дом и семью для того, чтобы запереться в этой темнице

духа и сердца, так смотри же: вот он, Париж, вот прекрасный Париж, который представлялся тебе полным чудес! Смотри, вот он расстилается перед тобой, почерневший от дождя и грязи, шумный, зловонный, стремительный, как поток сточной канавы! Вот тот обещанный тебе непрерывный праздник жизни, блестящий и благоухающий, вот они, эти опьяняющие удовольствия, эти захватывающие неожиданности, услада для зрения, слуха и вкуса, которые манили тебя, а ты боялся, что у тебя не хватит сил упиться всем сразу. Смотри, вот бежит парижанин; он вечно спешит, вечно озабочен; это тот самый парижанин, которого тебе изображали таким любезным, предупредительным и гостеприимным! Утомленный шумной толпой и бесконечным лабиринтом улиц, ты в ужасе спасаешься в «приветливую» гостиницу, где тебе наскоро отводит помещение единственный слуга этого иногда огромного заведения и где ты можешь спокойно умереть, пока дождешься, чтобы он явился на твой зов, если от утомления и горя не имеешь сил сам позаботиться о тысяче мелочей, нужных для жизни.

Но быть женщиной и очутиться здесь, отвергнутой всеми, за три тысячи лье от своих близких; очутиться здесь без денег, что гораздо хуже, чем оказаться без воды в необъятной пустыне; не иметь в прошлом ни одного счастливого воспоминания, которое не было бы отравлено или выпачкано грязью; не иметь в будущем никакой надежды, ничего, что могло бы отвлечь от тяжелой действительности, — вот предел людского несчастья и заброшенности. И госпожа, Дельмар покорила своей горькой участи и не пыталась бороться за свою разбитую, погибшую жизнь; без единой жалобы, без единой слезы предоставила она голоду, болезни и горю делать свое разрушительное дело и не предпринимала ничего, чтобы скорее покончить со своими страданиями.

Наутро второго дня ее нашли на полу, окоченевшую от холода, со стиснутыми зубами, посиневшими губами и потухшим взором; однако она была еще жива. Хозяйка гостиницы, осмотрев ящики письменного стола и убедившись, что там почти ничего нет, стала раздумывать, не отправить ли в больницу эту незнакомку, очевидно не имевшую средств оплатить расходы, которых требует длительная болезнь. Но так как она была женщина *гуманная*, то велела уложить Индиану в постель и послала за врачом, чтобы выяснить, проболит ли

ее постоялица больше двух дней. И тут неожиданно явился врач, за которым не посылали... Открыв глаза, Индиана увидела его у своего изголовья. Нет надобности называть вам его имя.

— Ах, это ты, ты! — вскричала еле живая Индиана, бросаясь в его объятия. — Это ты, мой добрый ангел! Но ты пришел слишком поздно: мне осталось только умереть, благословляя тебя.

— Вы не умрете, дорогой друг! — с волнением ответил Ральф. — Жизнь еще улыбнется вам. Законы, запрещавшие вам быть счастливой, отныне не будут служить помехой вашему чувству. Я дорого дал бы за то, чтобы разрушить те непреодолимые чары, какими опутал вас человек, которого я не люблю и не уважаю, но это не в моей власти, а видеть, как вы страдаете, я больше не в силах. Ваша жизнь до сих пор была ужасной, хуже она уже стать не может. Впрочем, если даже мои печальные предположения сбудутся, если счастье, о котором вы мечтали, продлится недолго, вы все же насладитесь им некоторое время и не умрете, не познав его. Итак, я решил подавить в себе антипатию к господину де Рамьеру. Судьба, подарившая мне эту встречу с вами, обязывает меня теперь, когда вы одиноки, стать вашим опекуном и отцом. Я должен сообщить вам, что вы свободны и можете соединить свою судьбу с судьбой господина де Рамьера. Дельмара больше нет в живых.

Слезы медленно катились по лицу Ральфа, когда он это говорил. Индиана порывисто приподнялась на кровати и, ломая руки, в отчаянии воскликнула:

— Мой муж умер! Это я убила его! Вы говорите мне о будущем и о счастье, но разве счастье возможно для человека, который ненавидит и презирает сам себя. Знайте же, что бог справедлив и что я проклята! Господин де Рамьер женился!

В изнеможении она снова упала на руки своего кузена. Только спустя несколько часов они возобновили этот разговор.

— Ваши угрызения совести мне понятны, но успокойтесь, — сказал Ральф торжественным и в то же время кротким и печальным тоном, — Дельмар был уже обречен, когда вы покинули его; он не проснулся от сна, в котором вы его оставили, он ничего не узнал о вашем бегстве и умер, не проклиная и не оплакивая вас. Под утро, очнувшись от дремоты, охватившей меня в то время, как я сидел у его изголовья, я увидел, что лицо его посинело, а сон стал тяжелым и

лихорадочным: с ним случился удар. Я побежал за вами и был очень удивлен, не найдя вас в спальне; но мне некогда было задумываться и искать вас, ваше отсутствие встревожило меня только после смерти Дельмара. Все медицинские средства ни к чему не привели, состояние его быстро ухудшалось; через час он скончался на моих руках, так и не придя в себя. Однако в последнее мгновение в его цепенеющем мозгу промелькнул луч сознания, он взял мою руку, приняв ее за вашу, ибо его пальцы уже похолодели и потеряли чувствительность, попытался пожать ее и умер, лепеча ваше имя.

— Я слышала его последние слова, — мрачно проговорила Индиана, — в ту минуту, когда я собиралась покинуть его навсегда; он разговаривал со мною во сне. «Этот человек погубит тебя», — сказал он. Слова его остались у меня здесь, — продолжала Индиана, прижав одну руку к сердцу, а другую ко лбу.

— Когда я собрался с силами и оторвался от мыслей об умершем, — снова заговорил Ральф, — я подумал о вас, о вас, Индиана. Теперь вы свободны и горевать о муже можете лишь по доброте сердечной или как человек верующий. Только для меня его смерть была утратой, так как я был его другом, и если он не всегда бывал приветлив, то, во всяком случае, у меня не было соперников в его сердце. Я боялся испугать вас слишком неожиданной новостью и решил дожидаться у входа в дом, полагая, что вы скоро вернетесь с утренней прогулки. Я ждал долго. Не буду говорить о моей тревоге, о поисках и о том ужасе, который обуял меня, когда я нашел окровавленный и разбитый о скалы труп Офелии, выброшенный волнами на берег. Увы! Я боялся обнаружить там же и ваш труп, ибо решил, что вы наложили на себя руки. В продолжение трех дней я считал, что на всем свете мне уже некого больше любить. Не стоит говорить вам о моих страданиях, вы должны были предвидеть их, покидая меня.

Однако вскоре в колонии распространился слух о вашем бегстве. Судно, пришедшее в наш порт, встретилось с бригом «Евгений» в Мозамбикском проливе, где оно подходило вплотную к вашему кораблю. Один из пассажиров узнал вас, и три дня спустя весь остров был осведомлен о вашем отъезде.

Не буду рассказывать вам о тех нелепых и оскорбительных толках, которые возникли из-за совпадения двух событий,

совершившихся в одну и ту же ночь: смерти вашего мужа и вашего бегства. Меня тоже не пощадили, строя и на мой счет различные *великодушные* предположения; но я не обращал на это никакого внимания. Я должен был выполнить свой долг — убедиться в том, что вы живы, и прийти вам на помощь, если это нужно. Я уехал вскоре после вас; переезд был ужасный, а я прибыл во Францию всего неделю тому назад. Моей первой мыслью было отправиться к господину де Рамьеру и узнать что-нибудь о вас. Но случайно я встретил его слугу Карла, который привез вас сюда. Я не спросил его ни о чем, кроме вашего адреса, и пришел в гостиницу, уверенный, что найду вас не одну.

— Одна, одна, покинутая самым недостойным образом! — воскликнула госпожа Дельмар. — Но не будем говорить об этом человеке! Никогда, никогда не будем говорить о нем! Я не могу больше любить его, ибо я его презираю; не надо напоминать мне о том, что я его любила, — это значило бы напоминать мне о моем позоре и преступлении и отравить ужасными укорами совести мои последние минуты. Ах! Будь моим ангелом-утешителем, ведь в несчастье ты всегда протягивал мне руку помощи. В последний раз выполни свою добрую миссию, скажи мне слово милосердия и утешения, дай мне умереть спокойно, уповая на прощение всевышнего судии.

Она призывала смерть, — но горе не разбивает, а только еще тверже скрепляет звенья цепи, связывающей нас с жизнью. Заболеть смертельной болезнью было бы для нее облегчением, но даже на это у нее не хватило сил, и она впала в какое-то состояние слабости и полнейшей апатии, граничащей с отупением.

Ральф всячески пробовал отвлечь ее внимание от всего, что могло ей напомнить о Реймоне. Он увез ее в Турень, окружил вниманием и заботами, неотлучно находился при ней и только и думал, как бы ему хоть немного облегчить ей существование; но, видя, что все его попытки ни к чему не приводят, что все его старания напрасны и не могут вызвать даже тени улыбки на ее мрачном и поблекшем лице, он приходил в отчаяние от своего бессилия и неумения утешить ее и горько упрекал себя за то, что при всей своей нежности и любви ничем не может помочь ей.

Однажды, когда она была в еще более подавленном и угнетенном состоянии, чем обычно, он, не смея заговорить с ней, с грустным видом молча сел рядом. Тогда Индиана обернулась к нему и, нежно пожав ему руку, сказала:

— Бедный Ральф, как я мучаю тебя! И с каким терпением помогаешь ты мне, эгоистичной и малодушной женщине, переносить мое несчастье. Право, ты уже давно выполнил свой тяжелый долг. Ни от какой самой преданной дружбы нельзя требовать большего, чем сделал для меня ты. Теперь предоставь меня моему горю. Не губи свою чистую и благородную жизнь, не связывай ее с моей проклятой судьбой, поищи счастья где-нибудь еще, раз оно невозможно возле меня.

— Я действительно отчаялся излечить вас, Индиана, — ответил он, — но никогда не покину вас, даже если вы скажете мне, что я вам надоел. Вы нуждаетесь в уходе и заботах, и если вы не хотите, чтобы я был вашим другом, позвольте мне по крайней мере быть вашим слугой. Выслушайте меня: я могу предложить вам одно средство, оставленное мной на крайний случай, и средство это заведомо верное.

— Я знаю только одно лекарство от горя, — ответила она, — это забвение, ибо уже давно убедилась, что разум здесь бессилён. Будем же надеяться, что время все излечит. Если бы я могла, я тотчас же, из благодарности к тебе, стала бы такой же веселой и спокойной, как в дни нашего детства. Поверь, мой друг, мне совсем не хочется носиться со своим горем и растравлять свою рану; разве я не знаю, что все мои страдания отзываются в твоём сердце? Увы, как бы я хотела все забыть и выздороветь! Но я всего лишь слабая женщина, Ральф; будь терпелив со мной и не считай меня неблагодарной.

И она горько заплакала. Сэр Ральф взял ее за руку.

— Послушай, дорогая моя Индиана, — сказал он. — Забвение не в нашей власти. Я не обвиняю тебя. Я могу вынести любые страдания, но видеть, как страдаешь ты, выше моих сил. Да и стоит ли нам, слабым созданиям, бороться с неумолимой судьбой? Довольно влачить это тяжкое существование. Бог, в которого мы оба верим, обрекая человека на страдания, дал ему возможность от них избавиться. Мне кажется, превосходство человека над неразумным животным и состоит в том, что он знает средство, которое может

избавить его от всех несчастий. Это средство — самоубийство, его-то я тебе и предлагаю и даже советую.

— Я часто думала об этом, — немного помолчав, ответила Индиана. — Когда-то у меня было сильное искушение лишиться себя жизни, и только мои религиозные взгляды удерживали меня от этого. С тех пор я много передумала в одиночестве, и мои мысли стали более возвышенными. Постигшие меня несчастья научили меня иной религии, не той, что исповедуют люди. Когда ты явился мне на помощь, я уже приняла решение умереть голодной смертью, но ты просил меня жить, и я не имела права отказать тебе в этой жертве. Теперь меня удерживают твоя жизнь и твое будущее. Что будешь делать ты, мой бедный Ральф, если останешься один на свете, без семьи, без любви, без привязанности? После нанесенных мне сердечных ран я уже ни на что не годна, но я, возможно, выздоровею. Клянусь тебе, Ральф, я приложу к этому все старания! Потерпи еще немного, быть может, скоро я начну улыбаться... Я хочу снова стать спокойной и веселой, хочу посвятить тебе свою жизнь, за которую ты столько боролся...

— Нет, нет, мой друг, — возразил Ральф, — я не хочу такой жертвы и никогда не приму ее. Разве моя жизнь дороже вашей? Чего ради обрекать себя на мучительное существование только для того, чтобы скрасить мне жизнь? Неужели вы думаете, что я могу наслаждаться жизнью, зная, что вы не разделяете моей радости? Нет, я не настолько эгоистичен. Поверьте мне, не следует брать на себя такой непосильный подвиг: отказаться от всякого себялюбия — это слишком большая гордыня и самонадеянность. Обсудим спокойно наше положение, будем рассматривать те дни, что нам остается прожить, как наше общее достояние, которым ни один из нас не имеет права располагать без согласия другого. Уже давно — с самого рождения, мог бы я сказать, — жизнь тяготит меня. Теперь у меня нет больше сил выносить ее без горечи и возмущения. Уйдем вместе, Индиана, вернемся к богу, пославшему нас на эту несчастную землю, в эту юдоль слез; он, без сомнения, не отвергнет нас и примет в свое лоно, когда, усталые и измученные, мы предстанем перед ним, умоляя его о милосердии и прощении. Я верю в бога, Индиана, и я первый научил вас верить в него. Послушайте меня: благородное сердце не укажет ложного пути тому, кто с чистой душой вопрошает его. Мы

оба так много страдали, что, наверно, искупили все наши грехи. Крещение горем очистило наши души, вернем их тому, кто создал их.

Эта мысль занимала Ральфа и Индиану в течение нескольких дней, после чего они решили, что вместе лишат себя жизни. Оставалось только выбрать способ самоубийства.

— Это очень важный вопрос, — сказал Ральф, — я уже размышлял над ним, и вот что я хочу предложить. То, что мы задумали, не плод минутного заблуждения, а спокойно, тщательно обдуманый шаг, который вытекает из нашей веры, поэтому приступить к выполнению его нужно с тем же благоговением, с каким верующий приступает к церковному таинству. Для нас мир — это тот храм, где мы поклоняемся богу. Среди величественной и девственной природы мы сильнее чувствуем его могущество, не оскверненное рукою человека. Вернемся же в пустыню, — там мы сможем молиться. Здесь, в этой стране, кишасей людьми и пороками, на лоне цивилизации, отвергающей бога или извращающей его лик, я буду чувствовать себя стесненным, рассеянным и печальным. А я бы хотел умереть радостно и безмятежно, обратив свой взор к небесам. Но разве здесь увидишь небо? Я укажу вам уголок земли, где можно расстаться с жизнью красиво и торжественно; это пустынное ущелье Берника на острове Бурбон, у водопада, низвергающего свои прозрачные, отливающие радугой воды в глубокую пропасть. Там провели мы самые счастливые дни нашего детства; там плакал я в самые тяжелые минуты жизни; там научился я молиться и надеяться — и там хотел бы в одну из тех прекрасных ночей, какие бывают только на юге, погрузиться в чистые воды и найти прохладную и цветущую могилу на дне зеленой бездны. Если у вас нет другого места, которое вы предпочитали бы этому, согласитесь совершить наше двойное жертвоприношение в ущелье, бывшем свидетелем наших детских игр и юношеских страданий.

— Хорошо, — ответила госпожа Дельмар, протянув ему в знак согласия руку. — Меня всегда с непреодолимой силой притягивала вода, вероятно из-за воспоминаний о бедной Нун. Мне приятно умереть так же, как умерла она; это будет искуплением за ее смерть, невольной причиной которой я оказалась.

— Кроме того, — продолжал Ральф, — новое путешествие по морю, на этот раз совершенно в ином душевном состоянии, даст нам

прекрасную возможность собраться с мыслями, отрешиться от земных привязанностей, чтобы предстать очищенными от всякой скверны перед верховным судьей. Оторванные от мира, готовые с радостью покинуть жизнь, мы с восхищением будем созерцать во всей ее мощи и красоте взволнованную бурей стихию. Уедем, Индиана, отряхнем от своих ног прах этой неблагодарной земли. Умереть здесь, на глазах у Реймона, было бы мелкой и недостойной мезтью. Предоставим богу покарать этого человека... Нет, лучше будем молить его даровать свое милосердие этому неблагодарному и черствому сердцу.

Они уехали. Шхуна «Нахандов», быстрая и легкая как птица, понесла их на родину, дважды ими покинутую. Никогда еще не совершали они такого радостного и быстрого путешествия. Казалось, попутный ветер решил сопровождать до мирной гавани обоих страдальцев, так долго скитавшихся среди бурных волн и подводных камней жизни. Все три месяца Индиана пожинала плоды своего послушания советам Ральфа; она чувствовала себя значительно лучше, морской воздух, живительный и свежий, укрепил ее слабое здоровье, ее измученное сердце успокоилось. Уверенность в том, что скоро наступит конец их страданиям, действовала на нее так же, как обещания врача действуют на верящего в них больного. Она забыла о прошлом, душа ее теперь жила надеждой на лучшую, иную жизнь, и мысли были проникнуты чудесной, неземной отрадой. Никогда еще море и небо не казались ей такими прекрасными. Как будто она видела их впервые, — столько блеска и величия открылось теперь ее взору. Чело ее прояснилось, и, казалось, божественный свет лился из ее кротких голубых глаз.

Столь же необычайная перемена произошла и в душе и во внешности Ральфа; одни и те же причины одинаково подействовали на обоих. Его душа, ожесточившаяся в борьбе с несчастьями, смягчилась под влиянием живительного луча надежды; оскорбленное и измученное сердце успокоилось. Его слова отражали теперь его чувства, и Индиана впервые узнала его настоящий характер. Установившиеся между ними теплые, родственные отношения способствовали тому, что у него пропала мучительная застенчивость, а у нее — несправедливые предубеждения. Присущая Ральфу неловкость постепенно исчезала, а Индиана совершенно изменила свое неправильное мнение о нем. В то же время мучительное

воспоминание о Реймоне сплывало, бледнело и рассеивалось как дым перед неизвестными ей доселе добродетелями и душевным благородством Ральфа. По мере того как один рос и возвышался в ее глазах, другой падал все ниже; наконец, благодаря постоянному сравнению этих двух людей, последнее воспоминание о роковой и слепой любви к Реймону угасло в ее душе.

В прошлом году, в один из тех вечеров вечного лета, что царят в здешних широтах, со шхуны «Нахандон» сошли на берег два пассажира и спустя три дня после своего прибытия отправились в глубь гористого острова. Эти три дня они посвятили отдыху, — поступок весьма странный и, казалось бы, противоречащий приведшему их сюда намерению. Но они, очевидно, рассуждали иначе; испив на веранде ароматного фахама, они оделись с особой тщательностью, как если бы собрались провести вечер в гостях, а затем направились по горной тропинке к ущелью Берника, куда и пришли через час.

Случаю было угодно, чтобы этот вечер был одним из самых прекрасных лунных вечеров под тропиками. Ночное светило, едва поднявшись из темных волн, уже протянуло по морю сверкающую серебряную дорожку. Но его сияние еще не проникло в ущелье, и на поверхности озера трепетало только отражение нескольких звезд. Даже по хрупким и блестящим листьям лимонных деревьев, росших наверху, на склоне горы, еще не рассыпались светлые лунные блески. Эбеновые и тамарисковые деревья шелестели во тьме, и лишь одни пышные верхушки высоко вознесшихся стройных пальм светились каким-то зеленоватым сиянием.

Морские птицы затихли в расселинах скал; только вдаль, за выступами гор, слышалось печальное и страстное воркование синих голубей. Красивые жуки, похожие на ожившие драгоценные камни, тихо шуршали в листве кофейного дерева или с жужжанием скользили над поверхностью озера; однообразный шум водопада, казалось, вел таинственную беседу с эхом своих берегов.

Два одиноких путника дошли по извилистой тропинке до вершины ущелья, откуда поток низвергается в пропасть, подобно легкому столбу белой водяной пыли. Они очутились на небольшой площадке, вполне пригодной для исполнения задуманного ими плана. Лианы, спускавшиеся с ветвей рафии, образовали здесь естественную беседку, нависшую над водопадом. Сэр Ральф с изумительным хладнокровием срезал несколько ветвей, которые могли помешать им,

затем взял свою кузину за руку и усадил ее на скале, покрытой мхом, откуда днем открывается прекрасный вид на всю эту дикую и могучую природу. Но сейчас, когда мрак ночи и облако брызг над водопадом окутывали все вокруг, пропасть, лежавшая под ними, казалась бездонной и страшной.

— Должен вам заметить, дорогая Индиана, — сказал Ральф, — что для успеха того, что мы задумали, необходимо полное самообладание. Если вы слишком поспешно броситесь в ту сторону, приняв в темноте скалы за пустое пространство, вы неминуемо разобьетесь и умрете медленной и мучительной смертью; но если вы постараетесь попасть в белую полосу водопада, то он увлечет вас с собою и сам погрузит в волны озера. Впрочем, если вы хотите, мы можем подождать еще час — луна тогда поднимется достаточно высоко, и мы будем ясно видеть все окружающее.

— Хорошо, — ответила Индиана, — тем более что эти последние мгновения мы должны посвятить мыслям о боге.

— Вы правы, мой друг, — отозвался Ральф, — я тоже считаю, что этот последний час должен быть часом размышления и молитвы. Я не хочу сказать, что мы должны примириться со всевышним, — это значило бы забыть расстояние, которое отделяет нас от его могущества, но мы должны, как мне кажется, простить людей, заставивших нас страдать, и пусть вольный ветер донесет слова милосердия и прощения тем, кто находится на севере, за три тысячи лье от нас.

Индиана выслушала его спокойно и без удивления. За последние месяцы ее восхищение Ральфом возросло в той же мере, в какой изменился сам Ральф. Теперь он не был для нее только флегматичным наставником, — она шла за ним не рассуждая, как за добрым гением, который должен освободить ее от всех земных страданий.

— Я согласна, — ответила Индиана, — я с радостью чувствую, что мне нетрудно простить, в моем сердце нет больше ни ненависти, ни сожаления, ни любви, ни злобы. Сейчас я готова забыть все горести моей печальной жизни и неблагодарность людей, окружавших меня. Великий боже, ты видишь, мое сердце открыто перед тобой, ты знаешь, что оно спокойно и чисто, и все мои помыслы с любовью и надеждой обращены к тебе.

Ральф сел у ног Индианы и стал вслух читать молитвы; громкий голос его залушал шум водопада. Возможно, что впервые за всю жизнь его мысли находились в полном соответствии с произносимыми им словами. Час смерти настал, душа его была теперь свободна, в ней не было ничего скрытого, она принадлежала только богу; все земные оковы спали с нее; она очистилась от греховных страстей и в свободном порыве стремилась к ожидавшему ее небу; покров, скрывавший столько добродетели, величия и внутренней силы, теперь исчез, и светлый ум Ральфа засиял той же красотой, что и его благородное сердце.

Подобно тому, как пламя сверкает в клубах дыма и рассеивает их, священный огонь, дремавший в глубине его души, вырвался наружу и загорелся ярким светом. Как только этот человек с неподкупной совестью впервые почувствовал, что его ничто не связывает, что ему нечего скрывать, слова с легкостью полились из его уст, и он, за всю жизнь не говоривший ничего, кроме самых банальных вещей, стал свой последний час таким красноречивым и убедительным, каким никогда не бывал Реймон. Не буду передавать вам те странные речи, которые он доверил горному эху; он сам не смог бы повторить их нам. Бывают в жизни такие мгновения, полные экстаза и вдохновенного восторга, когда наши мысли очищаются, становятся возвышенными и отрываются от земли. Эти редкие мгновения поднимают нас на такую высоту, уносят так далеко, что, спустившись на землю, мы не в силах вновь вызвать только что испытанный нами душевный восторг и не умеем отдать себе в нем отчет. Кто может понять таинственные видения отшельника? Кто может рассказать о мечтах поэта, прежде чем тот, очнувшись от экстаза, переложит их на бумагу? Кто может поведать о чудесах, открывающихся душе праведника в час, когда небо готово принять его? Ральф, казавшийся таким заурядным, был, однако, человеком исключительным, ибо твердо верил в бога и поступал всегда согласно своей совести, — теперь же он подводил итог всей своей жизни. Наконец-то он мог быть самим собой, мог обнаружить свою внутреннюю сущность и снять с себя перед всевышним судьей ту маску, какую люди заставили его носить. Сбросив власяницу, в которую страдания облекли его брненное тело, он выпрямился во весь рост, величественный и радостный, как если бы уже вошел в райскую обитель.

Слушая его, Индиана не испытывала удивления и не спрашивала себя, Ральф ли это. Прежнего Ральфа больше не существовало, а тот, кому она внимала сейчас, казался ей другом, являвшимся ей иногда в сновидениях и воплотившимся в человека теперь, когда она была на краю могилы. Индиана почувствовала, что ее душа увлечена тем же порывом. Горячее, благоговейное чувство наполняло ее тем же волнением; слезы восторга катились из ее глаз на склоненную голову Ральфа.

В это время луна поднялась над верхушкой большой пальмы, и ее бледный мягкий свет, проникнув сквозь густую сеть лиан, озарил белое платье и черные косы Индианы. В лунном сиянии она казалась призраком, блуждающим среди пустынных скал.

Сэр Ральф опустился перед ней на колени и сказал:

— Теперь, Индиана, прости мне все то зло, которое я причинил тебе, чтобы и я мог простить его себе.

— Увы, — ответила она, — мне нечего прощать тебе, бедный мой Ральф! Я должна благословлять тебя в свой последний час, так же как благословляла тебя во все тяжелые минуты своей грустной жизни.

— Не знаю, насколько я виноват, — продолжал Ральф, — но не может быть, чтобы за все время долгой и трудной борьбы с жестокой судьбой я ни в чем не провинился перед тобой, хотя бы невольно.

— О какой борьбе говорите вы? — спросила Индиана.

— Об этом, — ответил он, — я и хочу рассказать вам, прежде чем умереть; это тайна всей моей жизни. Вы уже спрашивали меня о ней на корабле во время нашего обратного путешествия, и я обещал объяснить вам все на берегу озера Берника в тот час, когда луна в последний раз взойдет над нами.

— Этот час настал, — сказала она. — Я слушаю вас.

— Наберитесь терпения, Индиана, я должен рассказать вам очень длинную историю — историю всей моей жизни.

— Мне думается, я ее знаю, — ведь я почти никогда не расставалась с вами.

— Ни один день, ни один час моей печальной повести вам не известен, — грустно промолвил Ральф. — Когда я мог рассказать вам ее? Судьбе было угодно, чтобы единственным подходящим моментом для моего признания оказались последние минуты нашей жизни. Но, насколько это признание было бы преступным и безумным раньше,

настолько сейчас оно естественно и уместно. Никто не может упрекнуть меня за то, что в свой последний час я хочу открыть вам душу. Я уверен, что вы доставите мне эту последнюю радость и согласитесь выслушать меня со свойственными вам терпением и кротостью. Дослушайте же до конца мою печальную повесть, и, если мои слова будут утомлять или сердить вас, внимайте шуму водопада, поющего нам похоронную песнь.

Я был рожден, чтобы любить. Никто из вас не хотел этому верить, и это заблуждение наложило свою печать на мой характер. Природа, наградив меня пылкой душой, совершила странную ошибку: она дала мне невыразительное лицо и неповоротливый язык; она отказала мне в том, чем обладают даже самые грубые люди, — в умении выражать свои чувства словами и взглядами. Это и сделало меня эгоистом. О моем нравственном облике судили по внешности, и я засыхал, как несорванный плод под жесткой кожурой, которую не мог сбросить. Чуть не со дня рождения я был лишен той нежности, в какой нуждается ребенок. Моя мать не захотела сама меня кормить, так как улыбка не озаряла моего младенческого лица в ответ на ее ласку. В возрасте, когда трудно отличить чувство от потребности, я был заклеямен отвратительным прозвищем эгоиста.

Уже тогда все решили, что меня никто не полюбит, ибо сам я никогда не говорил о своих привязанностях. Меня сделали несчастным и считали, что я этого не чувствую; меня почти изгнали из родительского дома, и я искал приюта на скалах, словно пугливая морская птица. Вы знаете, каково было мое детство, Индиана! Я проводил целые дни в одиночестве среди гор, и никогда мать не тревожилась, не искала меня, ничей ласковый голос не раздавался в тишине ущелий и не звал меня с наступлением ночи домой. Я вырос одиноким и жил одиноким; но судьба не допустила, чтобы я оставался несчастным до конца моих дней, так как умру я не один.

Однако уже в то время небо послало мне утешение, надежду и радость. Вы вошли в мою жизнь, как если б вы были созданы для моего счастья. Бедное дитя! Вы были так же заброшены, как и я, так же лишены любви и ласки и, казалось, были предназначены мне; по крайней мере я льстил себя этой надеждой. Был ли я слишком самонадеян? В продолжение десяти лет вы принадлежали мне,

принадлежали безраздельно, я не знал соперников, не знал тревог. Тогда я не понимал еще, что такое ревность.

Это время, Индиана, было лучшим в моей жизни. Вы стали моей сестрой, дочерью, подругой, ученицей, моим единственным товарищем. И вот когда я осознал, что я вам нужен, жизнь приобрела для меня значение, и я уже не жил, как дикое животное. Ради вас я старался преодолеть подавленное состояние, в какое повергло меня презрительное отношение близких. Я начал уважать себя, зная, что необходим вам. Буду вполне откровенен, Индиана: решив ради вас нести бремя жизни, я в душе надеялся на награду. Я привык к мысли (простите меня за мои слова, я и сейчас не могу произнести их без трепета)... я привык к мысли, что вы станете моей женой. Вы были еще ребенком, а я уже смотрел на вас как на свою невесту; мое воображение рисовало мне вас во всем очаровании юности, и я с нетерпением ждал того дня, когда вы станете взрослой. Мой брат, вытеснивший меня из родительского сердца, любил заниматься хозяйством и развел сад на холме, который днем виден отсюда, — новые владельцы превратили его теперь в рисовую плантацию. Уход за цветами доставлял ему много радости; каждое утро он спешил взглянуть на цветы — выросли ли они за ночь — и удивлялся, что они не растут так быстро, как бы ему хотелось. А для меня, Индиана, единственным занятием, единственной радостью, единственным сокровищем были вы. Вы были тем молодым растением, которое я выращивал, и я не мог дождаться, когда бутон распустится и превратится в цветок. Каждое утро я жадно взглядывался в ваше лицо, стараясь уловить, как отразился на вас еще один прожитый день, — ведь я был уже юношей, а вы все еще ребенком. В моей груди уже зарождались неведомые вам желания; мне было пятнадцать лет, и воображение мое проснулось, — а вы, вы удивлялись тому, что я нередко грустил и не разделял вашей радости, хотя и принимал участие в ваших играх. Вы не понимали того, что какая-нибудь птичка или плод не радовали меня в такой же мере, как вас, и уже тогда я казался вам холодным и странным. И все же вы любили меня таким, каким я был; несмотря на мою грусть, каждое мгновение моей жизни принадлежало вам; мои страдания сделали вас еще дороже моему сердцу, и я питал безумную надежду, что в один прекрасный день вы превратите мою печаль в радость.

Увы! Простите мне эту кошунственную мысль, но я жил ею в течение десяти лет. Если для меня, несчастного юноши, было преступлением мечтать о вас, прекрасное и свободное дитя гор, то бог один виноват в том, что вложил мне в душу эту дерзкую мечту, составлявшую весь смысл моего существования. Чем еще могло жить мое сердце, непонятое и оскорбленное, жаждавшее любви и нигде не находившее себе отрады? От кого еще мог я ждать нежного взгляда, улыбки любви, как не от вас, которую я любил и как отец и как возлюбленный?

Но пусть вас не пугает, что вы выросли под защитой несчастного юноши, сгоравшего от любви. Ни одной нечистой мыслью, ни одной преступною мечтой не осквернил я вашей детской души. Никогда с греховными помыслами не касался я губами ваших щек. Я боялся стереть с них налет невинности, которым они были покрыты, подобно тому как плоды бывают покрыты утром влажною росой. Мои поцелуи были только отеческими, и когда вы шаловливо касались вашими невинными губками моих губ, вас не обжигало пламя страсти. Нет, не в вас, маленькая синеглазая девочка, был я тогда влюблен. Когда я держал вас в своих объятиях, любуясь вашей невинной улыбкой и милыми ласками, вы были для меня дочкой или младшей сестренкой. Но я был влюблен в ту девушку, какой вы должны были стать в пятнадцать лет; и, отдаваясь пылу своей юности, я жадным взором заглядывал в будущее.

Когда я читал вам историю любви Павла и Виргинии, вы только наполовину понимали ее. И все же вы плакали, хотя для вас это была лишь повесть о брате и сестре, тогда как я трепетал от сочувствия к страданиям влюбленных. Для меня эта книга была пыткой, а вас она радовала. Вам нравилось слушать рассказ о привязанности верного пса, о красоте кокосовых пальм и о песнях негра Доминго. Я же наедине перечитывал беседы Павла с его подругой, вчитывался в ужасные сомнения одного, тайные муки другой. О, как хорошо понимал я эти первые волнения юности, это желание найти в своем сердце объяснение тайн жизни, это восторженное обожание предмета своей первой любви! Но будьте ко мне справедливы, Индиана: ничем и никогда не нарушил я мирного течения вашего детства, ни единым словом не обмолвился при вас, что в жизни существуют муки и слезы. В десять лет вы были такой же невинной и беспечной, как и в тот

день, когда ваша кормилица положила вас мне на колени, в день, когда я хотел лишиться себя жизни.

Часто, сидя один на этой скале, я в исступлении ломал руки, слушая голоса, воспевавшие весну и любовь и эхом отдававшиеся в горах, видя, как птицы преследуют и дразнят друг друга, как насекомые в нежной истоме дремлют в чашечках цветов, вдыхая душистую пыльцу, летящую от пальмы к пальме. Тогда я пьянел, безумствовал и просил любви у цветов, у птиц, у водопада. Я неистовствовал, призывая неведомое мне блаженство, и одна мысль о нем сводила меня с ума. Но стоило мне увидеть вас, радостно и весело бегущую ко мне по тропинке, темноволосую, в белом платице, — вас, такую маленькую, так неуклюже карабкающуюся по скалам, что издали вас можно было принять за антарктического пингвина, — как пыл мой стихал и губы переставали гореть. При виде десятилетней Индианы я забывал о той пятнадцатилетней девушке, о которой только что грезил; с чистой радостью я протягивал к вам руки, ваши ласки освежали мой горячий лоб; я был счастлив, я чувствовал себя отцом!

Сколько мирных, счастливых дней провели мы здесь, в глубине этого ущелья! Сколько раз я мыл вам ножки в прозрачной воде этого озера! Сколько раз смотрел на вас, спящую здесь, в тростниках, в тени латании, служившей вам зонтиком! В такие минуты порой возобновлялись мои мучения. Я приходил в отчаяние от того, что вы еще так малы, и спрашивал себя, доживу ли я, испытывая такие страдания, до того дня, когда вы сможете понять меня и ответить на мое чувство? Я осторожно касался ваших тонких, как шелк, волос, и с любовью целовал их, сравнивал их с локонами, срезанными с вашей головки в предыдущие годы и спрятанными у меня в бумажнике. Я с радостью замечал, что с каждым годом они все более темнеют. Затем я смотрел на ствол финиковой пальмы, где в течение нескольких лет отмечал ваш рост. На дереве еще сохранились эти зарубки, Индиана, я нашел их в последний раз, когда приходил сюда предаваться своему горю. Вы выросли и расцвели. Как и следовало ожидать, ваши волосы стали черными как смоль, но... но увы! — все это было не для меня: не для меня вы выросли, не для меня расцвела ваша красота и не для меня, а для другого впервые забилось ваше сердце!

Помните, как мы носились легкими голубками вдоль миртовых кустов? Помните, как порой блуждали в саваннах, высоко в горах?

Однажды мы решили добраться до туманных вершин Салаза, но не подумали о том, что чем выше, тем реже будут попадаться фруктовые деревья, тем труднее будет находить воду в горных ручьях, тем сильнее и резче будет ветер.

Когда вы увидели, что растительность исчезает, вы захотели вернуться, но вскоре за полосой вереска мы наткнулись на поляну земляники, и вы с таким удовольствием принялись собирать ягоды и наполнять ими вашу корзиночку что не хотели уходить. Пришлось остаться. Потом мы шли по пористым скалам вулканического происхождения, покрытым пушистыми мхами. При виде жалких былинки, колеблемых ветром, мы невольно подумали о доброте природы, которая, казалось, дала им теплую одежду для защиты от холодного воздуха. Затем туман сделался таким густым, что мы не могли идти дальше, и нам пришлось повернуть обратно. Я нес вас на руках, осторожно спускаясь по крутым склонам горы. Ночь застала нас на опушке леса, встретившегося на нашем пути. Я нарвал для вас гранатов, а сам, чтобы утолить жажду, удовольствовался чистым и прохладным соком лиан, обильно вытекавшим из надломленных мною веток. Мы вспомнили тогда о приключениях наших любимых героев, заблудившихся в лесах Красной реки. Но у нас не было, как у них, ни любящих матерей, ни преданных слуг, ни даже верной собаки, и о нас никто не беспокоился. Тем не менее я был доволен и горд, что один охраняю вас, и считал себя счастливее Павла.

Да, уже тогда я чувствовал к вам истинную, глубокую и чистую любовь. Нун в десять лет была на голову выше вас; как настоящая креолка, она была не по годам развита, ее влажный взор временами принимал странное выражение, — по своим повадкам и характеру она была уже девушкой. Однако я не любил Нун, или, вернее, я любил ее только из-за вас, поскольку она была подругой вашего детства. Я не думал о том, красива ли она и станет ли со временем еще лучше. Я не смотрел на нее. В моих глазах она была более ребенком, нежели вы. Это потому, что я любил вас и думал только о вас: вы были моей избранницей, мечтой моей юности...

Но я не мог знать, что готовит мне будущее. Брат мой умер, и меня принудили жениться на его невесте. Не стоит рассказывать об этой поре моей жизни; она не была для меня самой тяжелой, Индиана, хотя я и был женат на женщине, нелюбимой мною и ненавидевшей

меня. Я стал отцом и потерял сына, а когда овдовел, узнал, что вы уже замужем!

Не буду рассказывать вам о днях, проведенных мной в изгнании в далекой Англии, о том, как я страдал тогда. Если я и был виноват перед кем-нибудь, то не перед вами, а на того, кто виноват передо мною, я не хочу жаловаться. Так я сделался еще большим *эгоистом*, то есть стал еще грустнее и подозрительнее, чем прежде. Чем больше во мне сомневались, тем больше замыкался я в себе и привыкал рассчитывать только на собственные силы. В посланных мне судьбой испытаниях меня поддерживал лишь голос моего сердца. Меня осуждали за то, что я не люблю женщину, вышедшую за меня замуж по принуждению и не выказывавшую мне ничего, кроме презрения. В дальнейшем одним из главных признаков эгоизма считали мою кажущуюся нелюбовь к детям. Реймон не раз безжалостно насмехался над этой моей чертой, говоря, что заботы о воспитании детей не вяжутся со строго размеренными привычками старого холостяка. Он, наверное, не знал, что я был отцом и что я воспитал вас. И никто из вас не хотел понять, что воспоминание о сыне долгие годы оставалось для меня таким же мучительным, как и в день его смерти, и что мое истерзанное сердце больно сжималось при виде белокурых головок, напоминавших мне о нем. Когда человек несчастлив, в нем стараются найти как можно больше плохого, — вероятно, из боязни, что придется жалеть его.

Никто не мог понять также глубокого возмущения и мрачного отчаяния, овладевшего мной, когда меня, несчастного юношу, выросшего в пустыне и не видевшего никогда ни от кого сочувствия, оторвали от здешних мест, чтобы навязать ему общественные обязанности; когда мне приказали занять после брага место среди тех, кто оттолкнул меня, и когда стали внушать, что у меня есть долг по отношению к людям, никогда не выполнявшим своего долга по отношению ко мне. И что же? Никто из моей семьи не хотел быть в свое время мне опорой, а теперь все стали призывать меня на защиту своих интересов! Мне не позволили даже спокойно наслаждаться тем, в чем не отказывают и париям, — наслаждаться одиночеством! У меня в жизни была только одна радость, одна надежда, одна мечта — мечта о том, что вы станете моей женой. У меня отняли эту мечту и сказали, что вы недостаточно для меня богаты. Какая горькая ирония

для меня, выросшего в горах, изгнанного из родительского дома! Я не ощущал вкуса к богатству и не умел им пользоваться, а меня заставляли теперь заботиться о процветании других!

Однако я подчинился. Я не имел права просить о том, чтобы меня не лишали моего счастья; меня и так достаточно презирали, а если бы я начал протестовать, то стал бы ненавистен всем. Мать, неутешно оплакивавшая смерть моего брата, заявила, что умрет, если я не выполню своего долга. Отец ставил мне в вину, что я не умею утешить его, как будто я был виноват в том, что он недостаточно любил меня и готов был проклясть, если я посмею его послушаться. И я подчинился. Но то, что я выстрадал, даже вы, Индиана, так много страдавшая сами, вряд ли можете понять. Гонимый, оскорбленный, угнетаемый людьми, я все же не отплатил им злом за зло, — и уже по одному этому можно судить, что сердце мое не было черствым, как все думали.

Когда я вернулся сюда и увидел человека, за которого тебя выдали замуж... прости меня, Индиана, тут я действительно оказался эгоистом. В любви всегда есть доля эгоизма, раз даже моя любовь не была лишена его! Я испытывал какую-то жестокую радость при мысли, что эта пародия на брак дала тебе хозяина, а не супруга. Тебя всегда удивляла моя привязанность к нему. Видишь ли, я не считал его своим соперником. Я прекрасно понимал, что этот старик не может ни внушить любовь, ни почувствовать ее сам и что сердце твое останется девственным в этом браке. Я был ему благодарен за твою холодность и твою грусть. Если бы он остался здесь, я, быть может, стал бы виновен во многом, но вы уехали, а я оказался не в силах жить без тебя. Я пытался побороть неукротимую любовь, которая вспыхнула во мне с новой силой, когда я увидел тебя, красивую и грустную, именно такую, какой видел в своих мечтах еще в твои детские годы. Одиночество лишь усилило мою тоску, и я не мог уже противиться желанию видеть тебя, жить с тобой под одной крышей, дышать одним воздухом, постоянно наслаждаться звуками твоего нежного голоса. Ты знаешь, с какими препятствиями я встретился, какое недоверие мне пришлось побороть; и я понял тогда, какую тяжелую задачу взял на себя. Я не мог жить с тобой вместе, не успокоив твоего мужа священной клятвой, — а я всегда держал свое слово. Я твердо решил умом и сердцем никогда не забывать принятой

на себя роли брата, — и скажи, Индиана, нарушил ли я хоть когда-нибудь свой обет?

Я понял также, что для меня будет очень трудно, быть может даже невозможно, выполнить этот тяжелый долг, если я сброшу с себя маску, не допускающую ни близости, ни возникновения глубокого чувства. Я понял, что мне не следует играть с огнем, так как моя страсть слишком сильна и может вырваться наружу. Я почувствовал, что должен оградить себя ледяной стеной, чтобы не возбуждать в тебе — на свою погибель — ни интереса, ни участия. Я сказал себе, что в тот день, когда ты пожалеешь меня, я уже буду виновен,

— и согласился на всю жизнь прослыть черствым эгоистом, каким я, к счастью, и был в ваших глазах. Успех моего притворства превзошел все ожидания, вы выказывали мне оскорбительную жалость, вроде той, какую питают к евнухам, вы считали меня бездушным и бесчувственным, вы презирали меня, а я из чувства долга принужден был сдерживать свой гнев и желание отомстить, так как иначе выдал бы себя и показал вам, что я мужчина.

Я жалуюсь на людей, но не на тебя, Индиана. Ты всегда была добра и снисходительна ко мне; ты не гнала меня, несмотря на ту отвратительную личину, какую я надел, чтобы быть возле тебя. Ты всегда бережно относилась ко мне, и я не краснел, что взял на себя такую роль; ты заменяла мне все, и порой я с гордостью думал, что если ты благосклонно относишься ко мне, несмотря на мое притворство, то, может быть, ты полюбила бы меня, узнав, каков я в действительности. Увы, всякая другая оттолкнула бы меня, не протянула бы руки такому ничтожеству, как я, не умевшему ни мыслить, ни говорить. Все, кроме тебя, с презрением отвернулись от *эгоиста*. Ах, на свете было лишь одно существо, настолько великодушное, чтобы взять на себя эту тяжкую задачу. Только одно благородное сердце могло согреть своим священным огнем замкнутую и холодную душу человека, отверженного всеми, сердце, в избытке обладавшее теми чувствами, каких не доставало мне. На свете была только одна Индиана, способная любить такого Ральфа!

Кроме тебя, снисходительнее других относился ко мне Дельмар. Ты даже обвиняла меня в том, что я предпочитаю его тебе, жертвую твоим благополучием ради себя, отказываюсь вмешиваться в ваши семейные ссоры. Несправедливая, слепая женщина! Ты не видела, что

я делал для тебя все возможное, а главное, ты не поняла того, что я не мог открыто заступаться за тебя, не выдав этим своих чувств. Что случилось бы с тобой, если б Дельмар прогнал меня? Кто оберегал бы тебя терпеливо и молча, с постоянством и твердостью вечной и неугасающей любви? Ведь не Реймон же! А затем, признаюсь: я любил этого грубого и сурового старика из благодарности за то, что он, имея возможность отнять у меня мое единственное счастье, не сделал этого; любил за то, что он не был любим тобою; за то, что его горе сближало его со мной; любил и за то, что он никогда не давал мне повода терзаться муками ревности.

Но сейчас я подхожу к рассказу о тех страданиях, какие я пережил, — о той роковой поре, когда вы отдали свою любовь, о которой я столько мечтал, другому. Только тогда я окончательно понял, какое сильное чувство я подавлял в себе столько лет. Ненависть проникла в мое сердце и отравила его, а ревность лишила меня последних сил. До тех пор вы были всегда чисты в моем воображении. Я благоговел перед вами и даже в самых дерзких сновидениях не осмеливался приподнять тот покров, который мое уважение набросило на вас. Но ужасная мысль о том, что другой увлекает вас за собой, отрывает от меня, упивается счастьем, о котором я не смел даже мечтать, приводила меня в бешенство; я жаждал видеть ненавистного мне человека на дне пропасти, я жаждал камнем раздробить ему голову.

Однако вы так страдали, что я забывал о своих муках. Я уже не хотел его смерти, так как это причинило бы вам горе. Не раз даже — да простит мне бог! — у меня являлось желание сделаться предателем, совершить подлость по отношению к Дельмару и помочь моему врагу. Да, Индиана, я сходил с ума, я мучился, видя ваши страдания, и горько раскаивался, что попытался открыть вам глаза; я охотно отдал бы свою жизнь и завещал Реймону мое сердце, чтобы он мог любить вас так, как я. Негодяй! Пусть бог простит ему то зло, которое он причинил мне, но пусть накажет за то горе, которое испытали вы! Я ненавижу его не за свои, а за ваши страдания, ибо я забыл о своих муках, увидя, во что он превратил вашу жизнь. Этого человека, развращенного и бездушного, следовало бы изгнать из общества, а его носили на руках. Ах, я узнаю в этом людей! И я не должен был бы возмущаться, потому что, превознося нравственного

урода, разрушающего счастье и честь других, они послушны своей природе.

Простите, Индиана, простите! С моей стороны, быть может, жестоко жаловаться вам, но я делаю это в первый и последний раз. Пусть мои проклятия падут на голову неблагодарного, толкающего вас в могилу. Какой понадобился страшный урок, чтобы раскрыть вам глаза! Ни гибель Нун, ни слова Дельмара в час смерти: «Берегись его, он тебя погубит!» — не остановили вас. Вы были глухи, ваш злой гений увлек вас; и теперь вы опозорены, людская молва осудила вас и оправдала его. Он причинил столько зла — и никого это не трогает. Он убийца Нун — и вы забыли об этом; он погубил вас — и вы простили его. Он умеет пускать пыль в глаза и отуманивать разум, его искусные коварные речи проникают в сердца людей, его змеиный взгляд гипнотизирует их; вот если бы природа наградила его моим неподвижным, каменным лицом и неповоротливым умом, она создала бы вполне законченный экземпляр.

Да, пусть бог накажет его за его жестокость к вам... Нет, лучше пускай простит его, потому что он, наверное, поступал так по глупости, а не по злобе. Он не понял вас, не оценил того счастья, которым мог насладиться!.. А вы так любили его! И он мог сделать вашу жизнь такой прекрасной! На его месте я не устоял бы перед искушением, я скрылся бы с вами в глубь диких гор, я вырвал бы вас из общества, чтобы безраздельно владеть вами, постарался бы заменить вам весь мир и боялся бы только одного — что вас не все отвергли, не все покинули. Я ревниво относился бы к вашему доброму имени, но совсем не так, как он: я бы хотел чтобы все отвернулись от вас, и тогда я заменил бы вам всех своею любовью. Я страдал бы, если б другой человек дал вам хоть каплю счастья, хоть минуту радости, я счел бы, что он обокрал меня, ибо сделать вас счастливой было моим долгом, достоянием, жизнью, вопросом чести! Мне не надо было бы иного жилья, кроме этого дикого ущелья; иного богатства, кроме этой природы, и я чувствовал бы себя гордым и счастливым, если б небо даровало мне вместе с ними вашу любовь!..

Дайте мне поплакать, Индиана! Я плачу первый раз в жизни. Небу было угодно, чтобы я перед смертью познал эту печальную радость.

Ральф плакал как ребенок. Этот человек с мужественной душой впервые почувствовал жалость к самому себе; к тому же он больше оплакивал судьбу Индианы, нежели свою.

— Не плачьте обо мне, — сказал он, увидев, что она тоже обливается слезами, — не жалейте меня; видя ваше сочувствие, я позабыл о прошлом, и настоящее уже утратило для меня свою горечь. Зачем мне теперь страдать? Ведь вы его больше не любите.

— Если бы я узнала вас раньше, Ральф, я бы никогда не полюбила его! — воскликнула Индиана. — Но вы были слишком добродетельны, и это погубило меня.

— Кроме того, — продолжал Ральф с печальной улыбкой, — у меня есть и другие причины радоваться. Во время наших откровенных бесед на корабле вы невольно сделали мне одно признание. Вы сообщили мне, что Реймон не получил того счастья, на которое имел дерзость рассчитывать, и этим сняли с моей души огромную тяжесть; вы освободили меня от угрызений совести, ибо я мучился, что не уберег вас, так как по своей самонадеянности считал, что сумею защитить вас от его чар; таким подозрением я оскорбил вас, Индиана. Я не верил в то, что вы устоите, и теперь прошу у вас прощения и за эту вину.

— Увы, — ответила Индиана, — вы просите у меня прощения за то, что я загубила вашу жизнь, за то, что я заплатила вам за вашу чистую, самоотверженную любовь непостижимым ослеплением и жестокой неблагодарностью. Мне следует пасть перед вами ниц и молить о прощении.

— Значит, моя любовь не возбуждает в тебе ни гнева, ни отвращения, Индиана? Боже мой, благодарю тебя, теперь я умру счастливым! Не упрекай себя, Индиана, за мои муки. В этот час я не завидую ни в чем Реймону. Я считаю, что он должен был бы завидовать моей судьбе, будь у него настоящее человеческое сердце. Теперь я навеки твой брат, твой муж, твой возлюбленный! С того дня, как ты обещала мне уйти вместе со мной из жизни, я лелеял в себе сладостную мечту, что ты принадлежишь мне, что ты возвращена мне, никогда меня не покинешь, — и мысленно я снова называл тебя своей невестой. Обладать тобой здесь, на земле, было бы слишком большим счастьем, или, может быть, счастьем недостаточно полным. В небесах ждет меня блаженство, о котором я с детства мечтал. Там ты будешь

любить меня, Индиана. Там твоя душа, освободившись от земной суетности, вознаградит меня за жизнь, полную жертв, горя и отречения. Там ты будешь моей, моя любимая! Ты мое небо, и если я заслужил рай, то заслужил и тебя. Потому-то я и просил тебя надеть белое платье, — пусть оно будет твоим подвенечным платьем, а эта скала над озером — нашим алтарем.

Он встал, сорвал цветущую ветку померанца и прикрепил ее к черным волосам Индианы. Затем, упав перед ней на колени, воскликнул:

— Осчастливь меня, согласишься на этот небесный брак. Даруй мне вечность, не заставляй меня стремиться к небытию.

Если рассказ о том, что пережил Ральф не произвел на вас никакого впечатления, если вы не полюбили этого благородного человека, значит у меня недостало умения передать вам его чувства и ту непреодолимую власть, какую имеет голос истинной страсти. К тому же над вами сейчас не светит луна с ее грустным очарованием, не поют птицы, не благоухают гвоздичные деревья, вы не чувствуете всей опьяняющей неги тропической ночи, которая туманит сладким ядом ум и сердце. Вы, верно, не знаете также по собственному опыту, какие сильные и новые ощущения пробуждаются в душе перед лицом смерти и как все жизненные явления предстают в их истинном виде в минуту, когда вы по собственной воле расстаётесь с ними навеки. Таким внезапным и ярким светом озарилась вся душа Индианы; повязка, столько времени лежавшая на ее глазах, вдруг спала. Прозрев, она увидела Ральфа таким, каким он был в действительности; черты его лица стали теперь совсем иными, сильное душевное напряжение произвело на него действие, подобное электрическому току; он освободился от внутренней скованности, замыкавшей ему уста и парализовавшей его тело. В своей искренности и добродетели он был прекраснее, чем Реймон, и Индиана поняла, что его, а не Реймона, она должна была любить.

— Будь моим супругом на небе и на земле, — воскликнула она, — пусть этот поцелуй обручит нас с тобой навеки!

Уста их слились. В настоящей любви есть, без сомнения, могучая сила, какой нет в мимолетном чувственном влечении. Этот поцелуй перед лицом вечности был для них символом всех земных радостей.

Ральф взял на руки свою нареченную и понес ее на вершину скалы, чтобы вместе с ней броситься в поток...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Господину Ж.Неро В прошлом году, в один из теплых и солнечных январских дней, я вышел из Сен-Поля и отправился побродить и помечтать в дикие леса, покрывающие остров. Я думал о вас, мой друг; мне казалось, что в этих девственных лесах еще живет память о ваших прогулках и занятиях, что земля еще хранит следы ваших ног. Я повсюду встречал те чудеса природы, о которых читал в ваших волшебных рассказах, так скрашивавших часы моего досуга, и, желая полюбоваться вместе с вами чудесной природой, я мысленно призывал вас из старой Европы, где вы живете сейчас в благодетельной и мирной безвестности. Счастливый человек! Ни один коварный друг не сделал еще вашего таланта и ума всеобщим достоянием.

Я направился в одно уединенное место, расположенное в самой возвышенной части острова и известное под названием Долины гигантов.

Огромный кусок горной породы, оторвавшись во время землетрясения, проложил по склону главного хребта дорогу, усеянную нагроможденными в самом поэтическом беспорядке обломками скал. Тут мелкие камни удерживают в равновесии огромную глыбу, там выросла целая стена утесов, легких, воздушных, кружевных и ажурных, как мавританский дворец; здесь обелиск из базальта, словно высеченный резцом ваятеля, высится на зубчатом основании; еще дальше — развалины средневекового замка рядом с бесформенной и причудливой китайской пагодой. Тут как будто собраны всевозможные виды искусства, различные образцы архитектуры, и кажется, что гений всех веков и всех народов черпал свое вдохновение в этом величественном зодчестве, созданном случаем и разрушением. Вероятно, эти фантастические постройки породили мавританскую архитектуру. Стройные пальмы в лесах также должны были послужить искусству прекрасными образцами для подражания. Дерево, цепляющееся за землю сотней корней, отходящих от ствола, должно быть первым навело на мысль построить собор, опирающийся на легкие своды. За одну ночь буря собрала в Долину гигантов все

формы, все виды красоты, смело нагромодила их друг на друга, разбросала, соединила в причудливые группы. Вероятно, духи воздуха в огня принимали участие в этой дьявольской работе; только они могли придать созданию своих рук такой дикий, фантастический и незавершенный характер, отличающий их творения от творений человека. Только они могли нагромождать такие невероятные глыбы, сдвинуть с места гигантские массивы, передвинуть горы, как песчинки, и среди возведенного ими хаоса, поражающего воображение человека, разбросать грандиозные замыслы искусства, величественные контрасты, которые невозможно осуществить и которые, как бы насмехаясь над дерзновенными попытками художника, говорят ему: «Попробуйте сотворить нечто подобное!».

Я остановился у подножия базальтового обелиска высотой около шестидесяти футов, как будто отшлифованного искусным гранильщиком. На середине этого необычайного сооружения виднелась крупная надпись, казалось начертанная какой-то нечеловеческой рукой. На камнях вулканического происхождения часто встречаются такие следы. Когда-то вулканический огонь расплавил их, и прилипшие к ним раковины и лианы оставили на них свои оттиски. Этой случайностью и объясняется странная игра природы — отпечатки иероглифов, таинственные письмена: словно имя, начертанное здесь каким-то сверхъестественным существом при помощи кабалистических знаков.

Я долго стоял перед обелиском, охваченный наивным желанием проникнуть в смысл этой загадочной надписи. Силясь разгадать ее, я так глубоко задумался, что совсем забыл о времени.

А меж тем густой туман, покрывавший сначала лишь вершины гор, начал спускаться по склонам и быстро скрыл от моего взора их очертания. Прежде чем я дошел до середины плато, туман настиг меня и непроницаемой завесой окутал окрестности. Но тут поднялся страшный ветер и в одно мгновение разогнал его. Затем ветер стих, туман опять сгустился и вновь был рассеян бешеным порывом бури.

Чтобы укрыться от урагана, я спрятался в пещеру, но к ветру присоединилось вскоре новое бедствие: от дождя вздулись реки, берущие свое начало на вершинах гор. Через час вся местность была затоплена, и вода, ручьями стекая со склонов, бешеным потоком понеслась в долину.

После двухдневного тяжелого и опасного пути провидение наконец сжалилось надо мной и привело меня к жилищу, расположенному в живописном и диком месте. Домик, построенный просто, но красиво, устоял под натиском бури, так как был защищен навесом скал, служившим ему как бы щитом. Чуть подалее бешеный поток низвергался в ущелье, образуя на дне его озеро, теперь вышедшее из берегов; над озером красивые деревья уже поднимали свои верхушки, помятые и согнутые грозой.

Я постучал. Человек, показавшийся на пороге, невольно заставил меня отступить. Не успел я попросить о приюте, как хозяин молча вежливым жестом пригласил меня войти. Итак, я вошел и очутился лицом к лицу с сэром Ральфом Брауном.

Прошел год с тех пор, как господин Браун и его спутница вернулись в колонию на шхуне «Нахандов», и за это время сэра Ральфа видели в городе не более трех раз; что же касается госпожи Дельмар, то она жила так замкнуто, что многие жители даже сомневались в ее существовании. Приблизительно в то же время и я впервые прибыл на остров, и теперешняя встреча с господином Брауном была второй в моей жизни.

Первое наше знакомство оставило во мне неизгладимое впечатление: мы встретились в Сен-Поле, на берегу моря. Его внешность и манеры сперва не остановили моего внимания, но затем, когда я из праздного любопытства стал расспрашивать о нем местных жителей и получил странные и противоречивые ответы, я начал с большим вниманием приглядываться к отшельнику с озера Берника.

— Грубый и невоспитанный человек, — говорили одни, — полное ничтожество! Единственное его достоинство, что он вечно молчит.

— Человек исключительно образованный и серьезный, — говорили другие, — но такого высокого мнения о себе, такой гордец, что не желает даже разговаривать с простыми смертными.

— Он любит только самого себя, — говорили третьи, — посредственный, но неглупый, невероятный эгоист; говорят даже, что он совершенный нелюдим.

— Разве вы о нем ничего не знаете? — спросил меня один юноша, выросший в колонии и отличавшийся благодаря этому узостью провинциальных взглядов.

— Это дурной человек, негодяй, подло отравивший своего друга ради того, чтобы жениться на его жене.

Такое мнение настолько ошеломило меня, что я обратился к пожилому колонисту, человеку, как я знал, рассудительному.

На мой вопрошающий взгляд, настойчиво требовавший разъяснения этих загадок, он ответил:

— Когда-то сэр Ральф был светским человеком, его уважали, но не любили за замкнутый и необщительный нрав. Вот все, что я могу сказать о нем, так как со времени той злополучной истории я с ним не встречался.

— Какой истории? — спросил я.

И мне рассказали о внезапной смерти полковника Дельмара, о бегстве его жены в ту же ночь, об отъезде и возвращении господина Брауна. Загадочные обстоятельства этих событий не были выяснены, несмотря на судебное расследование; никто не мог доказать вины бежавшей. Прокурор прекратил следствие, но все знали о пристрастном отношении властей к господину Брауну, и общественное мнение было возмущено тем, что дело, запятнавшее двух людей такими ужасными подозрениями, не было разобрано.

Подозрения больше всего, казалось, подтверждались тем, что оба, тайком возвратившись в колонию, поселились в пустынном ущелье Берника. По мнению людей, они бежали с острова, чтобы дать делу заглохнуть; но во Франции высшее общество отвергло их, им пришлось уехать обратно и укрыться подальше, дабы в уединении спокойно наслаждаться своей преступной любовью.

Но слухи эти полностью опровергались: говорили — и это последнее сообщение исходило от людей наиболее осведомленных, — что госпожа Дельмар никогда не чувствовала симпатии, а скорее питала отвращение к своему кузену господину Брауну.

Потому-то я тогда внимательно, я сказал бы даже — пристально, стал вглядываться в героя столь странных рассказов. Он сидел на тюке товаров, ожидая возвращения матроса, с которым договорился о какой-то покупке; его синие, как море, глаза, спокойные и мечтательные, были устремлены вдаль. Черты его лица выражали полнейшую безмятежность; в этом здоровом и мощном организме все, казалось, находилось в равновесии, и ничто не нарушало общей гармонии; поклялся бы, что его напрасно так зло оклеветали, что на

совести этого человека нет никакого преступления, что даже в мыслях он не способен на это и что его сердце и руки так же непорочны, как и его чистый лоб.

Вдруг рассеянный взгляд баронета остановился на мне, — я смотрел на него с жадным и нескрываемым любопытством. Сконфузившись, как пойманный с поличным вор, я в смущении опустил глаза, ибо увидел, что сэр Ральф смотрит на меня со строгим упреком. С тех пор невольно я часто думал о нем, он даже снился мне, и эти мысли вызвали во мне смутное беспокойство, непонятное волнение, точно какой-то магнетический ток исходил от этого человека с такой необычайной судьбой.

У меня появилось сильное и настойчивое желание поближе узнать сэра Ральфа, но я предпочел бы наблюдать за ним издали, так, чтобы он сам не видел меня. Мне казалось, что я в чем-то виноват перед ним. Холодная ясность его взгляда приводила меня в трепет. Этот человек, должно быть, обладал либо исключительным нравственным превосходством, либо невероятным коварством, и я чувствовал себя перед ним ничтожным и мелким.

Он принял меня учтиво, но сдержанно и без суеты. Провел к себе в комнату, предложил переодеться во все сухое, а затем познакомил со своей подругой жизни, которая уже ждала нас за столом.

При виде ее красоты и молодости (ей казалось не больше восемнадцати лет), любуясь ее свежестью и очарованием, слушая ее нежный голос, я почувствовал какое-то болезненное волнение. У меня тотчас же явилась мысль, что эта женщина или очень преступна, или очень несчастна, или она действительно виновата в ужасном злодеянии, или напрасно заклеена позорным обвинением.

Целую неделю вышедшие из берегов реки, затопленные равнины, дожди и ветры удерживали меня в Бернике; но вот выпянуло солнце, а я все еще не думал расставаться со своими гостеприимными хозяевами.

Ни тот, ни другой не обладали ни внешним блеском, ни остроумием, но все, что они говорили, было значительно или очень приятно; они жили сердцем, а не умом. Индиана была малообразованна, но это не было грубое невежество, происходящее от лени, небрежности или ограниченности. Ей страстно хотелось приобрести те знания, которые она не смогла получить из-за трудных

обстоятельств своей жизни; может быть, с ее стороны было известным кокетством постоянно обращаться с вопросами к сэру Ральфу, чтобы дать ему возможность блеснуть передо мной своими обширными и разнообразными познаниями.

Она была весела, но без излишней живости; в ее манерах была грустная медлительность, свойственная креолкам, и в ней мне это казалось особенно пленительным; ее необычайно кроткие глаза как будто говорили о жизни, полной страдания и горя; даже когда ее губы улыбались, взгляд ее оставался печальным, но эта печаль словно отражала думы о выпавшем на ее долю счастье и трогательную благодарность судьбе.

Как-то утром я сказал им, что мне пора наконец уходить.

— Как, уже? — спросили они.

Это было сказано так искренне и сердечно, что я решил остаться еще на некоторое время. Мне хотелось во что бы то ни стало узнать от сэра Ральфа всю их историю; но ужасные подозрения, запавшие в мою душу, вызывали во мне непреодолимую робость.

Я попытался побороть ее.

— Послушайте, — сказал я, — люди — страшные мерзавцы, они наговорили мне про вас много дурного. Познакомившись с вами, я этому больше не удивляюсь. Ваша жизнь была, по-видимому, настолько прекрасна, что ее решили оклеветать.

Я внезапно остановился при виде наивного изумления, появившегося на лице госпожи Дельмар. Тогда я понял, что она ничего не знает об отвратительных слухах, распространявшихся на ее счет. А на лице сэра Ральфа появилось высокомерное и недовольное выражение. Я встал, чтобы проститься с ними, сконфуженный и огорченный, уничтоженный взглядом господина Брауна, напомнившим мне о нашей первой встрече и о немой беседе, происшедшей между нами на берегу моря.

В отчаянии от того, что приходится при таких условиях навсегда расставаться с этим прекрасным человеком, упрекая себя за те оскорбление и обиду, которые я нанес ему в благодарность за счастливые дни, проведенные в его доме, я почувствовал, что сердце у меня сжалось, и горько заплакал.

— Молодой человек, — промолвил он, взяв меня за руку, — останьтесь с нами еще на день. Я не могу отпустить так нашего

единственного друга. — Затем, когда госпожа Дельмар вышла из комнаты, он продолжал: — Я понял вас и расскажу вам свою жизнь, но не в присутствии Индианы: есть раны, которые не следует беречь.

Вечером мы пошли прогуляться по лесу. Буря сорвала всю листву с деревьев, таких зеленых и красивых всего две недели тому назад, но теперь они уже снова покрывались толстыми смолистыми почками. Птицы и насекомые вернулись в свои владения. Новые бутоны распускались на месте увядших цветов. Ручьи стремительно освобождались от песка, нанесенного в их русло. Здоровая и счастливая жизнь опять вступала в свои права.

— Посмотрите, — сказал Ральф, — с какой поразительной быстротой прекрасная и богатая природа залечивает свои раны. Не кажется ли вам, что она как бы стыдится потерять время и всеми силами старается в несколько дней проделать работу целого года?

— И ей удается это, — заметила госпожа Дельмар. — Я помню прошлогодние бури: через месяц от них не оставалось и следа.

— То же бывает и с разбитым сердцем, — сказал я ей, — если счастье к нему возвращается, оно быстро расцветает и вновь обретает молодость.

Индиана протянула мне руку и посмотрела на господина Брауна с выражением бесконечной нежности и счастья.

Когда настала ночь и она ушла к себе в спальню, сэр Ральф, усадив меня рядом с собой на скамейке в саду, рассказал мне свою историю, начав ее с того места, где мы остановились в предыдущей главе.

Вдруг он умолк и, казалось, совсем забыл о моем присутствии.

Крайне заинтересованный всем услышанным, я решился прервать его размышления и задать ему последний вопрос.

Он вздрогнул, как человек, очнувшийся от сна, но затем, добродушно улыбнувшись, ответил:

— Мой юный друг, есть воспоминания, о которых не следует рассказывать, дабы не нарушать их святости. Скажу вам только одно — я тогда твердо решил умереть вместе с Индианой. Но, верно, небо не захотело принять от нас подобной жертвы. Врач, вероятно, сказал бы вам, что у меня закружилась голова и я пошел не по той тропинке. Но я не врач и предпочитаю думать, что ангел Авраама и Товия, этот

прекрасный белоснежный ангел с голубыми глазами и золотым поясом, какого вы часто видели в ваших детских сновидениях, спустился на лунном луче и, паря в брызгах водопада, распростер свои серебристые крылья над моей нежной подругой. Единственное, о чем я могу сказать с уверенностью, это то, что луна совершенно скрылась за вершинами гор, а мирное журчание водопада не было потревожено ни единым зловещим звуком. Птицы, спавшие на скалах, встрепенулись, лишь когда белая полоса показалась на горизонте; и первый луч солнца, озаривший заросли померанцевых деревьев, застал меня на коленях, славящим бога.

Не думайте, однако, что я без колебаний принял неожиданное счастье, возрождавшее меня к новой жизни. Я даже боялся представить себе лучезарное будущее, которое ожидало меня; и когда Индиана открыла глаза и улыбнулась мне, я показал ей на водопад и стал говорить о смерти.

«Если вы не жалеете, что дожили до сегодняшнего утра, — сказал я, — то мы можем признаться друг другу, что вкусили счастье во всей его полноте и теперь нам тем более следует расстаться с жизнью, потому что завтра моя звезда может померкнуть. Кто знает, быть может, покинув эти места и выйдя из состояния безумного опьянения, в какое повергли меня мысли о любви и смерти, я вновь превращусь в того бесчувственного человека, которого вы презирали еще вчера. Не покраснеете ли вы за себя, если я опять стану таким, как прежде? Ах, Индиана, избавьте меня от этого ужасного горя, это было бы последним ударом судьбы».

«Разве вы сомневаетесь в своем сердце, Ральф? — спросила Индиана, и на лице ее появилось очаровательное выражение нежности и доверия. — Или мое сердце вам кажется недостаточно надежным?»

Сказать ли вам правду? Первые дни я не был счастлив. Я не сомневался в искренности Индианы, но будущее пугало меня. В продолжение тридцати лет я относился к себе с недоверием, и мне трудно было в один день свыкнуться с мыслью, что я могу нравиться и быть любимым. Минутами на меня нападали сомнения и страх; не раз я жалел о том, что не бросился в озеро в тот миг, когда одно слово Индианы даровало мне счастье.

У нее, по-видимому, тоже бывали такие минуты, когда грусть снова овладевала ею; она с трудом отучала себя от страданий, так как душа свыкается с горем, сживается с ним и очень медленно отрывается от него. Но я должен отдать справедливость этой женщине: она никогда не пожалела о Реймоне, она забыла его настолько, что у нее не осталось к нему даже ненависти.

И вот, как это бывает при настоящей и глубокой любви, время не уменьшило нашей привязанности, а наоборот — укрепило и увеличило ее. С каждым днем наше чувство приобретало новую силу, потому что с каждым днем мы все больше уважали и ценили друг друга. Постепенно наши страхи исчезли, и, видя, как легко было рассеять все наши сомнения, мы с улыбкой признались, что виноваты оба, ибо были трусами и боялись своего счастья. И с этого времени мы спокойно наслаждаемся нашей любовью.

Ральф замолчал, и несколько мгновений мы оба сидели молча, погруженные в благоговейное раздумье.

— Не буду говорить вам о моем счастье, — снова начал он, сжимая мне руку. — Если есть страдания, о которых не говорят и которые окутывают душу как бы смертным саваном, существуют и радости, навсегда затаенные в человеческом сердце, потому что их нельзя выразить ни одним земным словом. Впрочем, если бы даже какой-нибудь ангел спустился с небес на эти цветущие ветви и рассказал вам о них, вы все равно не поняли бы его, молодой человек, так как жизненные бури и грозы еще не коснулись вас. Увы, душа, никогда не страдавшая, не может постичь счастья! Что же касается наших преступлений, — прибавил он с улыбкой, — то...

— О! — воскликнул я со слезами на глазах.

— Послушайте, — тотчас же перебил меня Ральф, — вы прожили с преступниками ущелья Берника очень недолго, но и одного часа вам было достаточно, чтобы узнать нашу жизнь. Все дни ее похожи один на другой, все они одинаково спокойны и прекрасны и протекают так же быстро, как чистые дни нашего детства. Каждый вечер мы благодарим небо и каждое утро молим его послать нам те же радости и горести, что и накануне. Большую часть нашего дохода мы тратим на выкуп больных негров. Это и есть главная причина всех тех недоброжелательных слухов, которые распускают про нас колонисты. Как жаль, что мы не настолько богаты, чтобы освободить всех, кто

находится в рабстве! Наши слуги — это наши друзья: они разделяют наши радости, а мы заботимся об их нуждах. Так проходит наша жизнь — без горя, без сожалений. Мы редко говорим о прошлом и так же редко о будущем. Мы вспоминаем прошлое без горечи смело смотрим вперед. Если нам на глаза наворачиваются иногда слезы, то ведь бывают слезы блаженства, и только тяжелое горе не знает их.

— Друг мой, — сказал я после продолжительного молчания, — если бы людские обвинения достигли вас, то ваше счастье было бы им достойным ответом.

— Вы еще молоды, — ответил он, — и для вас, чистого душой и не испорченного светом, наше счастье — лучшее доказательство нашей добродетели, но для людей оно — наше главное преступление. Поверьте мне: одиночество прекрасно, и о людях жалеть не стоит.

— Не все обвиняют вас, — заметил я, — но даже те, кто отдает вам должное, осуждают вас за презрение к общественному мнению и, признавая вашу добродетель, считают вас гордым и высокомерным.

— В этом упреке, — возразил Ральф, — больше гордыни, чем в моем предполагаемом презрении. Что касается общественного мнения, то, видя, кого оно превозносит, следовало бы протянуть руку тем, кого оно презирает. Говорят, что без людского уважения нельзя быть счастливым, — пусть тот, кто думает так, и хлопчет о нем. Я же лично искренне жалею тех, чье счастье зависит от каприза людской молвы.

— Некоторые моралисты осуждают ваше уединение, они считают, что каждый человек принадлежит обществу. Говорят также, что вы подаете другим опасный пример.

— Общество не может чего-либо требовать от того, кто сам ничего не ждет от него, — возразил сэр Ральф, — а что мой пример заразителен, я не верю. Для того чтобы порвать с обществом, нужна очень большая сила воли, а эта сила воли приобретается слишком тяжкими страданиями. Итак, позвольте нам мирно наслаждаться нашим безвестным счастьем, мы обязаны им только самим себе и прячем его от всех, чтобы не возбуждать зависти. Идите, молодой человек, туда, куда влечет вас ваша судьба; не отказывайтесь от друзей, родины, положения, создавайте себе доброе имя. А у меня есть моя Индиана. Не порывайте цепей, связывающих вас с обществом, уважайте его законы, если они защищают вас, цените его

суждения, если они справедливы, но если когда-нибудь общество оклеветает и отвергнет вас, найдите в себе мужество обойтись без него.

— Да, — ответил я, — чистое сердце помогает выносить изгнание, но, чтобы полюбить изгнание, надо иметь такую подругу жизни, как ваша.

— Ах, если бы вы знали, — сказал он с невыразимой улыбкой, — какую жалость внушает мне общество, презирающее меня!

На следующий день я расстался с Ральфом и Индианой. Он обнял меня, а Индиана прослезилась.

— Прощайте, — сказали они, — возвращайтесь в свет, но, если он когда-нибудь отвернется от вас, вспомните о нашей индийской хижине.

КОММЕНТАРИИ

«Индиана», первый роман, подписанный именем Жорж Санд, вышла в свет в середине мая 1832 года. Псевдоним этот имеет свою историю. Роман «Роз и Бланш», созданный Авророй Дюдеван в соавторстве с Жюлем Сандо, как и некоторые фельетоны, опубликованные ими в журнале «Фигаро» в 1831 году, был подписан их общим псевдонимом Жюль Санд. «Индиана» также была задумана как совместный роман, но Жюль Сандо так и не принял участия в этой работе, и роман был написан Авророй Дюдеван самостоятельно. Сандо нашел его вполне законченным и не нуждающимся в редактуре. Аврора Дюдеван по соображениям личного характера не хотела выступать в литературе под собственным именем. Издатель настаивал на сохранении псевдонима, уже знакомого читающей публике. С другой стороны, Сандо не согласился выпустить в свет под общим псевдонимом книгу, к которой он не имел никакого отношения. Выход был найден: вымышленная фамилия остается неизменной, но имя Жюль меняется на Жорж.

Надо сказать, что в литературных кругах, там, где близко знали и Аврору Дюдеван и Жюля Сандо, сложилось представление о литературной зависимости молодой писательницы от ее соавтора и друга. Так полагал, например, известный критик Сент-Бев. На самом же деле Аврора Дюдеван уже не нуждалась в чьей-либо литературной помощи.

Критика быстро заметила роман. Буквально через несколько дней после выхода он был весьма сочувственно упомянут в очередном обозрении новостей политической и культурной жизни в журнале «Ревю де де монд». У читателей «Индиана» имела шумный успех, даже принявший характер сенсации.

Эпоха довольно точно обозначена в самом романе: действие его начинается осенью 1827 года и завершается в конце 1831-го. Это были годы кризиса режима Реставрации, повлекшего за собой падение этого режима. В «Индиане»

— только отзвуки этих событий: глухо и бегло упомянуто о смене кабинетов, о реакционных действиях властей, о восстании в Париже, о

бегстве короля — ровно настолько, чтобы дать хронологические ориентиры и необходимый фон, позволяющий воспринять роман как современный. Даже разговоры о политике, которые порой ведутся в романе, носят настолько общий и схематичный характер, что воспринимаются лишь как средство, позволяющее более контрастно противопоставить героев. Правда, есть страницы, где характеристики общественных отношений и процессов даны глубже и обстоятельней, — это страницы, рассказывающие о политической роли Реймона де Рамьера, о его положении в свете, о его женитьбе на аристократке, унаследовавшей, однако, «плебейский» капитал. Страницы эти много дадут современному читателю для понимания эпохи, но все же думается, что при том малом внимании автора к событиям, потрясавшим страну, которое характерно для «Индианы», и это место в книге служит главным образом средством более углубленной обрисовки характера Реймона — героя, колеблющегося между влечением и долгом, помогая этому характеру точно вписаться в «психологический треугольник»: легкомыслие в поступках — житейский карьеризм — нравственный эгоцентризм.

Таким образом, перед нами роман, где события внешней социальной жизни являются только схематично намеченным фоном, тогда как внутренний мир героев, анализ их чувств, переживаний, поступков даны с особой тщательностью и убедительностью. И вот в таком, на первый взгляд чисто психологическом, романе нашли выражение свободолюбивые надежды и устремления многих передовых людей Франции.

Жорж Санд, воспитанная на литературе, несущей идеи свободы и гуманизма, на сочинениях Руссо, энциклопедистов и Франклина, пробудила своим романом горячее чувство протеста против попрания личности бездушными общественными установлениями. И вряд ли бы эта книга произвела столь глубокое воздействие на современников, если б автор ее не шел дальше проповеди женской эмансипации и права женщины на любовь. В ней есть глубже заложенный идейно-эмоциональный пласт, превращающий проблему угнетения женщины в проблему угнетения человека вообще. Поэтому «Индиана» очень скоро стала восприниматься как роман по-своему революционный, и не только во Франции, но и в России, где те же проблемы волновали передовые круги, и волновали острее и больнее, где на целые

десятилетия Жорж Санд стала властительницей дум молодых поколений.

Споры вокруг «Индианы» вынудили Жорж Санд выступить несколько раз с разъяснениями своих намерений. Второе издание романа, вышедшее в том же 1832 году, было сопровождено авторским предисловием, в котором Жорж Санд стремится отвести обвинения в безнравственном характере своей книги. Она уподобляет писателя зеркалу, отражающему явления жизни. В ответ на замечания об отсутствии назидательности Жорж Санд пишет: «Если вы хотите, чтобы роман оканчивался как сказка Мармонтеля, вы, может быть, упрекнете меня за последние страницы и найдете дурным, что я не вверх в нищету и одиночество существо, которое на протяжении двух томов

преступало законы человеческие. Здесь автор ответит, что прежде всего он стремился не морализировать, но только быть правдивым... Он лишь рассказал судьбу Индианы, историю человеческого сердца со всей его слабостью и с его неистовством, с его притязаниями и заблуждениями, с его благими и дурными поступками».

Спустя десять лет, в 1842 году, «Индиана» вышла с новым предисловием. Оно написано довольно сдержанно и дипломатично, хотя Жорж Санд и упрекает своих противников в предвзятости и голословности утверждений. Писательница заявляет, что и теперь, спустя десять лет, она не находит в своих первых романах ничего, что не согласовывалось бы с ее нынешними убеждениями. Они все проникнуты той же идеей: «неустроенность отношений между мужчиной и женщиной по вине общества». Она по-прежнему подчеркивает, что выступает только как писатель, но отнюдь не как философ или моралист, «Индиана» написана в одушевлении «чувством, правда, не сверяющимся с рассудком, но полным сознания правоты, чувством убежденности в том, что законы, которые до сих пор определяют положение женщины в браке, семье, обществе, несправедливы и дики». «Я не писал, — говорит автор, — трактата по юриспруденции, но сражался с общественным мнением, ибо в нем главное препятствие к усовершенствованию общества. Война будет жестокой и долгой, но я не первый, не единственный и не последний боец в этой славной битве, и я буду защищать это дело до последнего дыхания».

Уже в первом романе Жорж Санд проявилось мастерство писательницы. Прежде всего оно сказалось в тонком психологическом анализе. Современная критика, подчеркивая большое значение «Индианы» для общественного самосознания, к числу художественных достоинств книги относил полноту искренности и убедительности образ главной героини, а также особую выразительность образа Реймона де Рамьера, усматривая в беспощадном анализе этого характера оригинальность романа.

По первоначальному замыслу роман должен был кончаться самоубийством Ральфа и Индианы. Однако такой конец мог неблагоприятно отразиться на судьбе первой книги писательницы, ибо самоубийство осуждалось католической церковью. В окончательной редакции романа появилась заключительная глава уже со счастливой концовкой. Во второй половине XIX века в некоторых дешевых изданиях этот роман появлялся во Франции в печати без последней главы, завершаясь самоубийством героев.

Русские читатели рано познакомились с творчеством Жорж Санд. Роман «Индиана» в переводе А. и И. Лазаревых вышел в свет уже в 1833 году. Большинство читателей приняло эту книгу восторженно. Иначе дело обстояло с критикой. Передовая русская критика обратилась к творчеству Жорж Санд позже, в сороковых годах. Это, в частности, относится и к Белинскому, который в то время, в период своего «примирения с действительностью», отрицательно оценил первые романы Жорж Санд. Отношение Белинского к творчеству писательницы резко изменилось в сороковых годах. В тридцатых годах критики русских журналов охранительного направления Булгарин, Греч, Сенковский распространяли всяческие небылицы, рожденные необычайным образом жизни автора «Индианы». Сенковский, стараясь выглядеть остроумным, прозвал Жорж Санд «госпожой Егором Зандом». Критики этого направления оценивали произведения французского автора как безнравственные и расшатывающие общественные устои. Характерна в этом смысле небольшая анонимная заметка в «Журнале министерства народного просвещения» за 1836 год. Автор ее пробует воздать должное мастерству Жорж Санд, объясняет ее «озлобление» против общества тяжелой «личной участью» и выражает надежду, что столь сильное дарование обратится к предметам, достойным его. Но вот что там

сказано по поводу ее первых романов: «Между современными литературными талантами юной Франции особенно привлекает внимание своею злобою на общество и на существующий в нем порядок, ненавистью к браку, странным искажением женских характеров, стремлением поколебать законы человеческие и даже посяганием на законы высшие писатель, скрывающийся под формою Жоржа Занда — именем, запятнанным в мире политическом и нравственном, а ныне прикрывающим своею эгидою самые необузданные литературные порождения». Тут произошла любопытная ошибка: прочитав, подобно некоторым своим современникам, на немецкий лад французскую фамилию Sand, автор заметки решил, что псевдоним взят неспроста и что писательница с умыслом использовала имя студента Карла Занда, убившего реакционера, немецкого писателя Коцебу. А имя Занда для всех охранителей существующего порядка в ту пору было особенно ненавистно.

До революции и в советское время роман «Индиана» неоднократно издавался в русских переводах.

Остров Бурбон — одно из прежних названий острова Реюньон, входящего в группу Маскаренских островов.

Альмавива — легкомысленный граф, один из героев трилогии Бомарше («Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро», «Преступная мать»).

Эпоха Регентства (1715-1723) — время правления во Франции герцога Филиппа Орлеанского, который в последние годы своей жизни был регентом при малолетнем короле Людовике XV.

...и даже Виргиния, покидая родину, вряд ли написала Павлу более очаровательное письмо. — Имеются в виду героини романа французского писателя Жака-Анри Бернарден де Сен-Пьера (1737-1814) «Павел и Виргиния» (1787), рисующего идеальную любовь и дружбу юноши простого происхождения и девушки-дворянки вдали от цивилизации. В данном случае речь идет об отъезде Виргинии во Францию.

...корчил из себя жозефиниста... — то есть сторонника Жозефины Богарне (1763-1814), состоявшей в браке с Наполеоном до 1809 года. Титул императрицы был сохранен за ней и после развода.

Сен-Поль — портовый город на острове Бурбон.

Иксион — в греческой мифологии царь, полубивший богиню Геру, супругу Зевса, и в наказание за это прикованный Зевсом к вечно вращающемуся огненному колесу.

...пристанет теперь к тебе, подобно одежде Деяниры. — В греческой мифологии Деянира, жена Геракла, думая сохранить любовь своего мужа, дала ему одежду, пропитанную кровью убитого Гераклом кентавра Несса. Но одежда эта пристала к телу Геракла, вызывая нестерпимые мучения. Не выдержав мук, Геракл бросился в огонь.

Сцены встречи Реймона и Нун в спальне Индианы и самоубийства Нун произвели большое впечатление на читателей. Альфред Мюссе написал большое стихотворение, посвященное Нун и Индиане, которое послал Жорж Санд 24 июня 1833 года.

Мартиньяк Жан-Батист (1776-1832) — французский политический деятель, член палаты депутатов, роялист, лавировавший между крайними монархистами и умеренными либералами. Кабинет, возглавленный им, просуществовал семнадцать месяцев (январь 1828 — июнь 1829) и осуществил некоторые послабления жестокого реставрационного режима.

Хартия — конституция, принятая 14 июня 1814 года и гарантировавшая от имени короля двухпалатную систему правления с выборностью нижней палаты, ответственность правительства перед народом и ряд свобод, обеспечивавших правовое положение граждан, в первую очередь свободу слова и свободу печати.

Я поздравляю победителей Испании... — Имеется в виду французская экспедиционная армия, посланная Карлом X в апреле 1823 года в Испанию для подавления испанской революции. Французские войска оставались на территории Испании до 1828 года.

Эмигранты Кобленца. — Западногерманский город Кобленц был в годы французской революции главным центром аристократической эмиграции.

Франше — в годы 1821-1828 директор департамента полиции, входившего тогда в состав министерства внутренних дел.

Фуше Жозеф (1759-1820) — французский политический деятель, умело приспособившийся к новым режимам. Начав как якобинец, он занимал пост министра полиции при Директории, во времена Наполеона и Людовика XVIII.

...Людовик Святой. — Так называли короля Франции Людовика IX (1226-1270). В его царствование были значительно урезаны права феодалов.

...венсенского дуба... — Венсен — старинная резиденция французских королей. По преданию, под дубом в Венсене Людовик IX решал споры между вассалами и вершил суд.

...белое знамя — знамя династии Бурбонов.

...двадцать пять лет славы Франции — эпоха революции и наполеоновской империи.

Трехцветное знамя — знамя Французской республики и Империи, вновь восстановленное в революцию 1830 года.

... "стряхнет на нем пыль"... — Жорж Санд перефразирует слова из рефрена стихотворения Беранже «Старое знамя».

Герцог Рейхштадтский — Наполеон-Франц (1811-1832) — сын Наполеона I и второй его жены, императрицы Марии-Луизы.

Легитимисты — сторонники политической доктрины, признающей историческое право династий ненарушимым. Во Франции так обычно именовали сторонников восстановления династии Бурбонов.

«Сто дней» — вторичное правление Наполеона I после возвращения его с острова Эльбы (с 20 марта по 22 июня 1815 года).

«Ослиная шкура» — французская народная сказка, обработанная писателем Шарлем Перро (1628-1703).

Элизиум — у древних греков местопребывание душ умерших героев и добродетельных людей.

Госпожа Дюбарри — Мари-Жанна Бекю (1743-1793), фаворитка Людовика XV. В последние годы жизни короля (Людовик XV умер в 1774 году) вмешивалась в государственные дела и принимала деятельное участие в политических интригах. Была гильотинирована по приговору революционного трибунала.

Туаз — мера длины во Франции до введения метрической системы мер, равная 1,95 метра.

Фахам — название одной из орхидей, листья которой в сушеном виде используются для приготовления ароматного напитка, употребляемого также в лечебных целях.

Личи — тропическое фруктовое дерево.

Фаэтон — морская птица, обитающая в тропиках.

Родригес — один из Маскаренских островов.

Фрегат — крупная птица тропических морей из семейства веслоногих.

Смена кабинета 8 августа... — 8 августа 1829 года министерство Мартиньяка было вынуждено уйти в отставку и передать власть в стране крайне реакционному кабинету, во главе которого встал Жюль-Опост Полиньяк (1780-1847), занявший также пост министра иностранных дел. Полиньяк был сторонником крайнего абсолютизма и стал вдохновителем ордонансов Карла X, вызвавших революцию 1830 года.

...одному из представителей рода Медина-Сидония... — Титул герцогов Медина-Сидония носил род Гусманов, принадлежавший к высшей испанской знати.

Анна Пейдж — персонаж из комедии Шекспира «Виндзорские насмешницы».

Буше Франсуа (1703-1776) — французский художник и театральный декоратор.

...вознаграждение за свои земли. — Речь идет о законе, принятом палатой депутатов 27 апреля 1825 года, предоставлявшем лицам, чьи земельные владения были конфискованы во время революции, денежную компенсацию, равную двадцатикратной сумме дохода, полученного ими в 1790 году. Общая сумма компенсации несколько превысила миллиард франков.

...никто еще не знал результатов восстания в Париже. — Имеется в виду Июльская революция, совершившаяся в три дня — с 27 по 29 июля 1830 года.

...патруль национальной гвардии... — Так называлось созданное еще в эпоху французской революции ополчение, состоявшее главным образом из представителей мелкой и средней буржуазии. Национальная гвардия продолжала существовать при всех последующих режимах и была распущена только после беспорядков 1827 года. В революцию 1830 года отряды национальной гвардии вновь собрались и выступили против Карла X.

...рассказ о привязанности верного пса, о красоте кокосовых пальм и о песнях негра Доминго. — Имеется в виду роман Бернардена де Сен-Пьера «Павел и Виргиния».

...любимых героев, заблудившихся в лесах Красной реки. — В романе Бернардена де Сен-Пьера эта река названа Черной.

Неро Жюль — один из ближайших друзей Жорж Санд, совершивший в молодости путешествие на острова Мадагаскар и Бурбон. По возвращении во Францию Неро составил для Жорж Санд обстоятельное описание природы острова Бурбон, которое писательница использовала в «Индиане».

...ангел Авраама и Товия... — Имеются в виду два библейских сказания о посланных богом ангелах. В первом из них ангел останавливает руку Авраама с ножом, занесенным над его сыном Исааком, которого Авраам собирался принести в жертву богу; во втором сказании рассказывается об ангеле в человеческом облике, который помогает Товию, сыну Товита, пройти через многие испытания.

...вспомните о нашей индийской хижине. — В этих словах содержится намек на повесть Бернардена де Сен-Пьера «Индийская хижина» (1791), где добродетельный и мудрый человек, отвергнутый обществом, находит смысл жизни в единении с природой.